
ИЗД.
ШИПОВНИКЪ

ЛЕВЪ ШЕСТОВЪ

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

ИЗД. «ШИПОВНИКЪ СПБ.»

из книг
П. Стольпнера

ЛЕВЪ ШЕСТОВЪ

ШЕКСПИРЪ

и ЕГО КРИТИКЪ БРАНДЕСЪ

Т. I.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

ИЗД. «ШИПОВНИКЪ» СПБ.

1В

Пров. 19[illegible]

Пр.

Типографія Товарищества
„ЕКАТЕРИНГОФСКОЕ ПЕЧ. ДѢЛО".
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Екатерингофскій пр. 10—18.

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
БИБЛІОТЕКА
Общественныхъ Наукъ
Академіи Наукъ СССР
528
52

ЛЕВЪ ШЕСТОВЪ

ШЕКСПИРЪ

и ЕГО КРИТИКЪ БРАНДЕСЪ.

Ich hasse die lesenden Müssiggänger.
F. Nietzche. Also sprach Zarathustra.

I.

Итальянскій писатель Барцелотти ставитъ въ заслугу Тэну, что онъ превзошелъ слишкомъ систематическій позитивизмъ Конта геніальнымъ психологическимъ анализомъ, силой и шириной своихъ теорій. Въ Тэнѣ, по мнѣнію Барцелотти, артистъ дополняетъ и часто исправляетъ логика и діалектика. Ничего не можетъ лучше доказать, чѣмъ примѣръ его генія, единство организма историческихъ фактовъ. Его задача мыслителя и артиста родилась и питалась всей современной культурой.—Въ этой оцѣнкѣ Тэна есть большая неправда. Несомнѣнно, что задача Тэна, какъ и весь его душевный складъ, носитъ на себѣ рѣзкую печать современности. Но именно поэтому не артистъ и художникъ измѣняютъ въ немъ систематика, а, наоборотъ, систематикъ перекраиваетъ въ немъ на свой ладъ художника и артиста. Иначе не можетъ быть. Стремленіе къ системѣ убиваетъ свободное творчество, ставя ему заранѣе изготовленныя тѣсныя границы. Войти въ міръ человѣческой души съ тѣмъ, чтобъ подчинить его законамъ, существующимъ для внѣшняго міра—значитъ заранѣе добровольно отказаться отъ права все видѣть тамъ и все принимать. Поэтому-то, до новѣйшаго времени искусство шло своимъ путемъ, а наука своимъ. Люди чувствовали, что нѣтъ возможности примирить явленія внутренняго міра съ явленіями внѣшняго, и довольствовались тѣмъ, что устанавливали поддающуюся наблюденіямъ взаимную связь, не дѣлая попытки рѣшительно подчинить

одинъ міръ—другому. Существовали, правда, философскія системы, дѣлавшія такого рода попытки—но онѣ, какъ болѣе или менѣе удачные образцы метафизическихъ построеній, имѣли узкое, спеціальное назначеніе и мирно дремали въ библіотекахъ философовъ, не претендуя ни на широкое распространеніе, ни на какое бы то ни было практическое значеніе. Философы, вся задача которыхъ сводилась не столько къ тому, чтобы обнять жизнь, сколько къ тому, чтобы принять изъ нея лишь годные для того, что называется на ихъ языкѣ „мышленіемъ", элементы, т. е. именно тѣ, въ которыхъ менѣе всего проявляется жизнь,—строили болѣе или менѣе сложныя философскія зданія, а съ ихъ трудами знакомились другіе философы, какъ съ образцами умственной оригинальности, единственно и предназначенной для того, чтобы плѣнять ученыхъ. Жизнь шла своимъ чередомъ и не давала философіи править собою. Люди любили, радовались, искали, страдали, возвышались, падали, плакали,—не справляясь никогда съ тѣмъ, разрѣшается-ли все это въ тѣхъ толстыхъ книгахъ, гдѣ собрано такое огромное количество ученыхъ словъ. И въ концѣ концовъ сами философы вовсе и не думали о томъ, чтобы ихъ книги передѣлали что-нибудь въ жизни. Но уже въ 18 вѣкѣ произошло неслыханное явленіе. Философы ворвались въ жизнь. Книжная мудрость, именно та, которая, повидимому, была обречена существовать an und für sich, какъ нѣкая Ding an sich по преимуществу, какъ нѣчто, чего не только сущности, но и самого существованія не могъ постичь человѣкъ—эта книжная мудрость вышла къ людямъ и овладѣла ихъ умами. То, что прежде было исключительно предназначено для ученыхъ, по своему призванію долженствовавшихъ не жить и потому требовавшихъ для себя спеціальной духовной діэты, было провозглашено лучшей пищей для всѣхъ людей. Философія—съ одной стороны—нашла себѣ блестящихъ, геніальныхъ адвокатовъ, съ Вольтеромъ во главѣ, а съ другой стороны, она пришлась по вкусу времени, искавшему всякихъ взрывчатыхъ веществъ, чтобъ скорѣе освободиться отъ давно всѣхъ

тяготившихъ общественныхъ цѣпей. Произошло великое событіе во Франціи. Отрубили голову Богу, чтобъ имѣть право отрубить голову королю. Въ то же время почти подобное же событіе совершается и въ Германіи, но не на глазахъ людей, а въ тиши кабинета. И кто тамъ является палачомъ? Опять-таки ученый, которому, въ сущности, до Бога никакого дѣла не было. Этотъ человѣкъ, про котораго такъ мѣтко замѣтилъ Гейне, что объ исторіи его жизни ничего нельзя сказать, ибо у него не было ни исторіи, ни жизни, этотъ человѣкъ, ставшій столь знаменитымъ, кенигсбергскій профессоръ Кантъ, „мыслилъ“ до тѣхъ поръ, пока, по пути, въ свою очередь не отрубилъ голову Богу. Онъ даже и не догадался, что это было такъ важно. Ему Богъ помѣшалъ. Онъ сталъ на пути къ системѣ, и философъ съ такимъ же спокойствіемъ уничтожилъ Его, съ какимъ создалъ свою „Ding an sich“. И, убивши Бога, онъ легко и беззаботно продолжалъ жить, т. е. мыслить до глубокой старости.

Во Франціи и въ Германіи на разные лады стали возвѣщать эту истину, что „Богъ умеръ“, и это, какъ ни странно, стало источникомъ надеждъ и упованій человѣчества. Больше всѣхъ, конечно, отъ этого выгадала наука. Ея дѣло было установить „законъ причинности“, а представленіе о Богѣ, какъ о высшемъ существѣ, сознательно правящемъ людьми, запрещающемъ зло и возносящемъ добро, вмѣшивающемся въ человѣческую жизнь,—не мирилось съ основнымъ принципомъ науки. И, несомнѣнно, Вольтеръ и Кантъ оказали огромную услугу наукѣ. Но наука, убившая Бога, чтобъ основать свой законъ, уже не захотѣла остановиться только на этомъ. Она уже стала требовательна. Ей мало было Бога, ей нуженъ былъ весь человѣкъ: иначе не было полной системы. Несомнѣнно, что систематичность ума есть вѣрный признакъ духовной ограниченности, ибо она обязательно предполагаетъ способность многаго не видѣть и не чувствовать и инстинктивное отвращеніе ко всему, нарушающему отвлеченный, т. е. мертвый порядокъ вещей. Но запросы на

науку все возрастали, и соотвѣтственно съ этимъ развился уже многочисленный классъ ученыхъ съ типическимъ духовнымъ складомъ, какъ нельзя болѣе соотвѣтствовавшимъ нуждамъ новаго европейскаго бога. Ученые, сознательно и безсознательно, убивали въ себѣ всѣ тѣ свойства, которыя мѣшали имъ въ ихъ дѣлѣ, и вслѣдствіе этого наука процвѣтала и завоевывала себѣ все новыя области.

Покончивъ съ Богомъ, она принялась за нравственность. Сперва доказывалось общественное ея происхожденіе, ея служебное значеніе. Вся тысячелѣтняя работа духа была признана однимъ сплошнымъ недоразумѣніемъ; люди думали, что ищутъ нравственнаго идеала, межъ тѣмъ какъ они просто на просто обоготворяли случайные, выросшіе на той или иной почвѣ, при такомъ или иномъ климатѣ и пищѣ, общественные предразсудки. Доказательство—исторія, сравнительное народовѣдѣніе. Въ разныхъ странахъ, въ разныя времена чтились самые противоположные принципы нравственности. Приводились ссылки на понятія индійцевъ, римлянъ, дикарей, средневѣковыхъ людей, первыхъ христіанъ. Выходило, что каждый народъ, каждая эпоха чтила свое, и новѣйшая наука, вмѣстѣ съ Пилатомъ, могла воскликнуть: „въ чемъ истина?“—и отвѣтить себѣ, что этой истины нѣтъ, что истина осталась вся цѣликомъ въ химическихъ приборахъ, ботаническихъ коллекціяхъ и микроскопахъ ученыхъ людей. Ученые, т. е. естествоиспытатели, не говорили этого. Это за нихъ уже говорили тѣ люди, которые, принявъ результаты научныхъ изслѣдованій, искали подчинить имъ не затронутую наукой часть жизни, что было необходимо для полнаго торжества системы. Естествоиспытатели же, вполнѣ довольные той законченностью, которую они находили въ своихъ уголкахъ, оставляли человѣка съ его душой въ покоѣ. Они уже не вѣрили въ высокія слова о назначеніи человѣка—но они не утверждали и противнаго. По привычкѣ они даже повторяли старые предразсудки и старыя мнѣнія, полагая, что „все это“ можетъ быть на разные лады разрѣшено, что „все это“ точному изслѣдованію не поддается

и—главное—въ непосредственномъ разрѣшеніи и не нуждается. Отлично можно жить въ томъ случаѣ, если существованіе Бога и нравственности находится на подозрѣніи. И то и другое—и Богъ, и нравственность, не меньше, чѣмъ законы, обуздываютъ человѣчество. Такъ пускай они себѣ остаются, не нужно подрывать вѣры въ нихъ, какъ это сдѣлали во Франціи съ Богомъ въ XVIII столѣтіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдуетъ помнить служебное назначеніе этихъ „понятій“ и искать во всемъ лишь подтвержденія общаго, единаго закона причинности явленій. Въ средѣ истинныхъ ученыхъ явилось полное равнодушіе къ этимъ вопросамъ, граничившее съ безсознательнымъ признаніемъ, что рано или поздно не миновать имъ участи всего земного, т. е. закона причинности. Такъ и вышло: вышколенные наукой умы, наконецъ, взялись и за конечные вопросы, и Богъ, вмѣстѣ съ нравственностью, былъ торжественно втиснутъ въ цѣпь явленій природы. Причемъ Бога постигла болѣе тяжелая участь, чѣмъ нравственность. Этой послѣдней было разрѣшено продолжать свое существованіе, какъ оправдавшей свое прошлое и будущее здравыми ссылками на приносимую ею пользу. Бога же изъ „интеллигентнаго“ круга изгнали совершенно и оставили его лишь для народа, недостаточно просвѣщеннаго, чтобъ подчиняться такой отвлеченной силѣ, какъ „нравственныя понятія“. Но, по обыкновенію, ученые не могли предвидѣть, къ чему приведутъ ихъ открытія, какъ монахъ Шварцъ, составляя порохъ, не могъ и думать о регулярныхъ войскахъ, ложащихся нынѣ столь тяжкимъ бременемъ на несчастные народы Европы. Ученые объяснили нравственность и большаго не желали. А вышло, что они отмѣнили ее. Объясненная нравственность вдругъ потеряла всю волшебную власть свою надъ людьми. Тотъ долгъ, который велъ людей на подвиги, пока онъ исходилъ отъ Бога и даже отъ такого удивительнаго повелителя, какъ категорическій императивъ, вдругъ, когда онъ оказался простымъ предразсудкомъ, хотя очень полезнымъ для общественныхъ цѣлей, сразу сталъ скучнымъ, не нужнымъ, холоднымъ

унылымъ. А затѣмъ повиноваться такому странному начальству? И долгъ постигла участь Бога только на нѣсколько десятилѣтій позже. Теперь уже и онъ лишился своей власти, и для человѣка, съ настоящимъ современнымъ образованіемъ, границы дозволеннаго опредѣляются только его собственными измѣнчивыми желаніями и чисто внѣшней возможностью.

Казалось бы, на этомъ и покончить нужно. Но человѣчество живетъ и движется непрерывно. Богъ былъ ложью, нравственность—тоже. Это все человѣкъ присочинилъ. Но не ложь ли и вся жизнь человѣка, не присочинилъ ли онъ и ее, и не имѣетъ ли „научное право“ на существованіе только то въ жизни человѣка, что есть въ ней общаго съ существованіемъ внѣшняго міра? И этотъ вопросъ прошелъ, и на него отвѣтили утвердительно. Все, чѣмъ человѣкъ отличается отъ внѣшняго міра—все это только надстройки, пристройки, обманъ, видимость, фантазія. Отъ всего этого нужно освободиться. Страсть, волненія, несчастіе, радости, любовь, печаль, вѣра—все это придатки, наслоенія, которые должны быть разрушены дѣйствіемъ времени и его союзницы—науки.

И точно, чѣмъ болѣе прочно устанавливается законъ причинности для міра внѣшняго, тѣмъ больше отдается во власть случая внутренній міръ человѣка. Болѣе того, можно прямо сказать: все, что во внѣшнемъ мірѣ представляется какъ связь причины и слѣдствія, связь самостоятельно, независимо существующая—все это для роста, развитія, для судьбы человѣка является случаемъ. Поясникъ примѣромъ. Кирпичъ сорвался съ домоваго карниза, падаетъ на землю—и уродуетъ человѣка. Что можетъ быть, съ научной точки зрѣнія, закономѣрнѣе паденія кирпича? Хотя мы точно и не знаемъ причины его паденія—но мы такъ увѣрены въ томъ, что причина была, какъ будто бы знали все, что произошло. Вѣроятно, отъ дѣйствія воды цементъ ослабѣлъ, а затѣмъ отъ дуновенія вѣтра слабо державшійся кирпичъ оторвался и полетѣлъ на землю. Можетъ быть, ни вода ни вѣтеръ не были причиной—но была такая же причина, какъ вѣтеръ и

вода—мы въ этомъ такъ прочно увѣрены, какъ только можетъ быть увѣренъ человѣкъ. Несомнѣнно, паденіе кирпича лишь доказываетъ гармоничность явленій природы, торжествующій во всей вселенной закономѣрный порядокъ. Но, падая, кирпичъ изуродовалъ человѣка. И тутъ еще можно, если угодно, прослѣдить нѣкоторое время закономѣрность. Камень повредилъ черепъ, вышибъ глазъ, выбилъ нѣсколько зубовъ, раздробилъ руку—все это по тѣмъ же неизмѣннымъ законамъ природы. Но при этомъ получается еще нѣчто: человѣкъ изуродованъ. Т. е. молодое, полное жизни, надеждъ на будущее, веселое, прекрасное, радостное существо вдругъ обращается навсегда въ негоднаго калѣку. У него нѣтъ глаза, зубовъ, парализована рука, поврежденъ мозгъ. Что все это такое? Почему такъ произошло, такъ случилось? Пока камень падалъ и расшибалъ по пути другіе камни—все было ясно. Пусть себѣ падаетъ! Но сказать такъ: „камень упалъ и при этомъ обстоятельствѣ уничтоженъ человѣкъ“, сказать, что это явленіе состоитъ только изъ одной части, т. е. изъ столкновенія камня съ тѣломъ человѣка, и что больше въ явленіи этомъ нѣтъ ничего—значитъ умышленно закрывать глаза. Вѣдь наоборотъ: погибъ человѣкъ—это сущность, это главное, это требуетъ объясненія, а то, что камень упалъ—есть добавочное обстоятельство. По объясненію же науки, все, что произошло съ человѣкомъ—есть лишь прибавка къ внѣшнему явленію, нѣчто случайное, необъяснимое, не нуждающееся въ объясненіи. Человѣкъ живетъ или не живетъ, радуется или страдаетъ, падаетъ или возвышается—все это лишь поверхность, видимость явленій: сущность же ихъ—паденіе камня. Отсюда общій выводъ: жизнь, внутренняя жизнь человѣка, есть, по существу своему, нѣчто совершенно случайное. И это тѣмъ прочнѣе устанавливается, чѣмъ большія завоеванія дѣлаетъ наука. Камень опредѣляетъ собою судьбу единаго человѣка. Много камней—и опредѣлена судьба цѣлаго народа. Почва данной страны камениста: этимъ однимъ уже заранѣе опредѣлена судьба заселяющаго ее народа. Онъ будетъ силенъ

или слабъ, даровитъ или тупъ, трусливъ или храбръ, добродѣтеленъ или порочен, глубокомысленъ или поверхностенъ—въ зависимости отъ того, подъ какимъ небомъ жилъ онъ, какая земля была у него, какимъ воздухомъ дышалъ онъ, какая пища, какое питье употреблялись имъ. И храбрость, сила, даровитость, благородство, глубокомысліе — все это будетъ лишь случайнымъ выраженіемъ чисто внѣшнихъ условій. Все это придатокъ, дополненіе, все это—форма, въ которой выражается природа страны. Отсюда—естественный выводъ, что, подобно тому, какъ всякій климатъ, всякая пища, всякое небо, всякій воздухъ сами по себѣ взятые одинаково хороши—то и всѣ формы ихъ выраженія: трусливый и храбрый, умный и глупый, даровитый и бездарный, подлый и благородный человѣкъ—также равны между собою, и всякое качественное раздѣленіе людей противорѣчитъ здравому смыслу, какъ всякое качественное раздѣленіе объективныхъ явленій. Сказать, напримѣръ, про Брута, какъ сдѣлалъ Шекспиръ: „это былъ человѣкъ“ столь-же неосновательно, какъ воскликнуть, глядя на разрушившійся утесъ: „это—былъ утесъ“. Такой выводъ даетъ намъ наука, если распространить методы ея изслѣдованій на вопросы духовной жизни человѣка. Но наука этого не требуетъ. Она изолировала внѣшній міръ—это былъ ея научный пріемъ, ея методъ. Она изучила внѣшнія явленія—и открыла въ нихъ извѣстную гармонію, которую она формулировала, какъ законъ причинности. Но она не выдавала это за универсальную истину. Естествоиспытатели за предѣлы объективныхъ явленій не выходили. Правда, привычка вездѣ находить законъ слѣдствія и причины, въ соединеніи съ утраченной способностью цѣнить явленія внутренняго міра, подготовила ученыхъ къ новому, рѣшительному шагу, къ попыткѣ все подчинить своему закону. Но не наука это сдѣлала, а люди науки. Наука дала превосходную, имѣющую ограниченное значеніе, теорію порядка внѣшняго міра и назвала ее закономъ причины и слѣдствія. Примѣненіе ея дало возможность человѣку покорить себѣ самыя скрытыя и самыя буйныя

силы природы. Но вышколенный системой и привыкшій къ побѣдамъ ученый увѣровалъ въ свой методъ, какъ въ высшую истину. Жизненный инстинктъ, способность чувствовать живыя явленія были утрачены имъ въ школѣ науки. Онъ, научившись строго мыслить, но разучившись чувствовать жизнь во всемъ ея объемѣ, взялся судить о ней. И этотъ человѣкъ произнесъ свой приговоръ жизни! И этому человѣку повѣрили люди, и его слова стали новыми заповѣдями!

II.

Человѣкъ науки, ученый, по своему воспитанію, по своимъ привычкамъ, по всему складу своей души, вышелъ изъ тиши своего кабинета и наложилъ свою руку на жизнь. Это, несомнѣнно, величайшій фактъ изъ новѣйшей исторіи. Наука и ея двигатели уже не хотятъ только служить жизни: подчиняя ей внѣшній міръ—они ищутъ перекроить жизнь сообразно тому идеалу, который они нашли тамъ, въ этомъ внѣшнемъ мірѣ, гдѣ многаго, что есть въ нашей, человѣческой жизни,—нѣтъ, но гдѣ царитъ безмятежный покой ровнаго существованія. Тамъ цѣли нѣтъ, тамъ смысла нѣтъ, тамъ нѣтъ чувства восторга, тамъ нѣтъ холода отчаянія—всего этого и не нужно. Все это слѣдуетъ вырвать изъ груди человѣка, чтобы возвысить его „до природы“. Человѣку науки это было легче всего. Онъ оттого и сталъ ученымъ, что меньше всего зналъ и цѣнилъ тѣ именно человѣческія чувства, которыхъ „въ природѣ“—сколько ни ищи—никогда не найдешь. Онъ оттого и могъ сидѣть цѣлые вѣка въ своемъ кабинетѣ среди костей, инструментовъ, приборовъ—„вселенной“ Фауста. Онъ оттого столько видѣлъ въ природѣ, что разучился видѣть въ человѣкѣ. Онъ все нивелировалъ, все сравнилъ, все пересчиталъ, все взвѣсилъ; теперь ему осталось объяснить человѣка точно такимъ же образомъ, сводя его къ явленіямъ, поддающимся „объективному“ изученію.

Это „послѣднее слово науки“ было уже на устахъ каждаго европейца. Всѣ готовы были произнести его, во всѣхъ уже хозяйничалъ ученый, изгнавъ „художника и артиста“. Но никто не рѣшался открыто высказаться, точно не пришло еще время или такое признаніе было слишкомъ тяжело. Въ художественной литературѣ происходило мучительное броженіе. Съ одной стороны, „мыслитель“ завоевывалъ себѣ все большія и большія права, съ другой стороны загнанный „артистъ“ — протестовалъ. Въ результатѣ цѣлый рядъ новыхъ поэтовъ съ той, прошедшей по душѣ, „трещиной“, которая знаменовала собой тяжелую внутреннюю борьбу. Признавая права новаго бога и предчувствуя всѣ его побѣды, поэты предавали его и, вмѣстѣ съ нимъ, всю жизнь проклятію. Мюссе во Франціи, Гейне въ Германіи, Байронъ въ Англіи еще въ то время, когда всѣ европейцы радовались торжеству новаго начала, уже почувствовали, что изъ подъ ихъ ногъ уходитъ почва. O schöne Welt, du bist abscheulich! восклицалъ Гейне. Мюссе съ ужасомъ говорилъ: „спокойно спишь-ли ты Вольтеръ, и твоя отвратительная улыбка змѣится еще по твоимъ обнаженнымъ костямъ? Твой вѣкъ, говорятъ, былъ слишкомъ молодъ, чтобъ читать тебя; нашъ—пришелся бы тебѣ по вкусу: твои люди родились. Упало на насъ то огромное зданіе, которое ты день и ночь подкапывалъ своими руками. Смерть нетерпѣливо ожидала тебя цѣлыхъ 80 лѣтъ, пока ты ухаживалъ за ней; о, вы, вѣрно, любили другъ друга адскою любовью!“ Байронъ жалѣетъ, что ему ни разу не пришлось совершить убійства. „Дорого бы я далъ, чтобъ испытать, какія чувства волнуютъ человѣка вслѣдъ за тѣмъ, какъ онъ совершитъ убійство“ говорилъ онъ и прожигалъ свою жизнь въ безумномучительныхъ припадкахъ, исполненный отвращенія къ самому себѣ и ко всѣмъ людямъ. Даже менѣе крупные поэты, какъ Ленау, доходили въ своемъ отчаяніи отъ предчувствія крушенія человѣческихъ идеаловъ до поразительной силы. „Das Menschenherz hat keine Stimme im finstern Rate der Natur“ Ленау звучитъ не менѣе сильно и рѣзко, чѣмъ приведенныя

выше слова Гейне. Поэты, истинные художники всей силой своего существа протестовали противъ абсолютнаго господства безличной науки. Но имъ не удалось остановить ея побѣдоносное шествіе. Она шла все увѣреннѣе и съ каждымъ шагомъ пріобрѣтала новыхъ прозелитовъ. Она жила уже въ сердцахъ „всѣхъ“. И „всѣмъ“ съ этой наукой было хорошо. Она разрѣшила большій просторъ страстямъ, освободивъ ихъ отъ религіозныхъ и нравственныхъ узъ, а людямъ пока больше ничего и не нужно было. Они съ радостью приняли новый даръ, и прежніе предразсудки жили лишь какъ устарѣлыя формы, имѣющія чисто утилитарное назначеніе, подобно юридическимъ нормамъ или правиламъ приличія.

И вотъ при этихъ условіяхъ началась учено-литературная дѣятельность Тэна. Онъ осмѣлился рѣзко и прямо сказать то, что было уже на устахъ и въ душѣ каждаго человѣка. Тэнъ сразу противопоставилъ „производительнымъ силамъ“ и „невидимымъ опредѣленнымъ законамъ“ — „подвижную внѣшность исторіи или жизни и то яркое и ароматическое цвѣтеніе, которое природа расточаетъ на поверхности бытія“; первые лишь имѣютъ значеніе и интересъ, а жизнь есть лишь добавленіе, случайное, неважное, маленькое, никакого самостоятельнаго значенія не имѣющее. „Отказываться отъ поэзіи“, говорилъ онъ—„нѣтъ надобности“. Но „мысль должна проникнуть гораздо глубже, чѣмъ глаза“. И тогда „вся драпировка, этотъ мраморъ, эти украшенія зыблются, принимаютъ видъ красивыхъ фантомовъ, исчезаютъ, какъ дымъ“, и мы можемъ „совершенно равнодушно воспроизводить равнодушныя силы природы“. Нужно сдѣлать усиліе, чтобъ „оторваться отъ сложныхъ и устарѣлыхъ человѣческихъ страстей, чтобъ понять юность и божественную простоту существа, свободнаго отъ размышленія и формы“. Наша задача—„познать себя и окружающее“. Негодовать, восторгаться, плакать—при этомъ не полагается даже и поэтамъ. „Мы давно переросли точку зрѣнія Байрона и ближайшихъ къ нему поэтовъ“. „Посмотрите на рожденіе

человѣка, на его постепенный ростъ, и вы перестанете проклинать его или смѣяться надъ нимъ. Онъ такой же продуктъ, какъ и всякая вещь“... „То, что мы принимали за отступленіе отъ формы—есть, наоборотъ, форма, что намъ казалось нарушеніемъ закона—есть исполненіе его. Матеріалами для человѣческаго разсудка и добродѣтели служатъ животные инстинкты и образы, совершенно такъ, какъ живыя формы имѣютъ орудіями своими законы, какъ органическія матеріи получаютъ свои элементы изъ минеральныхъ веществъ. Что же удивительнаго, если элементы бытія, подобно элементамъ количества, получаютъ изъ самой природы своей непреложные законы, которые распредѣляютъ и ограничиваютъ ихъ извѣстнымъ родомъ и извѣстнымъ порядкомъ формацій? Статочное-ли дѣло, чтобы кто-нибудь сталъ негодовать противъ геометріи? А тѣмъ болѣе противъ живой геометріи?“ *) Все это въ переводѣ на конкретный языкъ значитъ: недавно былъ уличенъ кладбищенскій сторожъ въ осквернени труповъ. Но не ужасайтесь: сумма угловъ въ треугольникѣ равняется двумъ прямымъ. Недавно у такого-то убили на войнѣ единственнаго сына. Не бѣда: ломанная больше прямой. Въ Россіи нѣсколько лѣтъ тому назадъ былъ голодъ. Это совершенно разумно, ибо людямъ нечего было ѣсть, а въ такихъ случаяхъ, по непреложнымъ законамъ природы, они должны обязательно истощаться. Мюссе въ такихъ случаяхъ восклицаетъ: „молитва замираетъ на устахъ“, Байронъ произноситъ свое страшное проклятіе „собаки или люди“, Гейне бросаетъ лиру и беретъ въ руки палку, а ученый, глядя на все это, убѣжденъ, что это только „цвѣтеніе на поверхности бытія“ (яркое или ароматическое?). Очевидно, Барцелотти былъ несправедливъ къ Тэну, когда утверждалъ, что въ немъ художникъ „дополняетъ и исправляетъ“ мыслителя. Наоборотъ, въ Тэнѣ мыслитель потому только и получилъ такое рѣзко выраженное проявленіе, что не встрѣтилъ протеста въ художникѣ. Вообще не дѣло

*) H. Taine Histoire. de la littérature anglaise. Tome quatrieme, livre IV, ch. II.

типическаго человѣка „дополнять и исправлять“ т. е. замазывать естественныя трещины системы. Тэнъ краснорѣчивъ, и потому считается художникомъ. Но это—большое недоразумѣніе. Весь пафосъ его, весь пылъ его увлеченія складывается предъ алтаремъ того бога, которому никогда ни одинъ художникъ не молился. Онъ говоритъ о красотѣ, а вы чувствуете, что онъ поетъ гимнъ „причинѣ и слѣдствію“; да онъ и не скрываетъ этого. Напротивъ, онъ словно умышленно вездѣ подчеркиваетъ то обстоятельство, что можно вдохновенно простирать руки къ началамъ Эвклида и говорить тѣмъ разнообразнымъ и блестящимъ языкомъ, который кажется „совершенно художественнымъ“. Но вы видите, что онъ ни объ одномъ жизненномъ явленіи не можетъ говорить, если предварительно не умертвитъ его. Онъ словно владѣетъ даромъ того миѳическаго царя, которому дано было своимъ прикосновеніемъ все обращать въ золото. Но какъ золото ни красиво—оно мертво, и золотыя издѣлія никогда не сравняются съ живыми красотами истинной поэзіи. Но иначе быть не можетъ, середины—нѣтъ. Ученый долженъ либо убить жизнь и принять ее въ область своего вѣдѣнія, либо отказаться отъ универсальныхъ попытокъ—по крайней мѣрѣ при современномъ состояніи науки. Первое рѣшеніе напрашивается само собою: весь духовный складъ ученаго таковъ, что ему вовсе и не трудно убить жизнь. Онъ ничѣмъ не жертвуетъ. Наши муки, волненія, радости для него не существуютъ; онъ ничего этого не зналъ, либо зналъ въ такой слабой степени, что ему ничего не стоитъ отказаться отъ этого. И для него убить жизнь—это праздникъ. То, надъ чѣмъ рыдаютъ истинные „артисты“, т. е. люди, прежде всего наиболѣе глубоко и сильно чувствующіе,—то ему кажется настолько ничтожнымъ, что иного названія, чѣмъ „цвѣтеніе на поверхности“, онъ для него не находитъ. Въ его глазахъ все это столь незначительно, что оно вовсе и не можетъ помѣшать системѣ. Это песчинка на земномъ шарѣ, которая никакого вліянія на его форму имѣть не можетъ. Поэтому Тэнъ съ пренебреженіемъ относится ко

всему содержанію новой лирики. По его мнѣнію, поэты зацѣпились за эту ничтожную видимость и изъ-за такой мелочи потеряли душевное равновѣсіе. Байронъ—это „разъяренный быкъ, попавшій въ зеркальный магазинъ“. Не лучше и другіе поэты. „Что кроется подъ хорошенькими атласными листочками современной поэмы“? спрашиваетъ Тэнъ.—„Современный поэтъ—человѣкъ въ родѣ Альфреда Мюссе, Гюго, Ламартина или Гейне, учившійся въ школѣ и путешествовавшій, носящій черную пару и перчатки, благосклонно принимаемый дамами, отвѣшивающій по вечерамъ полсотни поклоновъ и произносящій два десятка бонмо, а по утрамъ читающій газеты; живетъ онъ обыкновенно во второмъ этажѣ; онъ не слишкомъ веселъ, ибо у него—нервы, но больше всего потому, что при господствѣ грубой демократіи, среди которой мы задыхаемся, уменьшеніе престижа оффиціальныхъ властей возвысило его значеніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и претензіи, а сверхъ того еще и потому, что тонкость его чувствъ даетъ ему поводъ считать себя Богомъ“.*) Это „мысль, проникшая глубже, чѣмъ глаза“?! Но не наоборотъ ли? Не примѣнимы ли сюда слова Гамлета; „Какой же черный демонъ толкнулъ тебя, играя въ эти жмурки? Глаза безъ рукъ, рука безъ зрѣнія и слуха не промахнулася-бы такъ жестоко“. Отбросьте на минуту стремленіе подвести Гейне, Гюго, Мюссе подъ категорію, чѣмъ тогда покажется вамъ искусство видѣть въ лучшихъ поэтахъ новаго времени лишь обиженныхъ претендентовъ и счастливыхъ кавалеровъ? Это Гейне, написавшій „Сумерки боговъ“, „Вавилонскую скорбь“, „Атту Троллъ“, „Флорентинскія ночи“! Это Мюссе, авторъ „Ролла“, „Стансовъ къ Малибранъ“, „Надежды на Бога“, „Исповѣди сына вѣка“! А между тѣмъ Тэнъ говоритъ совершенно искренно. Онъ больше въ нихъ и не видитъ. Весь Байронъ представляется ему однимъ сплошнымъ недоразумѣніемъ. Всѣ бѣшеные порывы этой неукротимой натуры кажутся Тэну праздными протестами противъ гео-

*) Ib. Introduction. I.

метріи и треугольниковъ, и сводятся къ подвигамъ разъяреннаго быка въ зеркальномъ магазинѣ. И съ точки зрѣнія науки—критикъ правъ. И Гейне, и Мюссе, и Байронъ, какъ „явленія“, какъ продукты „равнодушныхъ“ законовъ природы—безсмысленны. Они словно хотятъ быть большими католиками, чѣмъ папа. Если „природа“ равно довольна Байрономъ и кладбищенскимъ сторожемъ, Гейне и убійцей, Мюссе и умирающимъ съ голода русскимъ мужикомъ, то поэтическія изступленія, слезы, мольбы, протесты—никому не нужны, смѣшны. Живите и познавайте, вы сами только „цвѣтеніе“! Навѣшивайте ярлыки, нашивайте номера на все, что вы видите, какъ дѣлаетъ наука. На ея ярлыкахъ—латинскія слова, ея номера—цифры. Вы можете употреблять разнообразныя слова, „дивный, божественный, святой, поэтическій“. Но не забывайте, что они значатъ не болѣе, чѣмъ перпендикуляръ или проэкція.

Мы уже говорили, что Тэнъ лишь формулировалъ то, къ чему пришли „всѣ въ Европѣ“. До него, задолго до него, наука своими заключеніями поселила ужасъ въ рядахъ наиболѣе отзывчивыхъ людей, и этотъ ужасъ нашелъ себѣ выраженіе въ тѣхъ „meditations“, которыя были такъ запросто сброшены съ пути изслѣдованія Тэномъ. Но большинство людей отнеслось очень равнодушно къ новымъ идеямъ. Ни костяная улыбка Вольтера, ни сомнѣнія Гейне, ни бури Байрона не касались ихъ. Идеи принесли имъ пока лишь нѣкоторыя удобства, разрѣшивъ снять съ себя маску лицемѣрія, которой прежде приходилось прикрывать маленькія житейскія радости. Пока „цвѣтеніе“ не знало иныхъ красокъ, кромѣ свѣтлыхъ, все шло превосходно. Но проходило время; „дѣти вѣка“ поистратили свои силенки, маленькія радости стали имъ недоступны, на „поверхности бытія“ стали являться мрачныя, темныя краски. Тогда пронесся по всей Европѣ страшный стонъ... Пока было весело, причина и слѣдствіе все объясняли; съ ними было лучше, чѣмъ съ Богомъ, ибо они никогда не корили. Но каково жить съ ними въ горѣ? Когда несчастія, одно за другимъ, обрушива-

ются на человѣка, когда бѣдность, болѣзни, обиды смѣняютъ богатство, здоровье, власть? Каково Іову, покрытому струпьями, лежать на навозѣ, съ страшными воспоминаніями о гибели всѣхъ близкихъ? Каково ему, когда единственнымъ отвѣтомъ на его жалобы являются разсужденія о кирпичѣ, сорвавшемся вслѣдствіе дождя? Для ученыхъ Іовъ былъ—паціентъ, страдающій проказой, то есть неизлѣчимой болѣзнью; для нихъ же онъ былъ пролетаріемъ, то есть лишившимся имущества—и бездѣтнымъ человѣкомъ. А когда онъ произносилъ свои неистовыя слова: „если бы взвѣшена была горесть моя, и вмѣстѣ страданіе мое на вѣсы положили, то нынѣ было бы оно песка морского тяжелѣе“ и „духъ мой смущенъ, мои дни угасаютъ, гробы предо мною“—это относили къ категоріи цвѣтенія, то есть къ явленію, не требующему объясненія, сопровождающему паденіе кирпича. Это была черная радуга, нѣкое „ничто“, прибавленное къ каплямъ и лучамъ солнца. Іовъ нашелъ успокоеніе въ Богѣ. Но наши Іовы нигдѣ не находили успокоенія. Послушайте Метерлинка. Что такое его „слѣпые“, l'intruse, смерть Тэнтажиля, какъ не исторія Іова, разсказанная человѣкомъ, вѣрующимъ въ универсальность причины и слѣдствія? Что такое „одиночество“ Мопассана? Но у Тэна дѣтей не отнимали, проказой онъ не болѣлъ. Онъ былъ блестящимъ, геніальнымъ ученымъ, его произведенія расходились въ несчетномъ количествѣ экземпляровъ, и онъ не только оставался равнодушнымъ, видя, какъ при господствѣ причины и слѣдствія, т. е. обязательной гармоніи во внѣшнемъ мірѣ, жизнь человѣка отдается во власть случая—онъ торжествовалъ по поводу своего ученаго открытія. Какой даръ принесъ онъ человѣчеству—прометееву искру или ящикъ пандоры—ему было все равно. Да вѣдь и не онъ этотъ даръ принесъ: человѣчество само отыскало его.

„Долго еще будутъ люди испытывать дрожь сочувствія при звукахъ рыданій великихъ поэтовъ. Долго еще будутъ они негодовать на судьбу, которая открываетъ ихъ стремленіямъ карьеру безконечнаго протяженія для того,

чтобы раздробить ихъ въ двухъ шагахъ отъ входа о незамѣченный камень. Долго еще будутъ они наталкиваться на необходимость, которую они должны были принять за законъ", пишетъ Тэнъ. То есть, долго еще будутъ гибнуть сотни тысячъ, милліоны людей, какъ гибли до сихъ поръ, вслѣдствіе чисто внѣшнихъ условій, долго будутъ еще на землѣ царствовать все то зло и весь тотъ ужасъ, о которомъ передаетъ намъ исторія человѣчества—отъ самыхъ отдаленныхъ дней до новаго времени,—но это есть лишь естественный результатъ столкновенія съ необходимостью. Поэты плачутъ, мы вторимъ ихъ рыданіямъ, видя, какъ уродуетъ это нѣчто—„необходимость"—жизнь цѣлыхъ поколѣній людей. Но ученый не понимаетъ такого отношенія. Зачѣмъ возмущаться противъ живой геометріи? „Наоборотъ, кто не чувствуетъ восторженнаго удивленія при видѣ колоссальныхъ силъ, находящихся въ самомъ сердцѣ всего существующаго, которыя безпрерывно гонятъ кровь по членамъ стараго міра, распредѣляютъ массу соковъ по безконечной сѣти артерій и раскидываютъ на поверхности вѣчный цвѣтъ юности и красоты? Наконецъ, кто не почувствуетъ себя выше и чище при открытіи, что этотъ рядъ законовъ примыкаетъ къ ряду формъ, что матерія переходитъ постепенно въ мысль, что природа заканчивается разумомъ и что идеалъ, около котораго вращаются, послѣ столькихъ заблужденій, всѣ человѣческія стремленія, есть та же самая конечная цѣль, въ виду которой работаютъ, не взирая ни на какія препятствія, всѣ силы вселенной?" *) Пусть явится съ этимъ, исполненнымъ пафоса, блестящимъ краснорѣчіемъ къ лежащему на навозѣ Іову современный ученый. Если „молитва замираетъ на устахъ",—то что же будетъ съ этими тонкими обобщеніями? Но наука не чувствуетъ, что въ нашемъ мірѣ „il y a tant d'elements si peu d'accord", она не знаетъ внутренняго противорѣчія. Ей ясно, что тигръ и паукъ это не одно и то же, что металлъ отличается отъ газа, и она устанавливаетъ свою

*) Ib. t IV, livre IV, ch. II.

классификацію. Но всю жизнь она обняла однимъ понятіемъ цвѣтенія и не чувствуетъ въ ней элементовъ, которые для всякаго неученаго такъ очевидно противоположны между собой. Единство, безличное, внѣшняго міра она навязала и внутреннему и восторгается тѣмъ, что „матерія переходитъ постепенно въ мысль“, полагая, что отъ этого слова „постепенно“ мысль, постигающая матерію, подчинится законамъ матеріи. Всѣ вѣковыя муки человѣчества отброшены, какъ не требующія объясненія, какъ не составляющія для ученаго „категоріи“. Онъ не видитъ причины, въ силу которой понятіе „отчаяніе“ предъявляетъ право на объясненіе; онъ не знаетъ, зачѣмъ „преступленіе“ требуетъ себѣ „предиката“, не заключающагося въ понятіи хотя бы металла или перпендикуляра. Онъ не чувствуетъ, что есть зло, съ которымъ созерцаніе единства силъ природы никогда не примиритъ человѣка. Онъ говоритъ о красотѣ—потому лишь, что она не мѣшаетъ общей теоріи, какъ понятное для него заключительное звено развитія. Если бы онъ понялъ, что и она требуетъ себѣ предиката, не заключающагося въ скалѣ, онъ бы и ее отвергъ. Да въ сущности онъ такъ и поступилъ: для него искусство лишь „равнодушное изображеніе равнодушныхъ силъ природы“. Всю совокупность нашихъ отношеній къ явленіямъ, всю нашу способность цѣнить, то есть любить и ненавидѣть—ученый прежде всего отвергъ и тѣмъ открылъ новое обширное поле для завоеваній науки: человѣческую жизнь. Наука „принялась за изученіе души, вооруженная самыми точными и всепроникающими инструментами, вѣрность которыхъ была доказана трехсотлѣтнимъ опытомъ“.

Мы видѣли, какъ при помощи этихъ точныхъ и всепроникающихъ инструментовъ ученый сбросилъ съ пути Мюссе, Гейне и Байрона. Но предъ нимъ сталъ Шекспиръ. Надо было пригнуть этого гиганта, надо было сгладить то мѣсто жизни, гдѣ высилась эта колоссальная вершина человѣческаго генія, чтобы дать просторъ легкому движенію мысли. Нужно было его „рыкающихъ львовъ“, Болингбро-

ковъ и Норфольковъ, его рыдающихъ Лировъ, безумствующихъ Гамлетовъ, восторженныхъ Ромео, могучихъ Ричардовъ, трогательныхъ въ своемъ кроткомъ величіи Дездемонъ и Корделій, безстрашно идущихъ къ своему идеалу Брутовъ, втиснуть въ цѣпь явленій. Всю эту глубокую, обширную жизнь нужно было пересмотрѣть и отмѣтить ее лишь какъ добавочное къ борьбѣ силъ природы цвѣтеніе. И Тэнъ не отступилъ предъ этой задачей. Все съ тѣмъ же стремительнымъ паѳосомъ, онъ, слѣдя за судьбами шекспировскихъ героевъ, поетъ гимнъ собственному идеалу. Въ заключеніи къ статьѣ о Шекспирѣ, непосредственно вслѣдъ за цѣлымъ рядомъ словъ, исполненныхъ, повидимому, неподдѣльнаго восторга предъ художественнымъ творчествомъ величайшаго изъ поэтовъ, вы читаете такое примѣчаніе: „одинъ и тотъ же законъ, какъ для органическаго, такъ и для нравственнаго міра. Это то, что Жофруа Сентъ-Иллеръ называетъ единствомъ композиціи“,—и видите, если раньше не успѣли догадаться, что паѳосъ всецѣло относится не къ Шекспиру, а все къ тому же „закону“, и что драпировка, мраморъ украшенія давно повалились, исчезли, какъ дымъ, что „мысль видитъ глубже, чѣмъ глаза“. И точно—мысль видѣла что-то, но глаза—ничего. Если глаза могутъ обезсилить мысль, то, конечно, и мысль умѣетъ ослѣпить глаза. Вотъ заключеніе Тэна къ Гамлету: „если бы Шекспиръ писалъ психологію, онъ сказалъ бы вмѣстѣ съ Эскиролемъ: человѣкъ есть нервная машина, управляемая темпераментомъ, расположенная къ галлюцинаціямъ, увлекаемая незнающими узды страстями, неразумная по существу своему, смѣсь животнаго и поэта, имѣющая вмѣсто разума—пылъ; воображеніе—ея единственная опора и руководитель; и с л у ч а й ведетъ человѣка сквозь очень опредѣленныя и самыя сложныя обстоятельства,—къ горю, преступленію, безумію, смерти“ *). Совершенно такъ, какъ въ органическомъ мірѣ, если бы не горе, преступленіе, безуміе и смерть. Но для ученаго эти слова

*) Ib. t. II, livre II, ch. VIII.

ничего не значатъ; они такъ ничтожны, что явленіе, имѣющее ихъ своими предикатами, не смѣетъ претендовать на особую категорію. Слово „случай“, которому такъ строго воспрещено показываться, когда рѣчь идетъ объ объективныхъ явленіяхъ (ибо „случай“ говорится тогда, когда ясно, что объясненія не нужно)—здѣсь, именно здѣсь, на своемъ мѣстѣ. И не думайте, что Тэнъ не слѣдитъ за перипетіями Гамлетовской трагедіи. „Понимаете ли вы, восклицаетъ критикъ, что, когда онъ произноситъ эти слова (приводятся слова Гамлета), его зубы стучатъ, колѣни подгибаются, онъ блѣденъ, какъ рубашка?.. Отнынѣ Гамлетъ говоритъ, какъ будто онъ подверженъ непрерывнымъ нервнымъ припадкамъ“... И дальше: „Гамлетъ—это Шекспиръ, и въ заключеніе длинной галлереи нарисованныхъ имъ лицъ, Шекспиръ изобразилъ самого себя, и это самый глубокій изъ его образовъ“. И для разъясненія внутренняго міра Шекспира ученому вполнѣ достаточно такихъ словъ, какъ „галлюцинація“, „экзальтація“, „мономанія“, „безуміе“. А вотъ и приговоръ: приводятся разсужденія Гамлета надъ черепомъ Іорика и говорится: „когда человѣкъ доходитъ до такого состоянія, остается одно: умереть“. Исторія Гамлета, какъ и Макбета, есть „разсказъ о нравственномъ отравленіи“. И это—все. Навѣшаны ярлыки, подписанъ смертный приговоръ, и дѣло считается оконченнымъ: для торжества Сентъ-Иллера больше и не нужно. Этого Гамлета, по Тэну самого Шекспира, у котораго „зубы стучатъ“, „колѣни подгибаются“, который „блѣденъ, какъ рубашка“—смели двумя парами словъ: „нравственное отравленіе“ и „нервные припадки“, и убрали изъ ученаго кабинета, какъ случай, не требующій объясненія. И таковъ—весь Шекспиръ въ глазахъ Тэна; вся изображенная поэтомъ жизнь можетъ быть непосредственно подведена къ „законамъ, которые примыкаютъ къ ряду формъ“, и къ матеріи, „постепенно переходящей въ мысль“. Онъ глядѣлъ на шекспировскую жизнь—и ничего не увидѣлъ: онъ знаетъ, что ее полагается описывать сильными словами, ибо Шекспиръ сынъ безпокойнаго возрожденія. И эти слова кишмя кишатъ въ

его статьѣ. Метафоры нагромождаются на метафоры, весь французскій словарь къ услугамъ ученаго. И все-таки вы съ изумленіемъ говорите: „слова, слова, слова“. Прочтите его замѣчаніе о Лирѣ: чего тутъ нѣтъ на нѣсколькихъ строчкахъ! И „страшный видъ прогрессирующаго безумія“, и „нечеловѣческія страданія“ — все, что хотите. И тѣмъ не менѣе для ученаго — это лишь цвѣтеніе на поверхности, а не категорія. Въ такомъ родѣ все: и комедіи и трагедіи Шекспира представляются необычайно рѣзко, сильно, необузданно написанными, но суть лишь „дополненіе“, вся обрисованная имъ жизнь есть „ничто“, объясненія не требующее, подобно тому какъ мертвецъ для леди Макбетъ — только картина. И законъ для человѣческой жизни — случай.

И это есть настоящая „научная“ критика. Тэну мало изгнать мораль и Бога изъ жизни (Шекспиру онъ приписываетъ такое-же пониманіе жизни: гдѣ возможно, критикъ старательно „обосновываетъ“ это) — ему нужно у жизни отнять самостоятельное значеніе. Не жизнь, а существованіе требуетъ объясненія. То, что мы называемъ жизнью, есть видимость, и все же при этомъ не нужно отказываться отъ поэзіи и попрежнему можно употреблять весь созданный человѣчествомъ арсеналъ высокихъ и святыхъ словъ. „Мы можемъ“, кончаетъ онъ свою статью о Шекспирѣ, „сказать ему вмѣстѣ съ Дездемоной: мы тебя такъ любимъ, ибо ты много чувствовалъ и страдалъ“. И все таки тебѣ, какъ Гамлету, остается только умереть?

Итакъ, наша жизнь есть лишь „цвѣтеніе на поверхности“ и это должно насъ приводить въ восторгъ, хотя мы и отданы въ добычу „случаю“. Жизнь есть добавленіе къ развившейся матеріи и „въ подобномъ міровоззрѣніи заключается новая нравственность, новая политика новая религія“; назначеніе науки — проповѣдь этого міровоззрѣнія.

Такъ сказалъ Тэнъ. И его объясненіе Шекспира было признано „геніальнымъ“. Правда, многіе изъ писателей ука-

зывали на его „односторонность“ — тѣ, которые, не считали (какъ это сдѣлалъ Барцелотти), что онъ отдалъ достаточную дань „художественности“ (кромѣ художественности ничто уже не смѣло предъявлять свои права, даже „нравственность“) тѣмъ, что писалъ столь блестяще и краснорѣчиво. Такъ С. Бевъ упрекалъ его за исключительно научную тенденцію. Брандесъ называетъ его геніальнымъ, но „одностороннимъ“. По заслугамъ оцѣнилъ Тэна лишь одинъ Фридрихъ Нитше, назвавшій его безъ всякихъ ограниченій „величайшимъ историкомъ нашего времени“. Больше Нитше ничего не прибавилъ. Но кому хоть немного знакомъ духовный складъ этого оригинальнѣйшаго и несчастнѣйшаго изъ новыхъ писателей, тотъ пойметъ, что именно „ученаго“, „познающаго“, восторгавшагося предъ безкачественнымъ существованіемъ и цѣнилъ въ немъ Нитше, всю жизнь свою употребившій на то, чтобъ увѣрить другихъ, что такъ нужно и что онъ самъ такъ дѣлаетъ. Но большинство оставило въ резервѣ нѣкоторую качественность, чтобъ не только блестяще говорить и познавать, но чтобы и на самомъ дѣлѣ забавляться маленькими радостями жизни. По наукѣ выходило, что Тэнъ правъ, но осуществлять его идеалы предоставили дальнѣйшимъ поколѣніямъ — тѣ, которые еще могли радоваться.

Тѣ же, которые не могли „радоваться“, какъ мы сказали, съ отчаяніемъ и проклятіемъ приняли за единственный законъ для человѣческой жизни—случай. Это люди изъ серіи Метерлинка.

Но нашлась еще одна категорія — самая распространенная.

Вмѣстѣ съ Тэномъ, она признаетъ абсолютное значеніе кирпича. Но восторговъ науки передъ кирпичемъ она не раздѣляетъ. Наоборотъ—вмѣстѣ съ Метерлинкомъ она его называетъ „слѣпой судьбой“, разрѣшаетъ по поводу его огорчаться, рисовать черепа, кости и трупы. Но въ отчаяніе приходить ей не хочется. И восторгъ и отчаяніе не подходятъ къ дѣлу. Восторгъ—неумѣстенъ, а отчаяніе слишкомъ

тяжелое чувство. Самое правильное отношеніе къ управляющему нашей жизнью кирпичу — это грустное недоумѣніе. Оно доказываетъ тонкое, „художественное“ пониманіе и многосторонность, съ нимъ соединяющуюся, и затѣмъ, все таки, не отдаетъ человѣка во власть безумію отчаянія. Къ этой категоріи люди особенно охотно примыкаютъ: она даетъ право на принадлежность къ духовной аристократіи. И, главное, къ такой аристократіи, которая ни къ чему не обязываетъ.

Въ такомъ духѣ написана вышедшая недавно на нѣмецкомъ языкѣ книга Георга Брандеса: „Вилліамъ Шекспиръ“.

III.

Это огромная книга, въ 1000 страницъ. Ея задача выяснить міровоззрѣніе Шекспира и поставить его въ связь съ событіями изъ жизни великаго драматурга. Брандеса возмущаетъ, что въ послѣднее время „горсть полуобразованныхъ людей“, „кучка плохихъ диллетантовъ въ Европѣ и Америкѣ дерзнула посягнуть на право Шекспира называться авторомъ“ извѣстныхъ подъ его именемъ произведеній. Критикъ протестуетъ противъ того, что „другому приписываютъ честь, принадлежащую генію Шекспира“. Рѣчь здѣсь идетъ о такъ называемой бэконовской теоріи. Несомнѣнно подстановка, которую изобрѣли „плохіе диллетанты“ не можетъ быть названа удачной. Бэкона очень трудно представить себѣ авторомъ „Ромео и Юліи“, „Гамлета“, „Лира“. Но что совершенно упущено изъ виду Брандесомъ, чего онъ знать не хочетъ и что знать очень слѣдовало бы, въ особенности ему—мнѣнія этой горсти „полуобразованныхъ людей“ имѣютъ свои—и важныя—основанія. Дошедшія до насъ, или, вѣрнѣе, добытыя цѣной невѣроятныхъ усилій англійскими изслѣдователями, біографическія свѣдѣнія о Шекспирѣ лишаютъ насъ всякой возможности хоть сколько-нибудь связать жизнь великаго поэта съ его литературной дѣятельностью. При полнѣйшей готовности обобщать даже самые

незначительные факты, при рѣшительности въ заключеніяхъ, даже той, которую проявляетъ самъ Брандесъ, приходится признаться, что писательская дѣятельность Шекспира непонятнымъ, невѣроятнымъ даже образомъ отдѣлена отъ условій, въ которыхъ онъ жилъ и воспитывался. Мы знаемъ, что онъ учился всего лишь до 14 лѣтъ. Въ этомъ возрастѣ отецъ принужденъ былъ взять мальчика изъ школы, такъ какъ его денежныя дѣла настолько разстроились, что объ обученіи сына нечего было и думать. И вотъ съ 14 лѣтъ до 21 года молодой Вилліамъ не то является подручнымъ у своего отца-мясника, не то служитъ клеркомъ въ конторѣ адвоката. За это время онъ успѣваетъ жениться на неграмотной крестьянской дѣвушкѣ и настолько скомпрометировать себя браконьерствомъ, что ему приходится покинуть Страффордъ и бѣжать въ Лондонъ. Денежныя дѣла отца приходятъ къ этому-же періоду въ окончательное разстройство. Въ 1585 году—Шекспиръ уже въ Лондонѣ: стережетъ лошадей знатныхъ посѣтителей театра. Черезъ нѣкоторое время онъ начинаетъ исполнять кое-какія роли въ представленіяхъ, а въ 1588—89 году мы имѣемъ уже его первые драматическіе опыты — не только „Тита Андроника“, въ которомъ многіе видятъ лишь мѣстами „руку“ Шекспира, но и „Комедію ошибокъ“, „Безплодныя усилія любви“, принадлежащія уже несомнѣнно его перу. Послѣднее произведеніе, какъ самое раннее, причисляется критикой и къ самымъ незначущимъ. И не смотря на то, все-таки непонятно, какъ учившійся лишь до 14 лѣтъ человѣкъ могъ написать „Безплодныя усилія любви“. Какъ бы всеобъемлющъ ни былъ геній писателя—онъ все же нуждается въ извѣстномъ развитіи. И слѣды несомнѣннаго, законченнаго общаго образованія явны для всякаго въ каждой строкѣ этой пьесы. Вы не откроете въ ней ученаго Бэкона. Но для страффордскаго юноши, еще недавно бывшаго подручнымъ въ лавкѣ мясника, переписывавшаго въ конторѣ безсодержательныя бумаги, стерегшаго лошадей у подъѣзда театра—такая свобода въ обращеніи съ лучшимъ литературнымъ языкомъ, та легкость, съ которою

поэтъ касается труднѣйшихъ вопросовъ, та смѣлость, съ которой онъ осмѣиваетъ тогда модную манеру изысканной рѣчи (эвфуизмъ)—безусловно загадочны. Приведемъ небольшой примѣръ изъ того мѣста, которое не было подвергнуто передѣлкѣ при постановкѣ пьесы въ 1597 году предъ Елизаветой:

Б и р о н ъ... Любовь даетъ глазамъ
Чудесную способность прозрѣванья;
Влюбленный глазъ способенъ ослѣпить
Орлиный глазъ; влюбленный слухъ услышитъ
Слабѣйшій звукъ, невнятный для ушей
Опасливаго вора; осязанье
Влюбленнаго чувствительнѣй, нѣжнѣй,
Чѣмъ нѣжный рогъ улитки; вкусъ влюбленный
Изященъ такъ, что Бакхусъ гастрономъ
Въ сравненьи съ нимъ—обжора грубый. То же
И въ доблести: любовь, какъ Геркулесъ,
На самый верхъ деревьевъ гесперидскихъ
Взбирается безъ устали. Любовь
Умна, какъ сфинксъ, чудесно гармонична,
Какъ лира Аполлона. Чуть любовь
Заговоритъ—всѣ боги начинаютъ
Гармоніей баюкать небеса.
На всей землѣ не встрѣтите поэта,
Дерзнувшаго приняться за перо,
Не омокнувъ его сперва въ прекрасныхъ
Слезахъ любви; за то какъ мощно онъ
Своимъ стихомъ плѣняетъ слухъ суровый,
Какъ передъ нимъ въ смиреніи тиранъ
Склоняется.

Все это говорится въ доказательство того, что не нужно отдаваться наукѣ, что не наука, а „женскіе глаза — тотъ міръ, та книга, тотъ разсадникъ познанія, откуда Прометей извлекъ огонь“. Юноша поэтъ, скромный клеркъ Страффорда, не успѣвъ еще прочно основаться въ качествѣ второстепеннаго актера—позволяетъ себѣ такъ безпечно и легко нападать на науку, недостаточное знакомство съ которой должно было бы внушить ему робкое благоговѣніе предъ ней. И послушайте, какъ свободно онъ говоритъ о ней: почти какъ

Мефистофель у Гете, съ той лишь разницей, что Бирон у Шекспира все же оставляетъ за наукой нѣкоторое значеніе. Но она нисколько не импонируетъ ему, ни на волосъ не смущаетъ его. И какой превосходный языкъ уже слышенъ! Слова повинуются автору, точно солдаты опытному полководцу. А всего три года, какъ Шекспиръ въ Лондонѣ. И за это время, въ качествѣ незначительнаго актера, онъ еще нигдѣ не бывалъ, ничего кромѣ театра не видалъ. Да и въ театрѣ онъ, повидимому, не столько былъ актеромъ, сколько занимался чѣмъ-то постороннимъ: даже и впослѣдствіи онъ не исполнялъ значительныхъ ролей—въ „Гамлетѣ“ онъ исполнялъ роль тѣни отца, въ „Какъ вамъ это понравится“—старика Адама. И въ теченіе столь короткаго времени онъ успѣлъ на столько освоиться съ труднѣйшими вопросами жизни, чтобы не подражать въ робкомъ благоговѣніи другимъ, а смѣло выступать со своимъ мнѣніемъ, судить! При дворѣ, въ лучшемъ обществѣ задаетъ еще тонъ „Эвфуй“ Лили,—а Шекспиръ смѣется надъ изысканной высокопарностью, которая ему, если бы онъ былъ такъ мало подготовленъ, казалась бы недосягаемымъ идеаломъ стилистической красоты. Онъ превосходно владѣетъ модными языкомъ, умѣетъ говорить отборнѣйшими перлами напыщенности—и смѣется во всей пьесѣ надъ „эвфуизмомъ“. Прочтите письма Армадо къ королю, къ Жакнеттѣ (попавшее къ принцессѣ), и вы скажете, что все это написано истиннымъ виртуозомъ высокаго слога. Откуда взялось бы къ Шекспиру и такое знаніе пріемовъ искусственной рѣчи и такое тонкое пониманіе ея смѣшныхъ сторонъ?! Армадо даетъ Башкѣ три пятака и говоритъ: „вотъ тебѣ ретрибуція“. Шутъ, по его уходѣ, восклицаетъ: „посмотримъ теперь на его ретрибуцію! Ретрибуція! О, это латинское слово, которое означаетъ три пятака. Три пятака—ретрибуція! „Что стоитъ эта лента?“—Пятакъ. „Нѣтъ, я вамъ дамъ ретрибуцію“. Вотъ она штука какая ретрибуція! Чудеснѣйшее слово—лучше не придумаешь. Съ этихъ поръ не буду ничего ни покупать, ни продавать безъ этого слова“. Потомъ Бирон даетъ ему денегъ и говоритъ

„а вотъ тебѣ за трудъ твой гонорарій“.—Гонорарій! восклицаетъ Башка.—О милый гонорарій! Это лучше, чѣмъ ретрибуція, на одиннадцать съ половиною пятаковъ лучше“. Мы привели лишь эти два небольшихъ отрывка, но во всю пьесу вплетена насмѣшка надъ моднымъ обычаемъ высокопарной рѣчи. За Армадо, словно тѣнь, ходитъ его маленькій пажъ и высмѣиваетъ каждое высокое слово своего господина. Священникъ и учитель забавляютъ насъ тѣмъ же, чѣмъ и Армадо. И всему этому противопоставлено живое, естественное остроуміе другой группы лицъ—принцессы и сопровождающихъ ее дамъ и короля съ товарищами. Ихъ шаловливая, непритязательная, молодая веселость, быть можетъ, тоже еще несовсѣмъ свободная отъ литературныхъ украшеній—наряду съ неуклюжей и неповоротливой затѣйливостью ученыхъ Армадо—есть смѣлый вызовъ прочной традиціи, который въ устахъ неучившагося юноши актера совершенно немыслимъ.

Мы остановились нѣсколько подробнѣе на этой пьесѣ, ибо изъ нея какъ нельзя лучше видно, на какія трудности мы наталкиваемся при первой же попыткѣ связать жизнь Шекспира съ его литературной дѣятельностью. Очевидно, что эта интеллигентность, эта легкая свобода языка, которая уже въ первыхъ комедіяхъ (и въ „Комедіи ошибокъ“) такъ поражаетъ насъ, эта смѣлая рѣшительность говорить по-своему обо всемъ не могла не корениться въ долговременной привычкѣ къ обращенію со всѣми этими вопросами. Наука и литература были постоянной сферой того человѣка, который такъ писалъ о такихъ вещахъ. Никакой геній въ данномъ случаѣ не замѣнитъ человѣку подготовки. Въ теченіе трехъ лѣтъ, проведенныхъ Шекспиромъ въ Лондонѣ, среди матеріальныхъ заботъ, обязательной работы, да добровольнаго бражничанья и повѣсничанья (это факты, установленные біографами Шекспира), гдѣ было юношѣ, даже геніальному, успѣть настолько отшлифоваться духовно? На пьесѣ слѣдовъ труда и размышленія не видно. Все въ ней плоды инстинктивнаго воспринимания и инстинктивной реакціи. Авторъ „Безплодныхъ усилій любви“ не задумывался надъ вопро-

сами о наукѣ, о языкѣ, о любви. Онъ воспринималъ впечатлѣнія и передавалъ ихъ такими, какими они въ немъ отражались. Но сколько нужно было воспринять, чтобъ изъ отрывочныхъ впечатлѣній составилась цѣльная картина! Какъ нужно было быть подготовленнымъ, чтобъ впечатлѣнія не пропали даромъ! Поэтому мы и утверждаемъ, что первыя пьесы Шекспира приводятъ къ тому заключенію, что извѣстные изъ жизни поэта факты не объясняютъ его творчества, болѣе того находятся въ очевидной противоположности съ тѣмъ, что говорятъ намъ о немъ его литературныя произведенія. Но, если мы на порогѣ къ обзору жизни Шекспира становимся въ тупикъ, то дальше—мы не найдемъ большей ясности. Какъ теперь непонятно намъ начало литературной его дѣятельности, такъ послѣ намъ будетъ непонятна внезапная перемѣна, происшедшая въ его настроеніи, которая такъ рѣзко отразилась на характерѣ его произведеній. Брандесъ добрую треть своей книги посвящаетъ всякаго рода изысканіямъ по поводу біографіи поэта: догадывается, соображаетъ, строитъ гипотезы. И всѣ его догадки въ концѣ концовъ—безполезный трудъ. Англичане цѣлыя горы бумаги исписали по поводу Шекспира. Они скупили всѣ вещи, имѣющія хоть малѣйшее отношеніе къ нему. И тѣмъ не менѣе—жизнь поэта осталась для насъ тайной. Единственный прочный результатъ, къ которому привели ихъ изслѣдованія—это хронологическія даты для его произведеній.

Это очень многое выясняетъ. Но сверхъ этого мы не имѣемъ никакихъ данныхъ для сужденія о переживаніяхъ Шекспира. Мы знаемъ, что въ такомъ-то году умеръ у него сынъ, въ такомъ-то году—отецъ, въ такомъ-то году—мать, знаемъ, что покровители его, Эссексъ и Соутгамптонъ, судились и были приговорены въ такомъ-то году; по сонетамъ мы догадываемся, что авторъ ихъ былъ влюбленъ въ какую то женщину, добродѣтель которой не соотвѣтствовала ея красотѣ, что она покинула его и отняла у него друга; знаемъ еще, что онъ очень хлопоталъ о матеріальныхъ дѣлахъ и, къ великому удовольствію Брандеса, занимался даже ро-

стовщичествомъ; что за три года до смерти онъ покинулъ Лондонъ и переселился на родину, гдѣ онъ не писалъ ничего, и что оставилъ онъ очень подробное завѣщаніе обо всемъ, что имѣло отношеніе къ его имуществу, но что въ этомъ завѣщаніи о драмахъ своихъ онъ не обмолвился ни однимъ словомъ и, что изданы были онѣ много лѣтъ послѣ его смерти друзьями. Еще знаемъ мы нѣсколько забавныхъ анекдотовъ, да еще пожалуй, что въ рукописяхъ его не было помарокъ и что написаны были онѣ каллиграфически. Вотъ весь біографическій матеріалъ. Брандесъ растасовываетъ его очень сложнымъ способомъ и пріобщаетъ его къ тѣмъ или инымъ пьесамъ Шекспира. Но, повторяемъ,—это безполезный трудъ, заранѣе обреченный на безрезультатность. Все въ этой біографіи странно и непонятно. Мы говорили уже о литературныхъ дебютахъ Шекспира. Скажемъ нѣсколько словъ о послѣднихъ годахъ его дѣятельности, которая также поражаетъ насъ своею странностью. Чего только не придумываетъ Брандесъ, чтобы объяснить добровольное отреченіе Шекспира отъ литературы! Онъ, повторяя Тэна, даже на Вольтера ссылается и говоритъ, что „самое мудрое и глубокое замѣчаніе въ его „Кандидѣ"—это: „il faut cultiver notre jardin". „Эта мысль, говоритъ критикъ, напѣвала свою болѣзненную, бѣдную мелодію въ душѣ Шекспира" *), когда онъ покидалъ Лондонъ. Между прочимъ, въ такомъ жалобномъ тонѣ у Брандеса исписаны сотни страницъ, будто бы о Шекспирѣ пристало говорить такъ. Но объ этомъ рѣчь впереди. Вѣроятно, читателю ссылка на „Кандида" не объяснитъ ничего. Въ 49 лѣтъ здоровый, крѣпкій, геніальный человѣкъ удаляется на покой и три года ничего не пишетъ—все воздѣлываетъ свой садъ. И, затѣмъ, что еще страннѣе—обладая большими средствами, не издаетъ своихъ произведеній и, оставляя очень подробное завѣщаніе, ни слова не говоритъ въ немъ объ ихъ изданіи, зная отлично, что его дочери, изъ которыхъ одна была неграмотна, навѣрное не станутъ заботиться о его ли-

*) G. Brandes. William Schakespeare, стр. 987, 988.

тературномъ имени. Брандесъ же не смущается этимъ обстоятельствомъ. Критику кажется, что оно какъ нельзя болѣе согласуется съ „суверенным (!) пренебреженіемъ Шекспира къ славѣ“. Если нѣтъ спеціальной необходимости „объяснить все“—то il faut cultiver notre jardin и суверенное пренебреженіе не сойдутъ даже за гипотезы. Несомнѣнно, что начало и конецъ жизни Шекспира необычайно загадочны. Какъ могъ онъ такъ внезапно овладѣть тайной „волшебнаго жезла“, и отчего онъ такъ неожиданно разбилъ его—мы не знаемъ и, надо думать, не узнаемъ никогда. Догадки, въ родѣ тѣхъ, которыя намъ приводитъ Брандесъ, способны своей искусственностью лишь укрѣпить убѣжденіе, что объясненія и быть не можетъ, что примирить установленные біографами факты съ тѣмъ представленіемъ о Шекспирѣ, которое мы выносимъ изъ знакомства съ его произведеніями, рѣшительно невозможно.

Остановимся еще на нѣкоторыхъ важныхъ пунктахъ біографіи Шекспира въ изображеніи Брандеса. Датскій критикъ, пересмотрѣвъ сохранившуюся Шекспировскую корреспонденцію и различнаго рода дѣловыя бумаги, приходитъ къ слѣдующимъ выводамъ:

1) „вся эта переписка съ достаточной ясностью указываетъ, что Шекспиръ не раздѣлялъ господствовавшаго среди его современниковъ оффиціальнаго отвращенія къ процентамъ, хотя въ „Венеціанскомъ купцѣ“ этой чертой такъ живо противопоставляется Шейлокъ Антонію“ *);

2) „когда Шекспиръ заставляетъ своего Гамлета произнести надъ раскрытой могилой Офеліи эти слова (приводятся слова Гамлета)—то весьма вѣроятно, что поэтъ имѣлъ въ виду самого себя“ **).

И еще, приводя слова Шейлока, обращенныя къ Антонію: „вотъ тотъ дуракъ, который раздаетъ даромъ свои деньги“—Брандесъ говоритъ: „но самъ Шекспиръ не принадлежалъ къ такого рода дуракамъ. Онъ придалъ Антонію иде-

*) Brandes. стр. 216.
**) Ib. 217.

альность (!), которая ему была недоступна и не соблазняла его къ подражанію" *).

Брандесъ съ наслажденіемъ копается въ давно уже извѣстныхъ документахъ и, преувеличивая немного ихъ значеніе, подбавивъ отъ себя немножко „гипотезъ", добивается желаннаго результата. У него выходитъ, что Шекспиръ отдавалъ деньги на проценты, занимался откупами, скупалъ земли, сутяжничалъ—въ ту пору, когда создавалъ своихъ Готспоровъ, Шейлоковъ, Генриховъ и т. д. Брандесу это нравится, какъ лучшее доказательство, что „художественной натурѣ" все можно, что художественность относится къ той счастливой, изобрѣтенной новымъ временемъ „noblesse", которая ни къ чему человѣка не обязываетъ. Но для читателя, хоть немного знакомаго съ великимъ англійскимъ поэтомъ, соображенія Брандеса ничего не принесутъ. Шекспиръ-ростовщикъ, сутяга покажется ему такой же невѣроятностью, какъ и Шекспиръ-разбойникъ, или Шекспиръ-кровосмѣситель.

Наконецъ, что важнѣе всего, біографическія данныя совершенно не объясняютъ намъ одного изъ крупнѣйшихъ явленій въ литературномъ творчествѣ поэта. Дѣятельность Шекспира дѣлятъ на три періода, необыкновенно рѣзко отличающихся одинъ отъ другого. Въ особенности поражаетъ насъ разница между первымъ, заканчивающимся „Двѣнадцатой ночью", и вторымъ, начинающимся „Юліемъ Цезаремъ" и „Гамлетомъ". Гранью между ними является приблизительно 1601 годъ. Въ эту эпоху предъ Шекспиромъ возникли самые трудные и глубокіе жизненные вопросы. Отъ легкаго божественнаго смѣха, отъ поэзіи любви и радости, онъ переходитъ къ созданію величайшихъ трагедій, когда-либо выходившихъ изъ-подъ пера писателя. Историческія хроники, большей частью законченныя еще до 1601 года, т. е. въ теченіе перваго періода—полны огромнаго драматическаго напряженія. Еще въ трилогіи Генриха VI мы встрѣчаемся съ мрачными

*) Ib. 223.

и тяжелыми сценами той исторической полосы, которая называется красивымъ именемъ войны бѣлой и алой розы. Въ этихъ пьесахъ, въ особенности въ позднѣйшихъ—Ричардѣ III, Генрихѣ IV, Генрихѣ V, Шекспиръ въ своемъ творчествѣ поднимается до поразительной высоты. Онъ рисуетъ самые сложные и самые разнообразные характеры съ искусствомъ, равнаго которому новая литература еще не знаетъ. Цѣлая вереница лицъ, своеобразныхъ, не похожихъ другъ на друга, проходитъ предъ нами, точно въ художественной галлереѣ, Болинброкъ, Перси, Ричардъ II, Ричардъ III, Генрихъ V, Генрихъ VI, Фальстафъ, Фальконбриджъ, Елизавета, Маргарита, леди Анна и т. д., безъ конца, отъ женщинъ и дѣтей до шутовъ и королей, кроткіе и кровожадные, мстительные и спокойные, мрачные и безконечно веселые, умные и тупые: они представляютъ собою всю жизнь. Понять и обрисовать ихъ—въ этомъ задача Шекспира. И онъ блестяще выполняетъ ее. Но отношеніе поэта къ своей задачѣ во второмъ періодѣ является уже совершенно инымъ. Многіе критики утверждаютъ, что во всѣхъ произведеніяхъ Шекспира чувствуется одно убѣжденіе много вглядывавшагося въ жизнь геніальнаго человѣка: каждый изъ насъ—есть творецъ своей собственной судьбы. Горе или счастье встрѣтилъ человѣкъ на жизненномъ пути, удачу или неудачу, славу или позоръ—все, говорятъ эти критики, есть слѣдствіе его характера его душевнаго склада—все, слѣдовательно, есть дѣло его собственныхъ рукъ. Этотъ упрощенный выводъ жизненной мудрости напрашивается самъ собою, и люди охотно приписываютъ его Шекспиру. Одинъ изъ новѣйшихъ французскихъ критиковъ, современникъ Тэна, особенно рѣзко настаиваетъ на этомъ принципѣ, не останавливаясь предъ выводами, къ которымъ онъ обязываетъ. Оттого его формулировка получаетъ для насъ особенный интересъ, ибо она даетъ возможность сразу оцѣнить степень основательности принципа. Шекспиръ, говоритъ онъ, „ставитъ характеры надъ фактами, и даже тогда, когда онъ связанъ исторіей, или когда къ нему изъ рукъ новеллистовъ и хроникеровъ переходитъ канва,

въ которой онъ не желаетъ ничего измѣнять, онъ все же стремится объяснить ходъ событій въ драмѣ игрою страстей и приводитъ лишь тѣ событія, которыя подготовляются этими страстями. Его преступники—не жертвы судьбы: они хотѣли быть виновными, и они заслуживаютъ своими чувствами и своимъ поведеніемъ грозящаго наказанія. Если у Шекспира, какъ и повсюду въ нашемъ мірѣ, погибаютъ и невинные, то отнюдь не случай поражаетъ ихъ. Мы находимъ въ ихъ характерѣ причины ихъ несчастія. Если бы они были болѣе благоразумными, болѣе сдержанными, менѣе страстными, или болѣе ловкими, они избѣгли бы того горя, которое падаетъ на нихъ; въ ихъ жизни есть моментъ, когда своей ошибкой они рѣшили судьбу свою. Ромео и Юлія не заслуживаютъ смерти; но они умираютъ только потому, что уступили увлеченію юности и любви. Короля Лира не обидѣли бы такъ несправедливо дѣти, если бы онъ не проявилъ столь слѣпой нѣжности и не прогналъ бы отъ себя Корделію. Даже сама Дездемона не была бы убита, если бы не покинула отеческаго дома для чужого (!) мужа" *). Мы сдѣлали эту нѣсколько длинную выписку, ибо она очень рѣзко, какъ уже было замѣчено, формулируетъ довольно распространенную и очень любопытную теорію. И такой взглядъ на жизнь приписываютъ Шекспиру! Едва ли нужно говорить, что Шекспиръ никогда не могъ думать, что преступники совершаютъ злодѣянія оттого, что хотятъ быть виновными. Можно еще сдѣлать что-нибудь, чтобы быть правымъ, хорошимъ, но чтобы быть виновнымъ, дурнымъ—кто изъ такого удивительнаго побужденія хоть когда-нибудь что-нибудь дѣлалъ?

Столь же неосновательно предположеніе, что у Шекспира Отелло убиваетъ Дездемону единственно потому, что ее, какъ преступившую свои обязанности въ отношеніи къ отцу, должна была постигнуть кара. Такой „нравственный законъ", какъ его называютъ, можно прослѣдить лишь въ

*) A. Mezières. Shakespeare, ses oeuvres et ses critiques. P. 592.

первыхъ произведеніяхъ Шекспира, особенно въ его комедіяхъ, въ которыхъ большей частью преступники становятся жертвою своихъ замысловъ, а просто злые люди дѣлаются мишенью насмѣшекъ. Но въ этомъ сказалось лишь то обстоятельство, что во 1-хъ, Шекспиръ сразу не могъ освободиться отъ старинныхъ традицій англійскаго театра, а во 2-хъ, по существу своему, комедіи, требующія благополучнаго разрѣшенія запутаннаго узла, не допускаютъ иной развязки, кромѣ торжества добра и униженія зла. Второе же положеніе: „каждый человѣкъ есть творецъ своей судьбы“ гораздо болѣе опредѣляетъ собой первый періодъ Шекспировскаго творчества. Повидимому, въ молодые годы человѣческая жизнь представлялась поэту именно такой, и въ такомъ порядкѣ вещей, при которомъ судьба каждаго человѣка опредѣляется его душевнымъ складомъ, Шекспиръ не находилъ ничего страннаго и загадочнаго. Вопросъ о томъ, почему одного человѣка случай надѣлилъ счастливымъ характеромъ, приспособленнымъ къ жизни, а другого несчастнымъ, негоднымъ для жизни, еще не приходилъ въ голову поэту, когда онъ мысленно воспроизводилъ предъ собою судьбы своихъ многочисленныхъ героевъ. Отчего Фальстафъ—пошлякъ, гора мяса, блудливъ, какъ кошка, и трусливъ, какъ заяцъ, а его другъ, принцъ Генрихъ или Готспоръ—благородныя, храбрыя, честныя, открытыя натуры? Ужъ, конечно, не потому, что Фальстафъ хотѣлъ „быть“ праздным сквернословомъ и остроумнымъ мошенникомъ, а Готспоръ хотѣлъ „быть“ героемъ. Но въ первый періодъ творчества—это еще не занимало Шекспира. Онъ принималъ бросающуюся въ глаза связь между событіями и человѣческими страстями—и дальше этого не шелъ: ему еще не нужно было больше.

1601 годъ имѣлъ роковое значеніе для Шекспира. Что произошло въ его жизни—мы не знаемъ. Брандесъ, какъ и другіе критики, указываетъ на смерть отца, на исторію съ черной дамой, о которой идетъ рѣчь въ сонетахъ, на процессъ Эссекса и Соугамптона, и по этому поводу, чтобы усилить впечатлѣніе, дѣлаетъ много лирическихъ отступле-

ній въ родѣ приведеннаго выше, написанныхъ въ очень жалобномъ тонѣ. Но сонеты къ черной дамѣ появились еще въ 1598 году, а въ 1600 написаны лучшія изъ Шекспировскихъ комедій. Остается только смерть отца и процессъ друзей. Но, нужно полагать, что и эти два обстоятельства, какъ сильно ни поражаютъ такіе удары, не могли бы произвести въ душѣ Шекспира того переворота, который привелъ его такъ быстро, въ такое короткое время, отъ комедій, гдѣ чувствовался человѣкъ, достигшій высшаго счастья, къ трагедіямъ, гдѣ рѣчь идетъ о величайшемъ несчастіи. Чтобы перейти отъ одной крайности къ другой нужно было необычайное нравственное потрясеніе. Шекспиръ—человѣкъ рѣдкихъ духовныхъ силъ. Обыкновенное горе, обычные удары судьбы не сломили бы его, не отняли бы у него радостнаго смѣха, который такъ справедливо называютъ божественнымъ. Только полная безнадежность, только не знающее исхода отчаяніе могло привести Шекспира къ тѣмъ безднамъ человѣческаго горя, о которыхъ онъ разсказываетъ намъ въ „королѣ Лирѣ“. Угадать душу Лира, не переживши, хоть отчасти, его трагедіи, невозможно. И эта трагедія произошла въ душѣ самого Шекспира. Она заставила его задать себѣ этотъ великій и страшный вопросъ: „зачѣмъ?“ Кто испыталъ чувства Лира, кто вмѣстѣ съ Шекспиромъ умѣлъ войти въ тотъ безпросвѣтный мракъ, куда сразу, послѣ долгихъ лѣтъ безпечныхъ радостей попалъ несчастный старикъ—для того этотъ великій вопросъ „зачѣмъ“ никогда не перестанетъ существовать. Слабые, маленькіе люди убѣгутъ отъ него, постараются забыть его, закрыться отъ него повседневными заботами и радостями. Большіе люди прямо глядятъ въ лицо возставшему призраку и либо гибнутъ, либо уясняютъ себѣ жизнь. Шекспиръ не побоялся роковой задачи. Чего она ему стоила—мы никогда не узнаемъ. Но что безсмертную славу величайшаго трагика онъ купилъ страшной цѣной—въ этомъ не можетъ быть сомнѣній. Онъ самъ пережилъ ужасы трагедіи. И онъ понялъ и объяснилъ намъ ея смыслъ—разсказавъ, какъ она происходитъ и что дѣлаетъ она съ человѣ-

комъ. Этотъ величайшій и труднѣйшій вопросъ лежитъ внѣ сферы философіи и науки, собирающихъ и обобщающихъ лишь видимые, внѣшніе факты. Трагедіи происходятъ въ глубинѣ человѣческой души, куда не доходитъ ни одинъ глазъ. Оттого онѣ такъ и ужасны, словно преступленія, происходящія въ подземельѣ. Ни туда, ни оттуда не достигаетъ человѣческій голосъ. Это пытка въ темнотѣ—кто знаетъ ее, тотъ не можетъ не спросить „зачѣмъ“.

И этотъ, столь рѣзкій, переломъ не находитъ объясненія въ имѣющихся у насъ біографическихъ свѣдѣніяхъ о Шекспирѣ. Брандесъ, самъ Брандесъ, который „все понимаетъ“, даже Шекспира—сутягу и ростовщика, и который, переходя ко второму періоду творчества поэта, разбираетъ сонеты, вспоминаетъ и Елизавету, и Эссекса, и Пэмброка и Соугамптона и Бэкона,—принужденъ сказать: „мы не знаемъ точно, откуда пришли тучи, закрывшія собою горизонтъ предъ Шекспиромъ“ *).

Итакъ, начало поэтической дѣятельности Шекспира, конецъ ея, кризисъ душевный поэта, его финансовая дѣятельность—все окружено загадками. Добросовѣстность англичанъ не поборола тайны. Отсюда самое естественное заключеніе: нужно пользоваться для сужденія о Шекспирѣ лишь его произведеніями, да тѣми болѣе или менѣе точными свѣдѣніями о времени ихъ появленія, которыя удалось добыть шекспирологамъ. Стремленіе же подвести Шекспира-поэта подъ Шекспира-актера можетъ лишь повести къ ненужнымъ и ложнымъ догадкамъ. Поэтому мы ограничимся лишь сдѣланными замѣчаніями и больше не станемъ касаться тѣхъ мѣстъ книги Брандеса, гдѣ онъ говоритъ о жизни Шекспира.

IV.

Но тѣмъ любопытнѣй прослѣдить, что вынесъ новый, современный критикъ изъ произведеній Шекспира. Онъ го-

*) G. Brandes, стр. 352.

ворить про себя: „авторъ держится того мнѣнія, что если у насъ есть около 40 значительныхъ произведеній писателя, то это исключительно наша собственная вина, если мы о немъ ничего не знаемъ. Личность поэта цѣликомъ заключена въ его произведеніяхъ. Нужно только умѣть ихъ читать, и тогда все можно отыскать въ нихъ“ *). Тутъ опять-таки большое преувеличеніе. Никто не говоритъ, что мы ничего о Шекспирѣ не знаемъ. Наоборотъ, поскольку Шекспиръ проявляется въ своихъ произведеніяхъ, онъ болѣе или менѣе ясенъ каждому, изучавшему его. Не ясна лишь, какъ мы говорили, связь между драмами его и его жизнью, какой она представляется намъ по сохранившимся, вѣрнѣе, вырваннымъ изъ прошлаго упорными англичанами, свѣдѣніямъ. Вѣдь Шекспиръ—неучъ или Шекспиръ—ростовщикъ не заключается ни въ „Безплодныхъ усиліяхъ любви“ ни въ „Венеціанскомъ купцѣ“. Шекспиръ же писатель уже далеко не представляется столь загадочнымъ, хотя его литературная дѣятельность понимается чрезвычайно различно различными критиками. И Гервинусъ, и Ульрици, и Крейссигъ, и Дрэкъ, и Джонсонъ, и французская критика—ясно и опредѣленно рисуютъ намъ Шекспира и не говорятъ, что мы не знаемъ „писателя“. Они только почти не пользуются біографическими данными, ибо эти послѣднія лишь затемняютъ дѣло. Но—вопросъ не въ этомъ. Такъ или иначе, Брандесъ приступаетъ къ очень важной задачѣ: онъ берется обрисовать духовную физіономію Шекспира, т. е. разсказать, чѣмъ онъ жилъ и какъ понималъ жизнь. Это—вполнѣ выполнимо. Несомнѣнно, что поэтъ сказался всѣми сторонами своего существа въ оставленныхъ произведеніяхъ. „Нужно только умѣть читать ихъ“. Тэнъ, мы видѣли, вычиталъ, что, по Шекспиру, человѣкъ есть „существо безъ разума и воли“, что у великаго поэта люди „машины, одержимыя страстями, сталкивающіяся одна съ другой съ необыкновенной

*) Ib. 1001 стр.

силой". „Случай" ведетъ ихъ сквозь опредѣленныя обстоятельства, „къ горю, безумію, преступленію, смерти". По Мезьеру, Шекспиръ понималъ, что люди „хотятъ быть" дурными и виновными и что за это попадаютъ подъ судъ „нравственнаго закона", казнящаго даже Дездемону и Корделію, бѣдныхъ женщинъ, надъ которыми сжалились бы даже въ аду. Гервинусъ и Ульрици видятъ въ Шекспирѣ истиннаго христіанина, вѣрующаго въ безсмертіе души и въ бдительность провидѣнія. Крейссигъ говоритъ по поводу Шекспира о категорическомъ императивѣ. Очевидно, что мало— „умѣть читать", ибо „геніальный" ли Тэнъ не умѣлъ читать, а все-таки вышло у него „односторонне". И Гервинусъ и Ульрици умѣли читать, а ихъ критика вызываетъ лишь улыбку на устахъ современнаго Брандеса, хотя онъ и признаетъ за этими писателями важное значеніе. Но здѣсь сказывается любопытное обстоятельство изъ исторіи шекспирологіи. Съ тѣхъ поръ, какъ за Шекспиромъ установилась слава величайшаго изъ когда-либо существовавшихъ поэтовъ—у него перестали учиться. Его всегда оставляютъ на самый конецъ. Когда міросозерцаніе у человѣка сложилось— онъ начинаетъ „изучать" Шекспира, т. е. отыскивать въ его произведеніяхъ доказательства справедливости того отношенія къ жизни и людямъ, которое подсказали ему его собственное прошлое и личные вкусы. Шекспиръ слишкомъ великъ, чтобъ обойти его. Каждый критикъ принужденъ съ нимъ считаться и всѣ силы свои положить на то, чтобы согласовать свое міропониманіе съ Шекспировскимъ. Поэтому очень часто даже тѣ, которые „умѣютъ читать" Шекспира, вычитываютъ въ немъ то, чего онъ никогда не писалъ, но что въ ихъ книгахъ или сердцахъ написала ихъ собственная, нерѣдко тихая, несложная, ограниченная жизнь, совершенно исключающая всякую возможность шекспировскаго идеала. Кабинетные люди всегда стояли и будутъ стоять далеко отъ того, что происходило въ душѣ великаго поэта, окунувшагося съ головой въ жизнь. И, тѣмъ не менѣе, они, быть можетъ, не скоро откажутся отъ роли единственныхъ

толкователей Шекспира. Тэнъ внѣшнимъ образомъ блестяще поддѣлался подъ Шекспира, а, межъ тѣмъ, въ концѣ концовъ, до такой степени сгладилъ и прибилъ ту полную, бурную, могучую жизнь, которая рисуется намъ въ драмахъ поэта, что осталось одно „цвѣтеніе на поверхности“, подтверждающее „единство композиціи“.

И Брандесъ, въ числѣ другихъ, учиться у Шекспира не хочетъ. Онъ отлично самъ знаетъ все и пишетъ свою книгу лишь затѣмъ, чтобъ показать, что 300 лѣтъ тому назадъ величайшій изъ поэтовъ точно такъ же зналъ это „все“ и, что, слѣдовательно, его, Брандеса, пониманіе жизни есть самое правильное. „Въ „Гамлетѣ“, говоритъ онъ, первой философской драмѣ новаго времени, впервые выступаетъ типическій современный человѣкъ съ глубокимъ чувствомъ противорѣчія между идеаломъ и грубой дѣйствительностью, съ сознаніемъ глубокой пропасти между своими силами и задачей, со всѣмъ внутреннимъ разнообразіемъ своего существа, съ остроуміемъ безъ веселости, съ жестокостью и нѣжностью, съ постояннымъ откладываніемъ и бѣшенымъ нетерпѣніемъ“ *). И этотъ современный человѣкъ, „крикъ ужаснувшагося предъ самимъ собой человѣчества“ **)—есть самъ Шекспиръ, который „слился съ Гамлетомъ“ и чувствовалъ себя, какъ Гамлетъ. Это уже Брандесъ узналъ не изъ біографіи поэта, ибо въ собранныхъ документахъ о покупкѣ земель, въ завѣщаніи Шекспира и т. д.—объ этомъ ничего нѣтъ. Это онъ прочелъ въ драмахъ поэта, благодаря тому, что читалъ ихъ „съ открытымъ, воспріимчивымъ ухомъ съ здоровымъ умомъ и душою, доступною пониманію генія“ ***). У Тэна, мы видѣли, Шекспиръ, „если бы писалъ психологію“, сказалъ бы, что „случай ведетъ человѣка къ безумію, преступленію, горю и смерти“. У французскаго критика Гамлетъ тоже самъ Шекспиръ, доказывающій (за одно съ про-

*) Brandes, 527.
**) Ib. 525.
***) Ib. 1001.

чими героями драмъ, болѣе или менѣе носящихъ на себѣ печать индивидуальности своего творца) добавочное значеніе всего нашего внутренняго міра, для котораго вслѣдствіе этого закономъ будетъ случай, т. е. который имѣетъ столь малое значеніе самъ по себѣ, что ни въ какомъ иномъ объясненіи и не нуждается, кромѣ сведенія къ объективнымъ силамъ, тѣмъ или инымъ выраженіемъ которыхъ онъ является. Брандесъ говоритъ: „ни въ одной пьесѣ Шекспиръ съ такой рѣзкостью не противоставлялъ другъ другу добрыхъ и злыхъ людей, какъ въ „королѣ Лирѣ“, нигдѣ не изображалъ ихъ въ такой борьбѣ, какъ здѣсь, и нигдѣ онъ не проявилъ такого отвращенія къ обычному и условному исходу театральныхъ пьесъ, въ силу котораго заставляютъ добро торжествовать надъ зломъ, какъ здѣсь. Слѣпая и жестокая судьба въ концѣ концовъ губитъ равно и добрыхъ и злыхъ“ *). Очевидно, что Брандесовская „слѣпая судьба“ это нарядъ, въ цѣляхъ многосторонности и художественности, для ученаго „случая“,—такъ-же, какъ и „крикъ человѣчества, ужаснувшагося предъ самимъ собой“. Ибо что такое этотъ крикъ, приписываемый Шекспиру, и это созерцаніе „слѣпой и жестокой“ судьбы, какъ не высказанное Тэномъ убѣжденіе, что Шекспиръ видѣлъ самъ и намъ показалъ этотъ „случай“, какъ единственный законъ для нашего существованія? Оба писателя—одинъ „геніальный, но односторонній“, Тэнъ, другой—многосторонній, но не геніальный, Брандесъ, основнымъ пунктомъ принимаютъ тотъ выводъ науки, который ученый формулировалъ, какъ господство случая надъ жизнью человѣка. Тэнъ облекаетъ свои положенія въ торжественный, праздничный нарядъ, Брандесъ, очевидно, предпочитаетъ траурныя облаченія для такого властелина, какъ случай, и говоритъ: „слѣпая и жестокая судьба“ и т. д. Но сущность ихъ „взгляда“ на жизнь и ея значеніе—одна и та-же, и они оба приписываютъ свое пониманіе и Шекспиру, жившему 300 лѣтъ тому назадъ. Только

*) Ib. 641.

Тэнъ человѣкъ типическій и радуется всякому обобщенію, чтобы ни принесло оно съ собой. Брандесъ же многосторонен и о „случаѣ“ иначе, чѣмъ съ грустью и недоумѣніемъ не говоритъ.

Такимъ образомъ, основная идея книги Брандеса заимствована имъ у геніальнаго Тэна. Но Брандесъ не сразу обращаетъ Шекспира въ типическаго современнаго человѣка, съ вѣрой во власть случая. Онъ даетъ ему до 1600 года, т. е. до 36 лѣтъ, оставаться еще сильнымъ и цѣльнымъ сыномъ возрожденія, съ нѣкоторыми едва замѣтными черточками, подающими надежду на большее совершенство въ будущемъ, т. е. на сплинъ, пессимизмъ и т. д.

Поэтому, мы станемъ слѣдить за Шекспиромъ лишь съ того момента, когда, какъ мы говорили, вмѣсто прежняго вопроса „почему“ предъ нимъ возникъ страшный вопросъ—„зачѣмъ“. По Брандесу, Шекспиръ и не задавалъ себѣ послѣдняго вопроса. Съ того момента, какъ онъ заглянулъ въ бездну человѣческаго горя,—ему стало ясно, что нѣтъ и не можетъ быть никакого „зачѣмъ“, что человѣческой судьбой управляетъ слѣпой случай и одинъ ведетъ насъ ко всякимъ ужасамъ, что мы осуждены блуждать въ темнотѣ, наугадъ отыскивая дорогу или, вѣрнѣе, топчась на одномъ мѣстѣ въ „грустномъ“ сознаніи, что нѣтъ и не можетъ быть у насъ руководителя, путеводной нити, какъ у „слѣпыхъ“ Метерлинка. И что въ этомъ „грустномъ недоумѣніи“, выразившемся въ гамлетовскихъ размышленіяхъ, мы и находимъ жизненную философію Шекспира. Иначе говоря, Шекспиръ оправдываетъ то смятеніе умовъ, тотъ страхъ передъ жизнью, который, какъ общее явленіе, народился, казалось намъ, вмѣстѣ съ нашимъ вѣкомъ и былъ его болѣзнью, его проклятіемъ, его вопросомъ. По Брандесу, то, что мы сознали, есть высшая философская истина, внѣ которой нѣтъ правды. И она три вѣка тому назадъ была провозглашена уже величайшимъ изъ когда-либо жившихъ людей. Это—„грустная“ истина, а потому приходится на грустномъ недоумѣніи и остановиться.

Посмотримъ же, насколько Шекспировскія произведенія даютъ основаніе для такого моднаго заключенія. Мы начнемъ съ Гамлета, ибо онъ больше всѣхъ другихъ героевъ Шекспира соблазняетъ новѣйшихъ писателей изображать великаго англійскаго поэта недоумѣвающимъ философомъ.

V.

О Гамлетѣ, какъ о литературномъ типѣ, уже столько писалось и говорилось, что Брандесу трудно было придумать что-нибудь такое, что до него не было бы уже высказано другими критиками. И тѣмъ не менѣе тѣ главы его книги, которыя посвящены разбору „Гамлета“, представляютъ особенный интересъ. Въ нихъ, какъ и въ главѣ о Лирѣ, дается отвѣтъ на основной вопросъ, поставленный себѣ критикомъ—о міровоззрѣніи Шекспира. Мы уже говорили, что за одно съ многими другими критиками и Брандесъ Гамлета считаетъ самимъ Шекспиромъ. Но датскій критикъ идетъ еще далѣе. Онъ не только въ Гамлетѣ, но въ Жакѣ („Какъ вамъ это понравится“) уже видитъ Шекспира. Говоря о притворномъ безуміи Гамлета, онъ замѣчаетъ: „въ этомъ—исходная точка Шекспира. Непрямая форма выраженія своихъ мыслей всегда привлекала его. Этой формой онъ и пользовался, рисуя шутовъ своихъ и юмористическихъ героевъ. Шутки Оселка и значительная часть остроумія сэра Джона Фальстафа имѣютъ, главнымъ образомъ, такое происхожденіе“. Мы видѣли, какъ Жакъ въ „Какъ вамъ это понравится“ завидовалъ тѣмъ, кто, благодаря шутовскому кафтану, получилъ право говорить правду; мы помнимъ его тоскливые вздохи по неограниченномъ полномочіи „дуть, какъ вѣтеръ“—куда захочется. Все честолюбіе этого человѣка, подъ тоской и стремленіями котораго Шекспиръ скрылъ собственныя чувства, сводилось къ шутовскому кафтану. Его устами Шекспиръ воскликнулъ:

Попробуйте напялить на меня
Костюмъ шута, позвольте мнѣ свободно
Все говорить, и я ручаюсь вамъ,
Что вычищу совсѣмъ желудокъ грязный
Испорченнаго міра... *)

Странно звучатъ приведенныя слова критика! Сводить все честолюбіе Жака къ шутовскому костюму—Шекспиръ имѣлъ большія основанія. Ибо что Жаку дѣлать, если не ходить по зеленой муравѣ да, подглядывая раненаго оленя, разсуждать о несовершенствѣ людей и жизни! Но Жакъ со своей меланхоліей въ концѣ концовъ наивный ребенокъ. Но какъ странна, какъ непонятна готовность критика подставить подъ фигуру Жака самого Шекспира. Вообще самый неумѣлый пріемъ драматическаго творчества — изливаться „устами“ дѣйствующихъ лицъ. У хорошихъ писателей ихъ герои говорятъ за себя, а не за авторовъ, которые находятъ иной способъ чистить грязный желудокъ испорченнаго міра, если ихъ привлекаетъ такое юношеское занятіе. Но Брандесъ ищетъ угадать Шекспира и угадываетъ, что въ „Жакѣ виденъ будущій Шекспиръ, Гамлетъ въ зародышѣ“. Гамлета можно сдать за Шекспира. Трагическое положеніе его, постоянное напряженіе всѣхъ душевныхъ силъ придаетъ ему ореолъ величія. На Гамлетѣ мученическій вѣнецъ, и онъ намъ кажется поэтому большимъ, лучшимъ, чѣмъ онъ на самомъ дѣлѣ. Но психологія Жака—ясна. Онъ представляется намъ въ простыхъ условіяхъ, внѣ значительныхъ столкновеній, и основныя черты его душевнаго склада легче схватить и запечатлѣть въ памяти—а вмѣстѣ съ тѣмъ и оцѣнить. Гамлета мы застаемъ въ тотъ моментъ, когда судьба вытащила его изъ гнѣздышка, когда онъ чувствуетъ, что для него начинается тяжелая жизнь. Жакъ же принадлежитъ самому себѣ. Съ него никто ничего не спрашиваетъ, онъ можетъ дѣлать—что ему угодно и жить, какъ ему вздумается. Типъ Жака занимателенъ, но не потому, что въ

*) Ib. 511.

немъ виденъ Шекспиръ, а лишь потому, что въ немъ съ большой степенью увѣренности можно предположить эскизъ карандашемъ къ Гамлету. Или еще лучше—Гамлета, не натолкнувшагося на серьезную жизненную задачу, Гамлета, какимъ онъ былъ еще при жизни отца, когда еще не „распалась связь временъ", когда онъ еще посѣщалъ школу въ Виттенбергѣ—прежде, чѣмъ судьба взяла его въ свою школу, чтобъ показать ему то „многое на небѣ и землѣ, что не снилось" ни его мудрости, ни учености его друга, Горація. Если мы хотимъ ознакомиться съ Гамлетомъ—не знавшимъ трагедіи, Гамлетомъ молодымъ—намъ нужно всмотрѣться въ Жака. Мы и попытаемся это сдѣлать, прежде чѣмъ приступить къ разбору „Гамлета".

Чѣмъ занимается Жакъ, чѣмъ наполняетъ онъ свое время? Придворный герцога, при которомъ живетъ Жакъ, передаетъ характерную сцену о томъ, какъ раненый олень „прибѣжалъ страдать къ ручью".

Вѣрьте мнѣ, свѣтлѣйшій герцогъ, такъ
Несчастное животное страдало,
Что кожаный покровъ его костей
Растягивался страшно, точно лопнуть
Сбирался онъ; и жалобно текли
Вдоль мордочки его невинной слезы
Большущія и круглыя, однѣ
Вслѣдъ за другой. Такъ волосатый дурень
У самаго ручья на берегу
Стоялъ его слезами наполняя.

Въ этомъ простомъ, безхитростномъ пересказѣ грустнаго случая чувствуется добрый человѣкъ, которому больно было глядѣть на страдающаго оленя. Но Жакъ, тоже глядѣвшій на оленя, нашелъ въ этомъ поводъ для совершенно постороннихъ разсужденій, къ оленю и его ранѣ ровно никакого отношенія не имѣющихъ. Герцогъ, отлично знающій своего молодого друга, догадывается, что Жакъ объ оленѣ думать не станетъ и что чувство состраданія, являющееся у каждаго человѣка при видѣ ненужныхъ мукъ даже живот-

наго, разрядится въ немъ нравоученіемъ. „Но что же такое говорилъ Жакъ“, спрашиваетъ онъ, „картину не сдѣлалъ ли нравоученій темой“? И получаетъ онъ такой отвѣтъ:

О, да! и тѣ нравоученья онъ
Высказывалъ во множествѣ сравненій.
Такъ, напримѣръ, при видѣ столькихъ слезъ,
Терявшихся безъ всякой пользы,
Онъ говорилъ: „бѣднякъ, подобно людямъ,
Ты дѣлаешь духовную теперь,
Тому свое богатство отдавая,
Кто безъ того достаточно богатъ“.
И вслѣдъ затѣмъ при мысли, что оленя
Оставили лохматые друзья,
Что онъ одинъ безпомощный скитался,—
Жакъ говорилъ: „да это такъ всегда
Товарищей несчастье прогоняетъ!“ и т. д.

Мы не станемъ приводить всѣхъ его размышленій по поводу горя волосатаго дурня. Они безконечно длинны, какъ Жаку и подобаетъ „размышлять“. Но и въ выписанномъ отрывкѣ сказался весь Жакъ. Къ чему были всѣ его „сатирическія стрѣлы“? Вѣдь знаетъ онъ отлично, что не охотиться нельзя, ибо не святымъ же духомъ живетъ онъ. И какъ привычка разсуждать въ пессимистическомъ тонѣ успѣла уже убить въ немъ непосредственное чувство, которое менѣе всего вызываетъ на такія размышленія въ виду раненаго животнаго! Всѣ его афоризмы настолько же безрезультатны, насколько и не нужны, даже неприличны въ данную минуту. Вѣдь Жакъ былъ одинъ, его никто не слышалъ, такъ какъ придворные, видѣвшіе эту сцену, были спрятаны въ кустахъ. Но Жакъ ничего не ищетъ, ничего не добивается своими размышленіями. Онъ не лишенъ наблюдательности и тонкаго ума, вслѣдствіе чего его замѣчанія всегда бываютъ болѣе или менѣе остроумны и характерны. Но тѣмъ рѣзче сказывается ихъ рѣшительная ненужность. Онъ хвалится, что вычистилъ бы грязный желудокъ міра, если бы ему была дана свобода говорить все, что угодно. Но это „далеко не такъ серьезно“. Ему въ сущности до міра нѣтъ никакого

дѣла. Пускай себѣ онъ существуетъ, какъ ему вздумается. Главное для Жака—возможность высказываться предъ другими. А нужно ли это, имѣетъ ли онъ право быть проповѣдникомъ—объ этомъ онъ не очень заботится. Когда въ отвѣтъ на его просьбу о шутовскомъ кафтанѣ герцогъ говоритъ ему: „фи, я знаю, что ты сталъ бы дѣлать“, онъ отвѣчаетъ: „да ничего дурного, безъ сомнѣнія“—онъ говоритъ уже слишкомъ много. Достаточно было бы половины этой фразы: „да ничего“, какъ и показываютъ его дальнѣйшія разглагольствованія. Онъ намѣревается бичевать порокъ „вообще“, воображая—т. е. даже не воображая, ибо онъ слишкомъ уменъ, чтобы допустить такую нелѣпость—что порокъ устыдится его проповѣди. Вотъ его длинныя слова, изъ которыхъ очевидно, что онъ ничего дѣлать не намѣренъ, и что ему ничего дѣлать—эта самая любопытная черта въ его характерѣ—и не нужно:

Когда я говорю,
Что многія изъ нашихъ горожанокъ
Несмѣтныя сокровища несутъ
На недостойномъ тѣлѣ—развѣ этимъ
На личность я указываю? Гдѣ
Та женщина, которая мнѣ скажетъ,
Что именно о ней я говорилъ,
Когда ея сосѣдка съ нею схожа?
Скажите мнѣ, понять мнѣ дайте, чѣмъ
Языкъ мой могъ обидѣть человѣка?
Коли я въ цѣль попалъ, такъ оскорбилъ
Онъ самъ себя; коли онъ чистъ душою,
То мой укоръ по воздуху летитъ,
Какъ дикій гусь, въ которомъ не имѣетъ
Никто нужды.

Очевидно, что „сатирическія стрѣлы“ для Жака—одна забава, которой онъ и самъ не придаетъ никакого значенія. Долго пришлось бы ждать, пока человѣкъ призналъ, что въ него попали, и тѣмъ „оскорбилъ бы самого себя“. Герцогъ даже говоритъ Жаку, что, нападая на грѣхъ, онъ совершалъ бы еще большій:

Вѣдь самъ ты былъ распутнымъ,
И чувственность была въ тебѣ сильна,
Какъ похоть звѣрская; и такъ всѣ язвы,
Недуги всѣ, которые схватилъ
Ты, шляясь вездѣ, распространилъ бы
Ты по свѣту.

Но все это не смущаетъ Жака. Онъ ни за что не откажется отъ своей роли проповѣдника и искоренителя зла, какъ и отъ своей привычки „по поводу“ всего „размышлять“. Брандесъ говоритъ о Гамлетѣ, что онъ по своей природѣ „мыслитель“. Это выраженіе наиболѣе всего примѣнялось къ Гамлету и наименѣе всего пытались объяснить, что, собственно, значитъ эта фраза, и откуда взялись эти „мыслители по природѣ“, и чѣмъ именно отличаются они отъ другихъ людей. А между тѣмъ, это существенно важно, необходимо для пониманія Жака и Гамлета: вѣдь если Гамлетъ—мыслитель, то и Жакъ, какъ „Гамлетъ въ зародышѣ“, не можетъ быть по своему характеру инымъ. И точно, уже изъ приведенныхъ отрывковъ изъ рѣчей Жака, видно, что онъ привыкъ размышлять, любитъ думать; болѣе того—всегда думаетъ, даже тогда, когда это менѣе всего умѣстно. Но, чтобы судить о мыслителѣ Жакѣ, нужно прослушать рѣчь его о томъ, что такое жизнь. Брандесъ, большой любитель гамлетовской философіи, говоритъ по поводу этой рѣчи: „сдѣланный Жакомъ обзоръ (Ueberblick) жизни человѣка поразителенъ по своей мѣткости и краткости“*); нѣсколько далѣе критикъ называетъ этотъ „Ueberblick“—великимъ. Вотъ эта рѣчь; хотя она и очень длинна, мы все же ее приведемъ цѣликомъ, какъ одинъ изъ поразительнѣйшихъ образцовъ—не жаковскаго ума, а шекспировскаго искусства.

Міръ—театръ.
Въ немъ женщины, мужчины, всѣ—актеры;
У каждаго есть входъ и выходъ свой,
И человѣкъ одинъ и тотъ же роли

*) Brandes, стр. 312.

Различныя играетъ въ пьесѣ, гдѣ
Семь дѣйствій есть. Сначала онъ ребенокъ,
Блеющій и ревущій на рукахъ
У нянюшки; затѣмъ плаксивый школьникъ
Съ блистающимъ, какъ утро дня, лицомъ,
И съ сумочкой, ползущій неохотно
Улиткою въ свой пансіонъ; затѣмъ
Любовникъ онъ, вздыхающій, какъ печка,
Тоскливою балладой въ честь бровей
Возлюбленной своей; затѣмъ онъ воинъ,
Обросшій бородой, какъ леопардъ,
Наполненный ругательствами, честью
Ревниво дорожащій, быстро въ споръ
Вступающій и за парами славы
Готовый взлѣзть хоть въ самое жерло
Орудія; затѣмъ—судья съ почтеннымъ
Животикомъ, въ которомъ каплуна
Отличнаго онъ спряталъ, съ строгимъ взоромъ.
Съ остриженной красиво бородою,
Исполненный мудрѣйшихъ изреченій
И аксіомъ новѣйшихъ—роль свою
Играетъ онъ. Въ шестомъ изъ этихъ дѣйствій
Является онъ тощимъ паяцомъ,
Съ очками на носу, и съ сумкой сбоку.
Штаны его, что юношей еще
Себѣ онъ сшилъ, отлично сохранились,
Но широки безмѣрно для его
Изсохшихъ ногъ, а мужественный голосъ,
Смѣнившійся ребяческимъ дискантомъ,
Свистъ издаетъ пронзительно-фальшивый;
Послѣдній актъ, кончающій собой
Столь полную и сложную исторію,
Есть новое младенчество, пора
Беззубая, безглазая, безъ вкуса,
Безъ памяти малѣйшей, безъ всего.

Несомнѣнно, что эта рѣчь цѣликомъ могла бы быть приписана Гамлету, мнѣнія разсужденія котораго очень ее напоминаютъ. Несомнѣнно и то, что „мыслитель“—Жакъ проявился въ этомъ Ueberblick'ѣ вполнѣ, если раньше приведенныя его разсужденія еще недостаточно обрисовали его съ этой стороны. По одной этой рѣчи можно разгадать Жака.

Она прежде всего поражаетъ васъ. Въ столь не многихъ словахъ изображена вся длинная жизнь человѣка—отъ младенчества до глубокой старости. И все такъ ясно, просто и опредѣленно. Но вдумайтесь чуточку въ нее, и васъ поразитъ обратное: она не только не говоритъ много—она не говоритъ ничего. Жакъ хотѣлъ изобразить жизнь и для этого поступилъ съ ней, какъ поступаетъ ученый, когда ему нужно изучить и описать какое-нибудь насѣкомое. Онъ прикалываетъ его булавкой и выждавъ, чтобъ оно перестало трепетать и бросаться, разсматриваетъ его и потомъ разсказываетъ намъ подробно о его строеніи. Но мертвое насѣкомое — интересно. Наколотая же на булавку, мертвая жизнь—это никому ненужная нелѣпость. Сперва человѣкъ—блеющій ребенокъ, потомъ—школьникъ, потомъ вздыхающій, какъ печка, любовникъ, обросшій какъ леопардъ, воинъ, судья съ каплуномъ въ животикѣ, тощій паяцъ съ ребячьимъ дискантомъ и, наконецъ,—пора младенчества. Все это—правда, какъ правда, что у бабочки есть крылья, туловище, глаза и т. п., но уже описаніе бабочки въ книгѣ натуралиста заключаетъ въ себѣ неправду, ибо разсказываетъ о ней лишь очень не многое. Въ разсказѣ Жака — сохранились лишь верстовые столбы человѣческой жизни, общія ея очертанія—а претендуетъ онъ на объясненіе всей жизни. Онъ выжалъ изъ нея всѣ соки, отнялъ у нея всѣ краски, лишилъ ее всѣхъ ароматовъ,—и потомъ судитъ о ней, полагая, что это самый правильный способъ сужденія. И Брандесъ называетъ его Ueberblick—великимъ. Все вокругъ Жака опровергаетъ каждое его слово. Кругомъ жизнь кипитъ, бьетъ ключемъ, полнымъ, сверкающимъ, радостнымъ. Всѣ дѣйствующія лица сошлись, словно на праздникъ любви и веселья. Но къ этому Жакъ нечувствителенъ: онъ—мыслитель. Эта специфическая способность не чувствовать въ живомъ жизни, приравнивать одушевленное къ мертвому—есть основная черта мыслителя. Чтобы стать объективнымъ ученымъ, чтобы умѣть все отмѣчать точнымъ, опредѣленнымъ, яснымъ языкомъ — нужно прежде всего утратить инстинктъ жизни, представлять себѣ

все и всѣхъ замерзшими, недвижимыми. Это условіе существованія мыслителя, какъ типа. Жизнь мѣшаетъ ровному потоку его мыслей, неожиданнымъ образомъ врываясь въ его душу и разрушая законченныя построенія его. Нужно избавиться отъ этого непрошеннаго, буйнаго гостя, нужно утратить чувство жизни—и тогда лишь можно спокойно мыслить, безъ опасенія, что изъ всего этого процесса ничего не выйдетъ. Мыслитель принужденъ держаться поверхности явленій, всѣхъ безъ исключенія—будутъ ли то явленія мертвой, неорганической природы или живого, органическаго существованія. Онъ ищетъ логической связи, онъ ищетъ нити, ему нужны только очертанія; онъ умѣетъ орудовать только понятіями. И поэтому, мыслитель безсознательно пріучается убивать все живое. Разсказать о розѣ—не значитъ ли отнять у нея всѣ ея краски и ароматы? Разсказать о любви Розалинды—не значитъ ли наколоть бабочку на булавку? Розу и бабочку нужно видѣть въ яркій весенній день, когда одна цвѣтетъ и благоухаетъ, а другая свободно купается въ лучахъ солнца. Ихъ можно нарисовать—это дѣло художника. Но мыслитель можетъ только убить ихъ. И это—нужно. Нужно изучить засохшую розу и мертвую бабочку. Нельзя лишь выдавать ихъ за живыхъ. Мыслитель же, прикасаясь къ жизни, не умѣетъ отдѣлаться отъ инстинктивнаго стремленія къ упрощенію и получаются картины, въ родѣ той, которую нарисовалъ Жакъ. Онѣ сперва поражаютъ своей яко бы безконечной перспективой, и многіе, вмѣстѣ съ Брандесомъ, готовы удивляться имъ и называть ихъ великими. Въ сущности—это безсознательное фокусничество опытнаго ума, дающее фикціи и миражи, взамѣнъ обѣщанныхъ картинъ жизни.

Но, повторяемъ, все это у Жаковъ, у „мыслителей по природѣ“ происходитъ безсознательно, въ силу усвоенной привычки „мыслить“, т. е. обращаться къ явленіямъ одною стороной своего существа. Умысла дурного у нихъ, конечно, нѣтъ. Но тѣмъ печальнѣе, тѣмъ хуже для Жаковъ. Эта привычка дорого имъ обходится. Она принижаетъ въ нихъ всѣ

стороны душевной дѣятельности—для одной. Научаясь глядѣть далеко, они теряютъ способность вематриваться въ глубь. Ихъ жизненный пульсъ бьется слабѣе. Многое перестаетъ говорить ихъ сердцу, что прежде такъ цѣнилось ими. Они уже не понимаютъ людей съ ихъ радостями и скорбями, съ ихъ стремленіями, надеждами, разочарованіями. „Міръ—есть театръ“.

Хорошо, если имъ достается въ удѣлъ чисто научная дѣятельность. Среди колбъ, ретортъ, глобусовъ, машинъ — они въ своемъ мірѣ. Тамъ, чѣмъ меньше спрашиваешь жизнь, чѣмъ больше бѣжишь ея—тѣмъ лучше. Тамъ они будутъ на своемъ мѣстѣ.

Но если судьба властнымъ голосомъ потребуетъ ихъ къ жизни? Отвѣтомъ на этотъ вопросъ и служитъ „Гамлетъ“.

VI.

Мы ознакомились съ Жакомъ, котораго назвали Гамлетомъ до трагедіи. Мы знаемъ его блестящую рѣчь „міръ—театръ“, которая своей тонкостью и остроуміемъ не уступитъ разсужденіямъ датскаго принца объ Александрѣ Македонскомъ. Гамлетъ до трагедіи намъ болѣе или менѣе ясенъ. Онъ милый, умный, начитанный, кроткій, экспансивный человѣкъ. Королева говорила про него:

Гамлетъ безумствуетъ, но не надолго.
Припадокъ бѣшеный имъ овладѣлъ.
Мгновеніе—и онъ, какъ голубица,
Родивъ на свѣтъ дѣтей золотоперыхъ.
Опуститъ крылья на покой.

Таковъ Гамлетъ. По этому описанію, можно думать, что имѣешь дѣло съ юношей, если бы Шекспиръ не сообщалъ въ послѣднемъ дѣйствіи, что Гамлету уже 30 лѣтъ, и если бы не его размышленія, которыя изобличаютъ въ немъ человѣка, уже давно живущаго на свѣтѣ. И какъ странно—при такой склонности къ размышленію о жизни, какую проявилъ

Гамлетъ еще въ ту пору, когда былъ Жакомъ — онъ не знаетъ ни жизни, ни людей. „Чѣмъ было впечатлѣніе, произведшее столь потрясающее дѣйствіе на Гамлета, какъ не тѣмъ уничтожающимъ чувствомъ, которое испытываетъ каждый благородный юноша, впервые увидѣвшій міръ въ его наготѣ и восклицающій „ахъ, совсѣмъ не такой представлялъ я себѣ жизнь“ *). Такъ, повторяя ставшее общимъ мѣстомъ мнѣніе, говоритъ о Гамлетѣ Брандесъ и не задаетъ себѣ столь естественнаго вопроса: отчего это Гамлету, „геніальному человѣку“, „мыслителю по природѣ“, „размышляющему не только затѣмъ, чтобы направлять свои дѣйствія и разумно подготовлять ихъ, а изъ страсти къ познаванію“, отчего это Гамлету, до 30 лѣтъ размышлявшему— его размышленія такъ мало принесли, что жизнь застаетъ его настолько же врасплохъ, какъ и каждаго „благороднаго юношу“, и заставляетъ его воскликнуть это „ахъ“, столь непонятное въ устахъ геніальнаго мыслителя? Въ чемъ дѣло тутъ? Отчего размышленія оказали столь коварную услугу бѣдному принцу?

Отвѣтъ на это можно получить, лишь заглянувши въ прошлое Гамлета, въ ту эпоху, когда онъ учился еще и жилъ въ Виттенбергѣ, до роковой смерти его отца. Брандесу этого не нужно. Онъ наивно воображаетъ, что можно „познавать“ непрерывно до 30 лѣтъ и такъ-же мало знать жизнь, какъ и „каждый благородный юноша“. Но, справившись у Жака, какъ онъ „познавалъ“, мы поймемъ это странное съ перваго взгляда явленіе, что человѣкъ блестящаго ума, доживъ до зрѣлыхъ лѣтъ, совершенно не всмотрѣлся въ жизнь. Тотъ школьный, теоретическій способъ мышленія, которому научили его книги, лишилъ его возможности понимать жизнь, какъ она есть. Въ его душѣ создался свой міръ, въ которомъ все координировано, все устроено, все приспособлено, упрощено. Несмотря на страшныя слова „зло“, „порокъ“, „преступленіе“, „неправда“ и т. д., которыя

*) Brandes, 513.

такъ быстро передвигаютъ Жаки и Гамлеты въ томъ своеобразномъ душевномъ процессѣ, который они называютъ „мышленіемъ“, у нихъ нѣтъ серьезнаго горя, и поэтому нѣтъ и потребности всмотрѣться въ жизнь, понять ее. Они блестяще бичуютъ, они ненавидятъ то, что заклеймено словомъ „дурное“, благоговѣйно мечтаютъ о томъ, что вознесено словомъ „хорошее“. И вся душевная дѣятельность ихъ этимъ ограничивается. Они мыслятъ „вообще“, абстракціями, всегда чистыми, даже тогда, когда подъ ними кроется самое ужасное. И у нихъ образуется свой искусственный, идеальный мірокъ, миленькій, чистенькій съ благородными проклятіями и еще болѣе благородными молитвами. Тамъ есть преступленіе—безъ преступника, зло—безъ злого человѣка, развратъ безъ негодяя. И такъ хорошо, пріятно и легко въ этомъ усмиренномъ наукой мірѣ. Все ясно, все видно, все понятно. Тамъ обличеніе неправды, бичеваніе порока въ стихахъ и прозѣ приноситъ отраду возвышенной душѣ. Въ этихъ оазисахъ, гдѣ вездѣ зелень и прохлада, гдѣ изъ разсказовъ старой няни или слѣпого пѣвца узнаютъ о страшныхъ пустыняхъ и безбрежныхъ моряхъ, живутъ и мыслятъ Гамлеты. Но человѣкъ долженъ выйти изъ оазиса, чтобъ увидѣть жизнь.

Гамлетъ не хочетъ итти. Судьба насильно влечетъ его, но онъ не понимаетъ, зачѣмъ и куда зоветъ его этотъ властный голосъ. Ему страшно подумать, что нужно будетъ открыть глаза, выйти изъ міра сладкихъ грезъ. Но кто самъ не просыпается, кто самъ не рвется навстрѣчу бурямъ и опасностямъ, тому все-таки не миновать ихъ. Пробьетъ его часъ, и страшный ударъ разбудитъ его.

Въ этомъ завязка великой трагедіи Гамлета. Не для забавы, не для психологическаго опыта выбросилъ Шекспиръ въ „Гамлетѣ“ слабаго человѣка въ открытое море, въ добычу всѣмъ невзгодамъ, какъ и въ „королѣ Лирѣ“ поэтъ не ради эффекта, хотя бы и трагическаго, заставилъ короля подставлять свою бѣдную, сѣдую, гордую голову подъ жестокіе удары безсердечныхъ дочерей. Не „характеры“ Гам-

лета и Лира были „причиною“ ихъ бѣдъ, и не причинъ искалъ Шекспиръ въ эту эпоху. „Почему“ его уже не удовлетворяло. Онъ спросилъ себя: „зачѣмъ?“

Уже въ первомъ дѣйствіи предъ нами — печальный Гамлетъ. Это уже не отвлеченная печаль меланхолика Жака. Поспѣшный бракъ матери смутилъ бѣднаго принца. Ему на самомъ дѣлѣ тяжело, а онъ не привыкъ, не умѣетъ носить бремя, не знаетъ, къ чему ему это. Ему хочется забыться, сбросить съ себя ненужную ношу. Зачѣмъ она?

О, еслибъ вы, души моей оковы,
Ты крѣпко сплоченный составъ костей,
Ниспалъ росой, туманомъ испарился!
Иль еслибъ ты, Судья земли и неба,
Не запретилъ грѣха самоубійства,

восклицаетъ онъ. Тутъ каждое слово, каждый оборотъ рѣчи типически Гамлетовскій. Первое горе — и онъ хочетъ сбросить съ себя оковы своей души. Онъ умѣетъ „думать“— а ему и въ голову не приходитъ, что можетъ быть выходъ изъ тяжелаго положенія, что нужно нести на себѣ не только міровую скорбь по поводу существованія зла, но и малую долю этого зла. И при томъ — это „если“! Если бы сами собой оковы ниспали росой, если бы Богъ не запретилъ самоубійства! Къ единственно видному для Гамлета исходу, онъ приставляетъ это „если“, которое все убиваетъ. Какъ Жакъ, когда онъ размышлялъ „вообще“, такъ и Гамлетъ, когда наткнулся на требующій отвѣта вопросъ, не приходитъ и не можетъ придти ни къ какому заключенію. Чтобы увидѣть, нужно всѣмъ существомъ своимъ захотѣть посмотрѣть. Гамлетъ же хочетъ только, чтобы само собой случилось нѣчто такое, что облегчило бы его положеніе. Онъ „мыслитель“. Событія отражаются и запечатлѣваются на поверхности его души, какъ предметы на фотографической пластинкѣ: отчетливо, вѣрно, даже красиво—но мертво. Привнести отъ себя онъ не хочетъ и не можетъ рѣшительно ничего. Прежде было такъ, — теперь иначе. Онъ не узнаетъ свѣта — и не

только не хочетъ всмотрѣться въ то новое, что открылъ предъ нимъ посмѣшный бракъ матери—онъ хочетъ забыть и старое. „Вопросъ объ отношеніи между добромъ и зломъ здѣсь, на землѣ, съ его неразрѣшимой загадкой ведетъ къ вопросу объ управленіи міромъ, о царящей справедливости, объ отношеніи міра къ Богу. И мысль — Гамлета и Шекспира—стучится въ дверь тайны", говоритъ Брандесъ. „Вопросы" Гамлетъ разбиралъ еще отлично и въ Виттенбергѣ, гдѣ вмѣстѣ со своимъ ученымъ другомъ Гораціо не разъ подходилъ къ таинственной двери и не разъ стучался въ нее. Но теперь не въ „вопросѣ" дѣло и не въ томъ, чтобы „постучаться". Гамлетъ, по обыкновенію своему, натолкнувшись на трудное дѣло, ищетъ въ сокровищницѣ своего ученическаго опыта матеріала для разрѣшенія вопроса. Но тамъ, куда обращаетъ онъ свой печальный взоръ, нѣтъ ничего, что дало бы ему нравственную опору. Вся книжная мудрость кончается тамъ, гдѣ начинаются житейскія волненія, человѣческія нужды, запросы души. Какая книга оправдаетъ въ его глазахъ — нѣтъ, не оправдаетъ, а просто объяснитъ преступленіе родной матери? Онъ читалъ въ исторіи, что были страшно преступные люди. Онъ знаетъ про Нерона, умертвившаго свою мать, знаетъ вообще, какую силу имѣетъ на землѣ „зло". Но всѣ эти свѣдѣнія ничего не говорили ему. Для него это были миѳы изъ сказочнаго царства, которые никогда осязательно, облеченные въ плоть и кровь, не возставали передъ нимъ. Онъ принималъ всю эту ученую пищу, онъ расширялъ свой теоретическій опытъ, но чѣмъ больше узнавалъ онъ изъ книгъ, тѣмъ меньше понималъ онъ реальное, конкретное значеніе этого огромнаго міра съ его безконечнымъ прошлымъ и обширнымъ настоящимъ.

Весь этотъ міръ существовалъ для него, какъ нѣчто отвлеченное, какъ отдаленные края сѣвернаго полюса, куда никогда не ступитъ человѣческая нога. А наряду съ тѣмъ, какъ дѣйствительность уходила въ область абстракціи, абстракціи занимали мѣсто дѣйствительности. И вдругъ эта дѣйствительность, отъ которой онъ, было, такъ счастливо

избавился, предъявляетъ на него свои права. Мать, родная мать „пала на кровосмѣшенья ложе!“ Не Клеопатра, историческая, отдаленная, почти фантастическая, совершаетъ прелюбодѣяніе: Клеопатру Гамлетъ отлично „понималъ“, какъ представительницу „начала“, именуемаго „зломъ“. И зналъ, что нужно и благородно возмущаться развратной египетской царицей. Но его, Гамлета, мать совершила преступленіе! Объ этомъ ни въ одной книгѣ ничего не говорилось. Это то, чего не бываетъ и не должно быть. Что предпринять, что думать, куда глядѣть? Бѣдный принцъ не находитъ ничего, кромѣ безпомощныхъ, горькихъ словъ, среди которыхъ слышится одно желаніе: забыть все происшедшее, уйти куда-нибудь далеко, гдѣ никто и ничего не напоминало бы объ ужасѣ дѣйствительности. „Покинь меня, воспоминанья сила“!—восклицаетъ онъ, и вы чувствуете, что это все, что ему нужно Онъ не хочетъ знать того, что предъ нимъ происходитъ. Точно тяжкій, неизлѣчимый больной онъ проситъ себѣ лишь одного: забвенья. И вѣдь то, что онъ знаетъ—ничтожно, сравнительно съ тѣмъ, что ему предстоитъ узнать, и онъ уже настолько потерялся, что говоритъ:

О Боже мой, о Боже милосердый!
Какъ пошло, пусто, плоско и ничтожно
Въ моихъ глазахъ житье на этомъ свѣтѣ.
Презрѣнный міръ—ты опустѣлый садъ,
Негодныхъ травъ пустое достоянье.

Первый грубый толчекъ дѣйствительности, и все зданіе его фантастическаго міра разрушено. Вотъ къ чему привело его „размышленіе“, „страсть къ познаванію ради познаванія“. Онъ настолько не зналъ жизни, онъ былъ такъ далекъ отъ нея, что не выдержалъ перваго испытанія — онъ, „геніальный человѣкъ“, онъ „мыслитель по природѣ“! Онъ умѣетъ отлично объяснить вселенную: ни громъ, ни молнія, ни бури ни затменія не смутятъ его. Но онъ спасовалъ предъ первымъ серьезнымъ жизненнымъ явленіемъ, потребовавшимъ пониманія. Все, о чемъ онъ до сихъ поръ думалъ, ему не

нужно теперь: оно не поможетъ ему. Отрицать жизнь — это уже теперь видно изъ монолога Гамлета—значитъ не знать ея, лишиться способности охватить ее. Поступокъ матери закрылъ предъ Гамлетомъ весь міръ. И не на минуту, а навсегда.

Не успѣлъ Гамлетъ окончить свой жалобный первый монологъ, исполненный укоровъ людямъ и всей жизни, тотъ знаменитый монологъ, гдѣ онъ произноситъ приговоръ всему и всѣмъ, и воскликнуть: „скорби, душа, уста должны молчать“, какъ является Горацio съ товарищами и возвѣщаютъ ему страшную новость: духъ его отца является по ночамъ на террасѣ замка. Гамлетъ уславливается притти въ полночь туда же и тамъ узнаетъ страшную тайну. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ получаетъ отъ духа приказаніе.

Тѣнь говоритъ ему —

Отмсти, отмсти за гнусное убійство.

Положеніе Гамлета сразу измѣняется. Уже нельзя болѣе проклинать людей и жизнь и говорить: „скорби, душа, уста должны молчать“. Потрясающая вѣсть объ измѣнническомъ убійствѣ должна взволновать его до глубины души, должна сразу выяснить ему, что всѣ его прежнія разсужденія: „міръ—театръ“, „міръ—опустѣлый садъ“, „житье на этомъ свѣтѣ пусто и ничтожно“—ни къ чему не нужны, что все это—пустыя слова, обманывающія лишь внѣшней стройностью построеній. Замершее, прибитое чувство жизни вдругъ должно вспыхнуть въ Гамлетѣ яркимъ пламенемъ при этой вѣсти и показать ему всю глубокую серьезность жизни, требующей себѣ всего человѣка; и на мгновеніе Гамлетъ становится другимъ. Онъ молитъ тѣнь:

Скажи скорѣй! На крыльяхъ,
Какъ мысль любви, какъ вдохновенье быстрыхъ,
Я къ мести полечу.

И тѣнь отвѣчаетъ ему:

Я вижу—ты готовъ.
Но будь ты вялъ, какъ сонная трава,
Что мирно спитъ на Леты берегахъ,
Проснуться ты при этой вѣсти долженъ!

Иначе и быть не можетъ. Съ возрастающимъ ужасомъ слушаетъ принцъ разрывающій душу разсказъ отца.

Такъ я убитъ во снѣ рукою брата.
Убитъ въ веснѣ грѣховъ, безъ покаянья,
Безъ исповѣди и безъ тайнъ святыхъ.
Не кончивъ счетъ—я былъ на судъ отозванъ
Со всею тяжестью земныхъ грѣховъ.
Ужасно, о ужасно, о ужасно!
Не потерпи, когда въ тебѣ природа есть.
Не потерпи, чтобъ Даніи престолъ
Кроватью сталъ для гнуснаго разврата.

Тѣнь удаляется. Будь человѣкъ вялъ, какъ спящая на берегахъ Леты сонная трава—онъ долженъ проснуться отъ этого разсказа, который могъ бы и мертваго разбудить. Пусть явится теперь къ Гамлету Жакъ со своими „великими", „истинно поразительными" по мѣткости и краткости разсужденіями". Какими шутовскими и ничтожными покажутся они принцу теперь, когда онъ со всей силою живого человѣка почувствовалъ, что такое жизнь. И Гамлетъ на мгновеніе понимаетъ это. Для него не существуетъ болѣе никакихъ сомнѣній. Подъемъ духа въ немъ настолько великъ, что всѣ вопросы сразу рѣшены, и весь недоумѣвающій скептицизмъ сразу выброшенъ за бортъ, какъ нелѣпый, оскорбительный балластъ. Гамлетъ говоритъ:

Господь земли и неба! Что еще?
Не вызвать ли и адъ? Нѣтъ, тише, тише,
Моя душа! О не старѣйте нервы!
Держите персть возвышенно и прямо!
Мнѣ помнить о тебѣ? Да, бѣдный духъ,
Пока есть память въ черепѣ моемъ.
Мнѣ помнить? Да съ страницъ воспоминанья
Всѣ пошлые разсказы я сотру,
Всѣ изреченья книгъ, всѣ впечатлѣнья,

Минувшаго слѣды, плоды разсудка
И наблюденій юности моей.
Твои слова, родитель мой, одни
Пусть въ книгѣ сердца моего живутъ
Безъ примѣси иныхъ, ничтожныхъ словъ.

Вотъ что вызываетъ и должно вызвать въ Гамлетѣ явленіе духа. Какъ только принцъ, до сей поры мечтательно созидавшій мягкія пессимистическія системы, соприкоснулся серьезно съ одною только стороною человѣческой жизни,— всѣ его построенія разрушились, развалились, какъ карточные домики. Всѣмъ существомъ своимъ сознаетъ онъ и чувствуетъ, какъ серьезна, глубоко важна та жизнь, которую онъ—научившись „мыслить"—разучился понимать. На мгновеніе забился въ немъ полно жизненный пульсъ, и безкровный скептитизмъ смѣнился яснымъ пониманіемъ. Но не надолго. Гамлетъ отвыкъ жить, онъ боится иного существованія, кромѣ того, которое дается „познаваніемъ", которое пришлось съ такимъ негодованіемъ отвергнуть въ тяжелую минуту. А настоящаго „познанія", готоваго измѣрить безъ страха бездну человѣческой жизни, онъ не смѣетъ желать себѣ. Онъ сразу же чувствуетъ, что ему чужда, не нужна эта задача. Отъ этого „познаванія"—онъ отказывается. Не успѣла удалиться тѣнь, какъ Гамлетъ съ дикимъ, почти безумнымъ рыданіемъ восклицаетъ:

Пала связь временъ,
Зачѣмъ же я связать ее рожденъ? *).

Вотъ завязка трагедіи. Судьба зоветъ человѣка—онъ бѣжитъ ея призыва. Вмѣсто того, чтобы пойти навстрѣчу всему, что дается намъ въ жизни, и черезъ великое горе притти къ великому счастью, чтобы самому стать въ борьбѣ за лучшее достойнымъ этого лучшаго, человѣкъ ищетъ покоя.

*) Въ подлинникѣ гораздо сильнѣе:
The time is out of joint: o cursed spite,
That ever was born to set it right.

и убаюкивающихъ пѣсенъ мечтательной философіи. Если философія есть наука о жизни—то только пройдя черезъ жизнь, можно говорить о ней. Философія, которая создается въ сторонѣ отъ того, чѣмъ существуетъ человѣкъ – все равно будетъ ли она оптимистической или пессимистической—есть и будетъ праздным препровожденіемъ времени, составленіемъ тѣхъ „пошлыхъ разсказовъ“, тѣхъ „изреченій“, которые нужно „стереть“ въ самую важную и тяжелую минуту жизни человѣка. Въ кабинетѣ можно изучать мертвыя явленія. Человѣка можно понять, лишь живя всей его жизнью, сходя съ нимъ во всѣ бездны его страданій—вплоть до ужаса отчаянія, и восходя до высшихъ восторговъ художественнаго творчества и любви. Философія, сдѣлавшая жизнь безкачественнымъ существованіемъ, годится лишь „для литературы“, для бесѣды съ Горація, предъ которымъ такъ пріятно проявлять возвышенность, блескъ, тонкость и подвижность ума.

VII.

Брандесъ останавливается между прочимъ на очень важномъ вопросѣ о роли тѣни отца Гамлета въ трагедіи. „Между главнымъ дѣйствующимъ лицомъ и обстоятельствами явилось противорѣчіе. Принцъ, по своей проницательности равный самому Шекспиру, видитъ духа и говоритъ съ нимъ“. Но это противорѣчіе—чисто внѣшняго характера. Роль духа имѣетъ символистическое, такъ сказать, значеніе. Въ рамкахъ одной драмы Шекспиру невозможно было выяснить, какимъ образомъ Гамлетъ—никогда быстро не принимающій рѣшеній, затягивающій и медлительный—узналъ объ убійствѣ отца и, вмѣстѣ съ тѣмъ, почувствовалъ необходимость наказать Клавдія. Мотивировать появленіе такого рѣшенія у Гамлета—значило написать еще одну пьесу. Все это измѣнено явленіемъ духа, который возвѣщаетъ Гамлету тайну смерти отца и приказываетъ отомстить преступнику. Шекспиръ ничего лучшаго и придумать не могъ. Благодаря вмѣшательству тѣни, отступленіе для Гамлета становится невозможнымъ:

убить Клавдія нужно во что бы то ни стало. Гамлетъ, сомнѣвающійся во всемъ, ни разу не ставитъ себѣ вопроса: „да точно ли нужно мстить дядѣ?“ Такая опредѣленность задачи превосходно мотивируется появленіемъ духа. Конечно, въ дѣйствительной жизни происходитъ иначе и обыкновенно къ сознанію необходимости извѣстнаго поступка приходятъ путемъ сложныхъ переживаній. Но Шекспиръ, чтобъ не вдаваться въ отступленія—сами по себѣ можетъ быть и интересныя, но стоящія внѣ предѣловъ его задачи—выводитъ на сцену тѣнь отца. Она имѣетъ въ трагедіи очень ограниченное значеніе и является исключительно затѣмъ, чтобы разсказать принцу, что произошло и что нужно дѣлать. Затѣмъ—тѣнь эта какъ-будто и не являлась. Гамлетъ, разсуждая о будущей жизни, говоритъ:

Да только страхъ чего то послѣ смерти—
Страна безвѣстная, откуда путникъ
Не возвращался къ намъ—смущаетъ волю

Очевидно, принявъ вѣсть и приказаніе отъ духа, принцъ точно принялъ ихъ отъ самого себя, точно онъ самъ узналъ, что преступленіе совершено и что нужно отмстить. Нельзя даже и сказать: „онъ видитъ и говоритъ съ духомъ“. Тѣнь отца не вноситъ элемента сверхъестественнаго въ драму. Явись вмѣсто духа какой-нибудь живой человѣкъ, бывшій свидѣтелемъ злодѣянія Клавдія и имѣющій достаточно авторитетности въ глазахъ принца—ходъ дѣйствія не измѣнился бы. Гамлетъ о духѣ и не вспоминаетъ, точно не видѣлъ его. Онъ помнитъ лишь, что убили его отца и что нужно наказать убійцу.

И какъ тяжело это сознаніе бѣдному принцу. Въ Библіи Авраамъ, по повелѣнію Бога, готовится принести въ жертву сына своего Исаака. Страшно читать разсказъ о бѣдномъ юношѣ, хотя мы и знаемъ, что Авраамъ беретъ въ руки ножъ по приказанію Того, Кто никогда не ошибается. Надъ Гамлетомъ же—принцемъ занесъ ножъ Гамлетъ—король. Зачѣмъ явился онъ изъ своей невѣдомой страны, чтобы

смутить покой своего, ни въ чемъ неповиннаго сына?—Гамлетъ не смѣетъ предложить себѣ этотъ вопросъ. Онъ сознаетъ, что такъ нужно, что въ жизни есть нѣчто большее, чѣмъ душевный покой—не даромъ онъ столько размышлялъ и учился. Онъ вышелъ уже изъ того періода человѣческаго существованія, когда „хочу“ равнялось „хорошо“. Съ ужасомъ сознаетъ онъ, что на этотъ разъ „хорошо“—то, что ему тяжелѣе всего принять на себя, что противорѣчитъ всѣмъ его „хочу“. У Готспора—такой двойственности быть не можетъ. Если представленія о томъ, что хорошо, что должно быть—не настолько вросли въ его душу, что стали его второй природой—онъ отброситъ ихъ отъ себя съ презрѣніемъ, какъ ложныя и ненужныя. Отнимите у него пылъ, смѣлость, энергію, сдѣлайте его нечувствительнымъ къ оскорбленіямъ чести, похотливымъ, лживымъ, и Готспоръ обратится въ Фальстафа. И, какъ Фальстафъ, не будетъ жалѣть никогда, что у него нѣтъ добродѣтелей героя, болѣе того, какъ Фальстафъ, можетъ быть, станетъ смѣяться надъ героями и радоваться, что ему не дано быть храбрымъ, ибо это продлитъ его жизнь. У людей непосредственныхъ, какими являются—какъ они ни противоположны другъ другу—и Готспоръ, и Фальстафъ—продолжительной душевной борьбы быть не можетъ. Они все опредѣляютъ тѣмъ, что они любятъ, что они чтутъ, что пріятно или дорого имъ въ данную минуту или всегда. Если бы Готспоръ былъ на мѣстѣ Гамлета, трагедіи не было бы. Онъ либо убилъ бы Клавдія, если бы былъ такимъ, какимъ его рисуетъ Шекспиръ въ Генрихѣ IV, либо не убилъ. Въ обоихъ случаяхъ онъ не терзался бы и не размышлялъ.

Гамлетъ—дѣло иное. То, что составляетъ его слабость, составляетъ и силу его. Размышленіе принизило въ немъ чувство жизни, но научило его видѣть и внѣ себя. Это обстоятельство и придаетъ такое напряженіе трагедіи. Гамлетъ видитъ ясно, что есть нѣчто „хорошее“, и что это „хорошее“ онъ не умѣетъ сдѣлать своимъ, не умѣетъ полюбить. Онъ не можетъ обмануть себя и съ ужасомъ долженъ признаться,

что то, что онъ считаетъ лучшимъ—не имѣетъ власти надъ нимъ. У него есть совѣсть—но она не вдохновляетъ, а лишь терзаетъ его. Она не руководитель его — а судья, врагъ, палачъ. И онъ не смѣетъ не преклоняться передъ ней. И у Макбета есть совѣсть—но онъ готовъ отбросить ее, ясно понимая, что она — только бремя. Его бѣда лишь въ томъ, что онъ не можетъ отвязаться отъ этого товарища. Но, если бы можно было только „здѣсь на отмели временъ" прожить спокойно, если бы ему удалось заворожить назойливаго внутренняго судью, все было бы хорошо. Макбету совѣсть—не нужна. А Гамлетъ этого не можетъ сказать. Онъ ему нуженъ— этотъ неумолимый судья: Гамлетъ принужденъ цѣловать карающую руку. Онъ видитъ, что безъ совѣсти былъ бы счастливъ и спокоенъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, сознаетъ, что она— благословенье неба. Вдоль души его проходитъ трещина. Дайте ему силъ увидѣть, зачѣмъ эта совѣсть, или вырвите ее изъ него, и снова у васъ получится цѣльный типъ либо Брута, про котораго природа можетъ сказать: „это былъ человѣкъ", либо Готспора. Пока нѣтъ этого — Гамлетъ тихій „мыслитель", бѣжавшій жизни, замѣнившій ее узкими рамками своей науки. Вывести его, показать ему все неизмѣримое значеніе жизни—задача трагедіи. Не случайные удары судьбы, слѣпой судьбы, какъ съ остервенѣніемъ отчаянія говорятъ теперь одни, и съ сознаніемъ тонкости своего пониманія—другіе, наполняютъ собою у Шекспира трагическія событія. Гамлету нужно несчастіе, чтобы приблизиться къ Бруту.

Со второго же дѣйствія раскрывается передъ нами, каково Гамлету выполнить то, что онъ считаетъ своей обязанностью.

Вотъ что разсказываетъ Офелія о немъ Полонію.

Я шила въ комнатѣ моей, какъ вдругъ
Вбѣгаетъ Гамлетъ: плащъ на немъ разорванъ,
На головѣ нѣтъ шляпы, а чулки
Развязаны и спущены до пятокъ;
Онъ блѣденъ, какъ стѣна; колѣни гнутся:

Глаза блестятъ какимъ-то жалкимъ свѣтомъ.
Какъ будто онъ былъ посланъ преисподней,
Чтобъ разсказать объ ужасахъ ея.

И такимъ онъ остается до пятаго дѣйствія. Точно олень, на спину котораго вскочилъ левъ, мчится онъ безъ оглядки—не зная, куда. Но не сбросить ему съ себя могучаго всадника. Непрестанно рветъ и терзаетъ онъ свою обезумѣвшую отъ ужаса добычу. Нужно связать навшую связь временъ, нужно убить короля. Но какъ это сдѣлать? Какъ рѣшиться на такой страшный поступокъ? Смерть Гамлета не пугаетъ: онъ бы съ радостью умеръ, чтобъ только свалить съ себя страшную ношу. Но нужно больше, чѣмъ умереть: нужно жить, чтобъ исполнить завѣтъ своего отца, чтобъ наказать преступника, чтобъ сдѣлать великое дѣло, вся важность котораго такъ ясна Гамлету. А этого именно онъ не хочетъ. Такъ жить, отдать всего себя жизни, промѣнять созерцаніе на бурю—ему тяжело. Онъ сознаетъ, что такъ „нужно“, что такъ „лучше“, но хочетъ другого—того, что было, когда онъ жилъ въ Виттенбергѣ, гдѣ все такъ ясно и спокойно, гдѣ жизнь не врывалась насильно въ классныя комнаты и казалась пріятной и легкой, хотя и была окрашена въ темные, но не слишкомъ, какъ мы помнимъ, мрачные цвѣта жаковскаго пессимизма. Такая жизнь была ему по душѣ и казалась высшимъ идеаломъ человѣческаго существованія, находившаго себѣ оправданіе и въ сужденіяхъ близкихъ людей и въ философіи. Но то, что ему предстоитъ теперь—эта необходимость собрать всѣ силы своей души, „вдохнуть въ малѣйшій нервъ крѣпость африканскаго льва“, чтобъ свершить великое дѣло и потомъ принять на себя всю отвѣтственность за сдѣланное: это—ему не по силамъ. Онъ не чувствуетъ смысла этого. Онъ не хочетъ связывать распавшуюся связь временъ. Эта ничтожная жизнь не стоитъ такихъ мукъ. Забвенья, забвенья ему нужно.

Внѣ созерцанія Гамлетъ оказывается всегда слабымъ и несостоятельнымъ. Каковъ онъ, когда нужно мстить за

отца—таковъ онъ во всякомъ серьезномъ дѣлѣ. Приподнятости чувствъ—онъ не знаетъ. Посмотрите на его отношеніе къ Офеліи. Тутъ то же, что и въ его отношеніяхъ ко всѣмъ людямъ. Расположеніе, мягкость благодушнаго, незлобиваго характера—и только. Онъ пишетъ ей: „твой на всегда, пока живетъ это тѣло". И онъ же—покидаетъ ее. Съ нимъ случилось несчастіе, и тѣ слабыя узы, которые соединяли его съ Офеліей, сразу порвались. Это не потому, что любовь не выдерживаетъ испытанія. Нѣтъ, причина все та же. Гамлетъ любитъ, какъ и ненавидитъ, лишь постольку, поскольку это отъ него ничего не требуетъ. Въ тяжелыя минуты жизни умѣющіе любить люди наиболѣе цѣнятъ въ женщинѣ друга. И женщины умѣютъ идти вслѣдъ за близкимъ сердцу человѣкомъ. Но для этого нужно, чтобъ мужчина умѣлъ не мечтать о любви, а любить. Гамлетъ же уже не нуждается въ Офеліи. Зачѣмъ ему эта дѣвушка, когда вся, рѣшительно вся жизнь—это сказка, разсказанная глупцомъ. И онъ оставляетъ ее, почти совсѣмъ о ней не думая. При первой встрѣчѣ онъ осыпаетъ ее чудовищными оскорбленіями, потомъ, предъ представленіемъ пьесы, позволяетъ себѣ при ней циническія выходки. Несомнѣнно—Гамлету очень тяжело. Но, если бы онъ умѣлъ любить, Офелія принесла бы ему отраду и утѣшеніе. Ромео не оскорбилъ бы Джульеты, какой бы пыткѣ его ни предали. Гамлетъ, скажутъ, не вѣритъ людямъ. Это—правда. Но онъ потому не вѣритъ, что онъ не знаетъ любви, никогда не испытывалъ этого чувства, хотя и посылалъ сонеты Офеліи. Чтобъ оцѣнить любовь—нужно, прежде всего, умѣть любить. Скорѣе любовь обратитъ урода въ божество, чѣмъ позволитъ скептицизму и опыту развѣнчать себя. Скептицизмъ тамъ побѣждаетъ и властвуетъ, гдѣ не встрѣчаетъ себѣ внутренняго сопротивленія.

Оттого-то Гамлетъ—не словами, а всѣмъ своимъ существомъ—олицетворяетъ тѣ кощунственныя и безумныя рѣчи, съ которыми онъ обращается къ несчастной дѣвушкѣ. Если бы ему дано было любить—онъ, какъ Отелло, не взялъ бы

взамѣнъ за Офелію „міра изъ чистѣйшаго хризолита". Любовь научила бы его, какъ увидѣть этотъ міръ въ отверженной имъ дѣвушкѣ. Чтобы видѣть въ Венерѣ Милосской не глыбу холоднаго мрамора—нужно кромѣ глазъ имѣть еще и сердце. Нужно имѣть въ душѣ хранилище для добра и красоты. Тогда способность много и далеко видѣть не будетъ безплодна. Тогда получится обратное: не Венера обратится въ холодный мраморъ, не любимая женщина—въ развратницу, не человѣкъ—въ негодяя, а изъ мрамора родится Венера, развратница обратится въ честную женщину, негодяй—въ человѣка.

VIII.

Мы выяснили душевное состояніе Гамлета до появленія духа и то впечатлѣніе, которое произвела на него вѣсть о преступленіи дяди. Очевидно,—что жизнь застыла въ Гамлетѣ, и что проснуться онъ можетъ только отъ сильнаго потрясенія: трагедія ему необходима. Тѣ рѣчи, которыя онъ произноситъ, когда былъ Жакомъ—ихъ, какъ это ни странно, принцъ теперь долженъ научиться понимать. Онъ долженъ испытать пошлое, плоское и ничтожное существованіе. И тогда лишь онъ узнаетъ, что такую жизнь нельзя принять, что нужно найти иную, хотя бы пришлось для этого вынести самыя тяжелыя муки. Теперь, когда онъ говоритъ Розенкранцу и Гильденштерну, что земля ему противна, что человѣкъ, украшеніе міра, самое совершенное изъ животныхъ—для него лишь „квинтэссенція праха"—теперь Гамлетъ чувствуетъ, что кроется подъ этими словами. Прежде подъ его пессимистической философіей была лишь одна высоко цѣнящая себя пассивность, которая и породила ее. Теперь въ словахъ принца слышатся слезы. Все свое отрицаніе онъ прежде всего направляетъ теперь на самого себя. Вмѣстѣ съ жизнью, онъ подписываетъ приговоръ и самому себѣ—и это отравляетъ его существованіе. Въ его бѣдную душу пробрался червь, ни на минуту не

дающій ему покоя, лишающій его сна, улыбки, радости. Тотъ пессимизмъ, который прежде былъ такъ безвреденъ для него, даже охранялъ его отъ жизни, вдругъ обратился, съ неизвѣстно откуда взявшейся силой противъ него. Гамлетъ изнываетъ отъ мукъ и не находитъ въ себѣ силъ ни для чего, кромѣ язвительныхъ насмѣшекъ и горькихъ сѣтованій на себя, міръ, людей.

Брандесъ спрашиваетъ себя: отчего Гамлетъ не дѣйствуетъ. Критикъ далекъ отъ той мысли, что въ принцѣ „мыслитель“ врагъ Гамлета, что „мыслителемъ“ мало быть, Брандесу кажется, что высшій идеалъ—это быть „мыслителемъ“, да еще „по природѣ“, да еще „геніальнымъ“. Онъ уже предъ Жакомъ преклонился. А у Гамлета такія рѣчи, какъ „міръ—театръ“—на каждомъ шагу.

Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, Брандесъ не рѣшается прямо сказать, что „мыслитель“ и дѣлать ничего не долженъ. Наоборотъ, нужно показать, что философъ всюду и вездѣ годится, что онъ—высшій типъ человѣка. Поэтому, онъ не отвергаетъ даже и такихъ соображеній: „если бы Гамлетъ, сейчасъ по полученіи извѣстія отъ духа, убилъ бы короля, то пьеса была бы окончена послѣ перваго акта. Поэтому было безусловно (!) необходимо ввести замедленія“ *). Литературная репутація не столь прочная, какъ Шекспировская, могла бы сильно пострадать отъ такого объясненія. „Но, продолжаетъ критикъ, Шекспира плохо понимали, когда видѣли въ Гамлетѣ современнаго человѣка, страдающаго рефлексіей и лишеннаго дѣятельной силы. Это иронія судьбы, что онъ сталъ въ своемъ родѣ символомъ размышляющей слабости, онъ, у котораго во всѣхъ нервахъ—порохъ, во всей природѣ котораго динамитъ генія“. И тѣмъ не менѣе его бездѣятельность приходится оправдывать ссылками на техническія условія пьесы! Впрочемъ, у Брандеса есть еще объясненія: „Эта неспособность (къ дѣйствію у Гамлета) основывается на томъ, что всѣ силы его

*) Brandes, стр. 52
*) Ib. 527.

ума уходятъ на борьбу съ парализующимъ впечатлѣніемъ того, что представляетъ собою жизнь и со всѣми, вытекающими отсюда размышленіями — оттого обязанность мстить отступаетъ на задній планъ въ его сознаніи". Послѣднее—несомнѣнно. Вопросъ лишь въ томъ, отчего у Гамлета получается парализующее впечатлѣніе отъ жизни. По Брандесу, это служитъ доказательствомъ душевнаго величія Гамлета, ибо, по его мнѣнію, иного впечатлѣнія жизнь не можетъ производить. „Зрители и читатели чувствуютъ вмѣстѣ съ Гамлетомъ и понимаютъ его. Ибо, когда, подрастая, мы всматриваемся въ жизнь, то лучшіе межъ нами открываютъ, что она не такова, какой мы въ себѣ ее представляли,—но въ тысячу разъ страшнѣй: нечисто что-то въ датскомъ королевствѣ; Данія—тюрьма; міръ полонъ такихъ тюремъ; духъ говоритъ намъ: произошли страшныя вещи, каждый день происходятъ страшныя вещи. Устрани неправду; помѣсти все на свое мѣсто. Міръ сошелъ съ пути; верни его на прежнюю колею. Но руки у насъ (лучшихъ-то?) опускаются" *). Мы видѣли, почему у Гамлета „руки опускаются". Не потому, что онъ—лучшій. Потому, что онъ лучшій—онъ проклинаетъ свою неспособность къ дѣйствію. Это Жакъ такъ успокаивалъ себя, когда разсуждалъ: „міръ — театръ". Гамлетъ же не унизится до подобнаго оправданія. Прослѣдимъ, что съ нимъ происходитъ въ трагедіи, и мы поймемъ, какъ неудачна попытка Брандеса открыть въ Шекспирѣ преклоненіе предъ Гамлетовской философіей.

Во второмъ же дѣйствіи, тотчасъ по удаленіи актеровъ, Гамлетъ произноситъ свой длинный монологъ:

Какой злодѣй, какой я рабъ презрѣнный!
Не дивно ли: актеръ при тѣни страсти,
При вымыслѣ пустомъ, былъ въ состояньѣ
Своимъ мечтамъ всю душу покорить;
Его лицо отъ силы ихъ блѣднѣетъ,
Въ глазахъ слеза дрожитъ и млѣетъ голосъ
Въ чертахъ лица—отчаянье и ужасъ,

*) Ib. 527.

И весь составъ его покоренъ мысли.
И все изъ ничего—изъ-за Гекубы!
Что онъ Гекубѣ, что она ему,
Что плачетъ онъ о ней?

Вотъ въ чемъ дѣло. Не только Шекспиръ, самъ Гамлетъ чувствуетъ, въ чемъ его несчастье. Ему чужда Гекуба, она ему не нужна — а бѣдному актеру она, при одномъ лишь воспоминаніи, внушаетъ такое глубокое состраданье, что онъ плачетъ о ней.

И далѣе:

А если бъ онъ,
Какъ я, владѣлъ призывомъ страсти,
Чтобъ сдѣлалъ онъ? Онъ потопилъ бы сцену
Въ своихъ слезахъ и страшными словами
Народный слухъ бы поразилъ, преступныхъ
Въ безумство бы повергъ, невинныхъ—въ ужасъ,
Незнающихъ привелъ бы онъ въ смятенье,
Исторгъ бы силу изъ очей и слуха.

Бѣдный Гамлетъ! Какъ хорошо понимаетъ онъ, въ чемъ дѣло. Актеръ все выяснилъ ему, если онъ не зналъ прежде. Нужно умѣть любить эту Гекубу, хоть она и чужая. Нужно умѣть всѣмъ сердцемъ отозваться на ея несчастіе. Тогда найдутся силы все сдѣлать, чего потребуютъ обстоятельства. Иначе—всѣ эти слезы, вся эта блѣдность, всѣ волненія—къ чему онѣ? Онѣ неумѣстная ложь, какая-то двойная нелѣпость. А еще не такъ давно Гамлетъ не снизошелъ бы до того, чтобы учиться у маленькаго, странствующаго актера—ему философу, ученому, датскому принцу. А еще недавно онъ говорилъ матери:

...Для меня, что кажется—ничтожно.
Нѣтъ, матушка...
Въ моей душѣ ношу я то, что есть,
Что выше всѣхъ печали украшеній.

А если онъ носитъ въ своей душѣ то, что есть, отчего же актеръ такъ смутилъ его? Отчего же онъ такъ страстно завидуетъ этому бѣдняку, умѣвшему покорить всю душу

свою мысли о Гекубѣ, если въ его собственной душѣ есть то, что выше всѣхъ печали украшеній? Если бы это такъ было—онъ и самъ покорилъ бы всѣ свои помыслы одному чувству—а больше ему и не нужно.

А я, презрѣнный, малодушный рабъ,
Я дѣла чуждъ, въ мечтаніяхъ безплодныхъ
Боюсь за короля промолвить слово,
Надъ чьимъ вѣнцомъ и жизнью драгоцѣнной
Совершено проклятое злодѣйство.

Но если у Гамлета нѣтъ этой любви къ невинно погибшему королю,—у него все-таки есть сознаніе, что другіе люди любятъ, что другимъ людямъ близка обида, нанесенная даже чужому человѣку.

Я трусъ? Кто назоветъ меня негоднымъ?
Кто черепъ раскроитъ? Кто прикоснется
До моего лица? Кто скажетъ мнѣ: ты лжешь?
Кто оскорбитъ меня рукой иль словомъ?
А я обиду перенесъ бы. Да!
Я голубь мужествомъ, во мнѣ нѣтъ желчи,
И мнѣ обида не горька.

Чтобъ обида была горька, нужна желчь? Нѣтъ, не это. Пусть Гамлетъ спроситъ у Маргариты Анжуйской. Она ему разскажетъ, что вдохновляло ее на мщеніе; пусть онъ справится у Констанціи, матери Артура, — она объяснитъ ему, какъ люди любятъ своихъ близкихъ, и онъ пойметъ почему обида горька.

Онѣ ему скажутъ:

Не спи ночей и голодай по днямъ,
Припоминай живѣй былое счастье
И съ скорбью новой сравнивай его.
Воображеньемъ прелесть умножай
Своихъ малютокъ, сгубленныхъ злодѣемъ,
А въ немъ—преувеличивай все злое.
Укрась свою потерю—и виновникъ
Потери той проклятью подпадетъ,
И сами прилетятъ твои проклятья.

Скорбями заострится рѣчь твоя
И станетъ пробивать однимъ ударомъ.

Вотъ чего не хватаетъ Гамлету. Покой душевный, ровная, тихая жизнь въ Виттенбергѣ разучили его любить и ненавидѣть. Изъ этого вытекла его пессимистическая философія, его невѣріе, его бездѣятельность. Кто живетъ не отвлеченными мыслями, кто не прячется въ „орѣховую скорлупу“, чтобъ тамъ быть королемъ необъятнаго пространства,—тотъ Гамлетомъ не станетъ. Теперь принцу нужно вновь ожить, проснуться къ дѣйствительности. „Скорбями заострится“ приглаженная и прибитая философіей душа, и тогда онъ вновь научится любить и ненавидѣть, вернетъ къ себѣ Офелію, накажетъ убійцу Клавдія, не потерпитъ, чтобъ престолъ Даніи былъ кроватью для гнуснаго разврата. Привычка къ размышленію научила Гамлета видѣть внѣ себя. Это—спасаетъ его; это одно напрягаетъ его душевныя способности, заставляетъ его идти въ трагедію, которая, по его мнѣнію, готовитъ ему лишь одни муки, но изъ которой онъ выйдетъ оживившимъ и очистившимся. Брандесъ говоритъ: „Жизнь для Гамлета на половину дѣйствительность, на половину — сонъ!“ Это такъ. Но сонъ долженъ обратиться въ страшный кошмаръ, тогда Гамлетъ проснется.

Брандесъ не анализируетъ двухъ главныхъ монологовъ Гамлета —ни только-что приведеннаго, ни послѣдняго большого (въ 4 сц. V дѣйствія) и отдѣлывается отъ нихъ однимъ общимъ замѣчаніемъ: „Къ вѣчнымъ затрудненіямъ присоединились (у Гамлета) и внутреннія препятствія, побѣдить которыя онъ не въ силахъ. Онъ дѣлаетъ себѣ, какъ мы видѣли (вскользь, нужно прибавить) страшные упреки. Но эти самообличенія не выражаютъ ни мнѣнія Шекспира о Гамлетѣ, ни его собственнаго сужденія о себѣ. Они говорятъ лишь о проникшемъ въ его существо нетерпѣніи, о тоскѣ по удовлетвореніи, о потребности видѣть торжество справедливости; они не говорятъ о его винѣ“. О „винѣ“—Шекспиръ навѣрное не говоритъ. Да еще о винѣ Гамлета! Тотъ, кто умѣлъ написать „Гамлета“, отлично, конечно, понималъ

какое условное значеніе имѣетъ это громкое слово „вина“. Но не объ этомъ идетъ здѣсь рѣчь. Нужно выяснить смыслъ и значеніе Гамлетовской трагедіи, а не то—виноватъ ли онъ. Не о заслугахъ датскаго принца идетъ рѣчь, ибо, говоря его собственными, вынесенными изъ новаго опыта, словами—„если обращаться по заслугамъ съ человѣкомъ, то кто же изъ насъ избѣжитъ пощечины?“. Обвинять Гамлета, то есть давать ему пощечины—праздное дѣло. Но тѣмъ важнѣе всмотрѣться въ причину его мучительной неудовлетворенности и въ смыслъ его переживаній. Брандесъ все валитъ на жизнь, которая будто бы такъ страшно устроена, словно нарочно приспособлена для того, чтобы пытать „лучшихъ“ людей. Существуютъ какія-то „равнодушныя“ силы, безъ всякой нужды и цѣли издѣвающіяся надъ благородными и честными людьми. И Гамлетъ будто бы, по мнѣнію Шекспира и его собственному, сталъ жертвой этихъ нелѣпыхъ стихій. Это-то и есть ложь Брандеса и всего современнаго эклектизма, „дополняющаго и измѣняющаго“, на „художественный манеръ“, законъ „причины и слѣдствія“. Греки говорили, что всякій, взглянувшій въ лицо Медузѣ, обращался въ камень. Брандесъ увѣряетъ, что онъ тоже видѣлъ Медузу, но не окаменѣлъ, а только сталъ грустнѣе. Но то, что онъ видѣлъ—не Медуза, а страшные образы, принадлежащіе кисти кузнеца Вакулы, про которые бабы говорятъ: „ишь яка кака намалевана“. Та жизнь, о которой онъ разсказываетъ словами Гамлета и другихъ трагическихъ героевъ, извѣстна ему лишь по наслышкѣ. Иначе онъ понялъ бы, что не въ оправданіи и обвиненіи принца дѣло, и не повторялъ бы въ разныхъ тонахъ нессимистическія разсужденія, вычитанныя имъ изъ книгъ. Гамлета терзаетъ его мрачность, Брандесу — пріятно говорить меланхолически, какъ Жаку. Гамлетъ все время, пока длится его трагедія, чувствуетъ, что нельзя примириться съ Медузой, не покоривъ ее. Пока связь временъ не будетъ возстановлена, нельзя, не нужно жить. И онъ знаетъ, что связь порвалась не внѣ его, а въ немъ самомъ. Тамъ должно что-то из-

мѣнить и страшный кошмаръ—эта обвитая змѣями голова, владычествующая надъ человѣкомъ—исчезнетъ. Все это Гамлетъ и говоритъ въ своихъ монологахъ—только Брандесъ его не хочетъ слушать.

Мы разобрали монологъ второго дѣйствія. Смыслъ его—нужно умѣть любить Гекубу, цѣнить жизнь даже и тому, кто умѣетъ измѣрить океанъ глубокій, счесть пески и лучи планетъ. Гамлету сказалъ это простой актеръ. Обратимся теперь къ знаменитому размышленію „быть или не быть". Этотъ монологъ слишкомъ извѣстенъ, и потому мы не станемъ выписывать его. Гамлетъ спрашиваетъ себя, что лучше—бороться и умереть, или сносить—и жить. Это одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, которые до трагедіи его не занимали. Теперь только впервые направляетъ онъ въ эту сторону свой печальный взоръ. И чтобъ рѣшить эту неизвѣстность—онъ обращается къ смерти. Что будетъ послѣ смерти—спокойный ли сонъ, какъ было до трагедіи, или сонъ посѣтятъ видѣнья, какъ и теперь, послѣ трагедіи? Если бы онъ могъ сказать, что послѣ смерти ему будетъ лучше, онъ умеръ бы. Ибо ему теперь не хорошо. Это—разумно; но любопытно, какъ мысль его инстинктивно ищетъ путей, гдѣ можно заблудиться. Вѣдь общее правило, даже философіи, опредѣлять неизвѣстное посредствомъ извѣстнаго. Смерти онъ не знаетъ; жизнь—ему извѣстна. Такъ вѣдь, наоборотъ, въ жизни нужно искать разгадку смерти, а не въ смерти разгадку жизни. Естественно было бы, кажется, такъ сказать: жизнь таковата, слѣдовательно, смерть не можетъ быть иною. Такъ люди и дѣлали; они чувствовали добро, красоту, любовь здѣсь на землѣ и это успокаивало ихъ на счетъ смерти. Гамлетъ же глядитъ на черепъ и хочетъ подъ него подвести всю жизнь, и уже умѣетъ видѣть подъ лицомъ красавицы полый черепъ, съ пустыми отверстіями для глазъ. Это—искусство, конечно. Но есть искусство другое: не обнажать живое лицо, а оживлять—все тою же силою воображенія—черепа. Готспоръ не знаетъ ни того, ни другого. Но бѣдный Гамлетъ знаетъ искусство низшаго сорта и не подозрѣваетъ, что въ этомъ—

его несчастье. Актеръ оживилъ Гекубу, Гамлетъ умерщвляетъ живую красавицу.

Это искусство—его достояніе, его проклятіе. Источникъ его—все та же приниженная мышленіемъ жизнь. Всмотритесь въ Гамлета: всѣ его достоинства отрицательнаго характера. Онъ не жаденъ, не корыстолюбивъ, не золъ, не коваренъ и т. д. Положительнаго—въ немъ нѣтъ. Нѣтъ у него ничего въ жизни, чему бы онъ готовъ былъ отдать душу. Онъ ничего—даже маленькаго—создать не можетъ. Одно только: онъ—мыслитель. Но мы знаемъ, съ его словъ, что теперь нужно стереть со страницъ воспоминанья всѣ пошлые разсказы, изреченья книгъ, наблюденія и т. д. Это теперь—ни къ чему. Но чѣмъ же тогда жить ему? Оттого-то онъ въ размышленіяхъ своихъ обращается за разрѣшеніемъ вопроса къ смерти. Брутъ, Отелло этого не сдѣлали бы. Брутъ, когда думаетъ о смерти—исходитъ изъ жизни: у него была жизнь, которую онъ цѣнитъ, ибо знаетъ ее. Гамлетъ же такъ же мало извѣдалъ жизнь, какъ и смерть. Поэтому-то ему, человѣку столь тонкаго ума, приходитъ въ голову чудовищная мысль опредѣлять смыслъ жизни по смерти.

IX.

Послѣдуемъ далѣе за Гамлетомъ. Актеры ставятъ передъ королемъ пьесу: убійство Гонзаго. Во время представленія, какъ и всегда, Гамлетъ ведетъ себя крайне неспокойно. Говоритъ колкости королю, Полонію, смущаетъ циническими замѣчаніями Офелію. Все это не нужно, конечно;—но Гамлетъ безъ этого жить не можетъ. Такимъ способомъ онъ даетъ исходъ накопившейся въ груди горечи. Глядѣть прямо въ глаза дѣйствительности, не отвлекая себя сатирическими выходками и лирическими изліяніями—онъ не въ силахъ. Онъ глумится надъ Полоніемъ, потомъ надъ Розенкранцомъ и Гильденштерномъ, потомъ даже надъ Озрикомъ. Геніальнаго человѣка это, конечно, недостойно. Какъ ни

блестящи и остроумны его замѣчанія—ихъ лучше было не дѣлать. Но Гамлетъ не ради другихъ, не съ какой-нибудь опредѣленной цѣлью говоритъ. Если бы онъ молчалъ, онъ не вынесъ бы своей душевной пытки. Но вотъ представленіе доходитъ до того момента, когда Люціанъ вливаетъ на сценѣ королю въ ухо ядъ. Клавдію становится дурно. Гамлетъ безумно торжествуетъ. „О любезный Горацію—я тысячи прозакладую за слова духа. Замѣтилъ ты?“ восклицаетъ онъ. Была слабая надежда, что явившійся духъ былъ исчадіемъ ада—и она исчезла. Осталось несомнѣнное рѣшеніе: нужно убить дядю.

Вотъ часъ духовъ! Гробы стоятъ отверсты,
И самый адъ на міръ заразой дышитъ.
Теперь отвѣдать бы горячей крови,
Теперь ударъ бы нанести, чтобъ дрогнулъ
Веселый день.

Съ этими твердыми, рѣшительными словами принцъ идетъ къ матери. По дорогѣ въ отдаленной, уединенной комнатѣ онъ наталкивается на короля. Одинъ ударъ—и все готово. Но этого удара онъ не наноситъ.

Услужливый умъ подсказываетъ оправданіе. Король молится—если теперь убить его, онъ попадетъ прямо на небо. Еще такъ недавно Гамлетъ не зналъ, что ждетъ насъ послѣ смерти. Теперь ему очевидно, что, если передъ смертью помолиться, то попадешь въ рай. Обыкновенно Гамлетъ лучше оправдывается. Но теперь—пришлось торопиться. Брандесъ на досугѣ придумываетъ лучшее соображеніе: „Онъ (Гамлетъ) чувствуетъ, хотя прямо этого и не высказываетъ, какъ мало выиграется, если уничтожено будетъ одно вредное животное (т. е. король)“. Гамлетъ, конечно, сказалъ бы это, если бы успѣлъ догадаться.

Но вотъ Гамлетъ у матери. Здѣсь онъ въ своей сферѣ. Это страшная сцена. Послѣ того, какъ умираетъ Полоній, принцъ совсѣмъ теряетъ самообладаніе. Слушая его, страшно становится за человѣка. Вотъ нѣсколько строчекъ изъ его обращенія къ матери:

Гдѣ жъ твой румянецъ, стыдъ? Когда ты можешь,
Лукавый адъ, горѣть въ костяхъ матроны,
Такъ пусть, какъ воскъ, растопится стыдливость
Горячей юности въ твоемъ огнѣ.

Это онъ такъ говоритъ матери. И чѣмъ дальше, тѣмъ ужаснѣе становится бѣдный принцъ, пока не начинаетъ понимать, что не въ проступкѣ матери, а въ его слабости вся бѣда. Тутъ входитъ тѣнь и раздавленный, уничтоженный Гамлетъ восклицаетъ:

Ты не съ укоромъ ли явился къ сыну
За то, что онъ не внялъ минутѣ страсти
И грознаго велѣнья не свершилъ?

Въ этихъ словахъ объясненіе его поведенія. Предъ духомъ отца Гамлетъ не можетъ лгать, что король молился, и потому остался невредимымъ. Принцъ просто не „внялъ минутѣ страсти“ т. е. страсть не была достаточно властна надъ нимъ. Тѣнь отвѣчаетъ ему:

Не позабудь! Мое явленье
Угасшій замыселъ должно воспламенить.

Замыселъ угасаетъ—тѣнь знаетъ это и явилась напомнить Гамлету о мщеніи. Гамлетъ даетъ нѣсколько совѣтовъ матери и уходитъ, унося съ собой тѣло Полонія и сознаніе своего позора.

Но встревоженный король рѣшается отправить безпокойнаго племянника въ Англію. И Гамлетъ соглашается ѣхать со своими товарищами, которымъ довѣряетъ, какъ двумъ ехиднамъ, отложивши свое дѣло въ безконечный ящикъ. Передъ отъѣздомъ онъ успѣваетъ еще высказаться.

Между прочимъ, послѣдній монологъ Гамлета—добавочный. Въ первомъ изданіи „Гамлета“ (1603 г.) его нѣтъ. Впервые явился онъ во второмъ изданіи—точно для объясненія. И дѣйствительно, въ немъ принцъ резюмируетъ всѣ первые четыре акта трагедіи.

Какъ все винитъ меня! Малѣйшій случай
Мнѣ говоритъ: проснись, лѣнивый мститель.
Что человѣкъ, когда свое онъ благо
Въ ѣдѣ и снѣ лишь видитъ? Звѣрь — и только *).
Кто создалъ насъ съ такою силой мысли,
Что въ прошлое и въ будущность глядимъ,
Тотъ вѣрно въ насъ богоподобный разумъ
Вселилъ не съ тѣмъ, чтобъ онъ безъ всякой пользы
Истлѣлъ въ душѣ. Слѣпое ль то забвенье
Или желаніе узнать конецъ
Со всей подробностью? О, въ этой мысли,
Какъ разложить ее, на часть ума
Три части трусости. Не понимаю,
Зачѣмъ живу, чтобъ только говорить:
«Свершай, свершай», когда во мнѣ для дѣла
И силы есть, и средства, и желанье!

Какъ ясно и опредѣленно здѣсь все. Брандесъ говоритъ: „въ Гамлетѣ общій смыслъ не виденъ сразу. Ясность не была идеаломъ, который ставилъ себѣ Шекспиръ, когда писалъ эту трагедію, какъ было когда-то, когда онъ писалъ Ричарда III. Здѣсь вдоволь загадокъ и противорѣчій, но привлекательность пьесы не въ малой степени зависитъ именно отъ ея неясности“ **). Затѣмъ слѣдуетъ длинное разсужденіе о томъ, что бываютъ ясныя книги, которыя намъ не по душѣ, и неясныя, которыя намъ нравятся. Все это придумано критикомъ ad hoc. Неясныя книги никому не нравятся, а неясныя психологическія картины—тѣмъ болѣе. И „Гамлетъ“ менѣе всего заслуживаетъ такой двусмысленной похвалы. Не только Шекспиръ, но даже и принцъ отлично понимаетъ, что съ нимъ происходитъ, и такъ ясно и подробно передаетъ намъ, что необходимо принять именно его объясненія, какъ это ни огорчительно для Брандеса. „Что человѣкъ, когда свое онъ благо въ ѣдѣ и снѣ лишь

*) What is a man
If his chief good and market of his time
Be but to sleepan feed? a beast, no more.
**) Br. 525.

видитъ?“ говоритъ о себѣ совсѣмъ не загадочно принцъ. Брандесъ полагаетъ, что размышленіе, званіе мыслителя такъ много даетъ Гамлету, что этимъ все искупается. Но Гамлетъ знаетъ теперь цѣну этимъ „размышленіямъ“ и не ставитъ ихъ въ свой активъ. А когда это у него отнято, чѣмъ онъ и самъ такъ гордился, когда, подобно Жаку и Брандесу, не видѣвшимъ трагедіи, думалъ, что „геніальность“ все даетъ, когда это у него отнято—онъ съ ужасомъ видитъ, что жизнь его сведена къ „ѣдѣ и сну“. Не къ одному сну, что еще представляется критику болѣе или менѣе поэтическимъ, а къ ѣдѣ и сну. Гамлетъ чувствуетъ, что высшія побужденія для него не существуютъ, что они ни къ чему не могутъ подвигнуть его. „Богоподобный разумъ вселенъ въ насъ не съ тѣмъ, чтобы онъ безъ пользы истлѣлъ въ душѣ“. Не съ тѣмъ, бѣдный Гамлетъ, правда твоя, и не истлѣетъ онъ безъ пользы! Уже и теперь онъ оказалъ тебѣ услугу: ты отбросилъ всю ложь, привнесенную философіей, ты понялъ себя и не радуешься, какъ Брандесъ, своему душевному величію, ты научился страдать. Это путь къ тому, чтобы научиться жить. Ты не убьешь короля — его твоей рукой убьетъ судьба. Но твои муки не пропадутъ даромъ. Лучше было тебѣ вынести всѣ испытанія, рыдать, глядя на тѣнь отца своего, безумствовать наединѣ съ собой и передъ матерью, чувствовать себя ничтожнымъ, раздавленнымъ червякомъ,—чѣмъ жить въ Виттенбергѣ въ сознаніи своего великаго душевнаго и нравственнаго превосходства. Не слѣпая судьба загнала тебя въ трагедію, а разумная необходимость. Нужно выстрадать свое совершенство, свое развитіе. До 30 лѣтъ все у тебя было: богатство, покой, учителя. И ты не научился жить. Счастье, безпечность—только усыпили тебя. Теперь тебѣ нужно проснуться. Ударъ разбудитъ тебя. Не принимай увѣреній, что ты напрасно коришь себя. Твои мученія твой духовный ростъ.

Великъ
Тотъ истинно, кто безъ великой цѣли
Не возстаетъ, но бьется за песчинку,

Когда задѣта честь. Каковъ же я,
Когда меня ни матери безчестье,
Ни смерть отца, ни доводы разсудка,
Ни кровь родства не могутъ пробудить?
Гляжу съ стыдомъ, какъ двадцать тысячъ войска
Идутъ на смерть и за видѣнье славы
Въ гробахъ, какъ въ лагерѣ, уснутъ...

Правда—твоя жизнь была позорной, трусливой жизнью инднцаго покоя человѣка. „Вины“ твоей нѣтъ въ томъ,— но это не причина, чтобы на вѣкъ оставаться прежнимъ. Да и чего въ сущности стоитъ оранжерейное счастье твоей прежней жизни? Тебя позвали на муки и смерть, чтобъ сдѣлать тебя достойнымъ твоего „богоподобнаго разума“.

Теперь предъ нами — послѣднее дѣйствіе. Гамлетъ является на кладбище въ сопровожденіи своего безсловеснаго друга, Горація,—и видитъ, что могильщикъ копаетъ могилу и поетъ.

Жизнь и смерть опять, на глазахъ принца, столкнулись, и жизнь не испугалась смерти. Гамлетъ не понимаетъ этого. Какъ — на кладбищѣ можно не покориться смерти, можно быть могильщикомъ и не утратить веселости?! „Неужели онъ не чувствуетъ, чѣмъ занятъ! Копаетъ могилу— и поетъ,“ говоритъ онъ Горацію. — Привычка сдѣлала его равнодушнымъ, какъ эхо вторитъ Гамлету его ученый другъ. „Такъ обыкновенно бываетъ: чѣмъ меньше рука работаетъ, тѣмъ нѣжнѣе у нея чувства“, говоритъ бѣдный принцъ. А могильщикъ—поетъ.

Но пришла колдунья старость,
Заморозила всю кровь:
Прочь прогнала смѣхъ и радость,
Какъ рукой сняла любовь.

Поетъ про старость и не приходитъ въ отчаяніе. Ему самому уже не далеко до смерти, а онъ — не боится ея. Черепа не леденятъ ему кровь. А Гамлетъ увидалъ кости и вся „философія“ встрепенулась въ немъ. Что жизнь, если

рано или поздно всѣ мы будемъ такими?! Можетъ быть, этотъ черепъ принадлежитъ приказному! „Гдѣ теперь его кляузы, ябедничество, крючки и взятки?“ Или прожектеру: „гдѣ теперь его крѣпости, векселя и проценты?“ Онъ еще не договариваетъ. Можетъ быть, этотъ черепъ принадлежитъ Аристотелю, Бруту, Фидію!? Гдѣ ихъ ученость, мужество, искусство? Все великое и ничтожное имѣетъ одну судьбу. И Фальстафа, и Готспора, и Ахилла, и Терсита ждетъ одна участь. Не дѣлай же разницы между ними. Этого Гамлетъ не смѣетъ теперь сказать. Уже онъ лишился возможности идти по убитому пути всесглаживающаго познаванія.

Онъ не могъ снести съ дороги этого безплотнаго пренятствія: измѣнническаго убійства своего отца. Оно загородило путь и не пускаетъ къ заключенію. Но все же онъ, несмотря на мучительныя усилія, еще не сбросилъ съ себя цѣпей равнодушія — ибо равнодушіе и безразличность это самыя ужасныя цѣпи.

Мысль о смерти, иначе какъ въ видѣ голаго черепа ему не представляющейся, еще торжествуетъ надъ нимъ. Онъ еще не чувствуетъ, — что не изъ нея надо исходить. Уже теперь онъ знаетъ, что дядя умышляетъ на его жизнь, что каждую минуту онъ самъ можетъ погибнуть, и преступленіе останется ненаказаннымъ. Въ такую минуту нужно было бы стереть, наконецъ, всѣ „пошлые разсказы“, „изреченья книгъ“ и т. д. — но увы! Гамлетъ еще не готовъ. Шекспиръ, точно испытуя его, заставляетъ могильщика выбросить на землю черепъ человѣка, котораго Гамлетъ зналъ когда-то, Іорика. Это наглядное сопоставленіе живыхъ чертъ когда-то любимаго человѣка съ обнаженнымъ черепомъ его же, совсѣмъ ошеломило Гамлета. „Бѣдный Іорикъ“ произноситъ онъ свои знаменитыя слова. Черепъ развѣнчалъ всю жизнь. Все забыто, все исчезло. „Мнѣ почти дурно“, говоритъ онъ. Все пропало. Ступай-ка теперь въ будуаръ знатной дамы и скажи ей—пусть она хоть на палецъ наложитъ румянецъ, все-таки лицо ея будетъ, наконецъ, такимъ же. Заставь ее посмѣяться этому. Сдѣлай милость, Горацію,

скажи мнѣ только это.

Горацio.—Что, принцъ?

Гамлетъ.—Какъ ты думаешь, былъ Александръ въ землѣ такимъ же?

Горацio.—Точно такимъ (Горацio всегда „понимаетъ“ Гамлета: онъ неоцѣнимый собесѣдникъ).

Гамлетъ.—Имѣлъ точно такой же запахъ? Фи! (бросаетъ черепъ).

Горацio.—Такой же. (Все, какъ эхо).

Гамлетъ.—До такого же низкаго употребленія мы нисходимъ, Горацio! Почему не прослѣдить воображеніемъ благородный прахъ Александра до пивной бочки, гдѣ имъ замажутъ ея втулку?

Горацio.—Разсматривать вещи такъ — значило бы разсматривать ихъ слишкомъ подробно. (А почему этого не слѣдуетъ дѣлать, о ученый человѣкъ?)

Гамлетъ.—Нисколько. До этого можно дойти очень скромно и по пути вѣроятности. Напримѣръ: Александръ—умеръ, Александръ — похороненъ, Александръ — сдѣлался прахомъ; прахъ—земля; изъ земли дѣлается замазка, и почему же бочкѣ не быть замазанной именно прахомъ Александра Македонскаго?

Кто поселялъ въ народахъ страхъ,
Предъ кѣмъ дышать едва лишь смѣли,
Великій Цезарь — нынѣ прахъ
И имъ замазываютъ щели. —

О, успокойся, страждущая тѣнь! Два раза являлась ты къ Гамлету. Дважды понялъ онъ, что твои слова одни должны жить въ его сердцѣ, „безъ примѣси другихъ, ничтожныхъ словъ!“ И вотъ снова эти ничтожныя слова овладѣваютъ имъ почти, какъ Жакомъ или Брандесомъ. Но воспоминаніе о тебѣ освѣщаетъ путь, объясняетъ жизнь и направляетъ мысль, а все тѣ же книги, тѣ же изреченія и наблюденія поверхности вещей. Но успокойся, бѣдная тѣнь! Трагедія еще не кончена. Гамлету еще—напомнятъ, страшно

напомнятъ о тебѣ, нѣтъ, не о тебѣ—а о немъ самомъ. Онъ приметъ послѣдній ударъ и, умирая, не о костяхъ и черепахъ будетъ думать.

На сцену является похоронная процессія. То везутъ Офелію, одну изъ жертвъ гамлетовской философіи. „Офелія!“ восклицаетъ онъ въ ужасѣ. Но вотъ онъ услышалъ проклятія Лаэрта, и Офелія забыта; принцъ бросается состязаться съ братомъ умершей возлюбленной въ риторикѣ печали. Для Офеліи одна мимолетная слеза, а для борьбы съ Лаэртомъ—цѣлая сцена. Для разсужденій о черепахъ — отдается все время, объ убитомъ отцѣ—забыто. Если бъ теперь Клавдій случайно умеръ, а Гамлетъ вступилъ на тронъ, всѣ его переживанія оказались бы напрасными. Онъ за короткое время своего путешествія настолько отдалился отъ своей задачи, что говоритъ Горацію:

Ну что, довольно ли меня задѣли?

„Теперь“ только „задѣли“ его! Онъ, если бы все окончилось благополучно, если бы сама собой наступила счастливая развязка, вернулся бы вновь въ свою „орѣховую скорлупу“ и считалъ бы себя королемъ необъятнаго пространства, для него вся жизнь снова обратилась бы въ пріятное мечтаніе, дурные сны были бы забыты, и философія череповъ выступила бы въ новый фазисъ своего существованія. Бѣдный принцъ! „Теперь довольно ли меня задѣли!“ Нѣтъ не довольно! Человѣческая душа — самый упорный матеріалъ, и судьбѣ страшными ударами приходится выковывать его, чтобъ придать ему совершенную форму. Отецъ Гамлета измѣнически убитъ, мать совращена дядей, на жизнь принца было покушеніе, онъ самъ погубилъ Полонія, Розенкранца и Гильденштерна, былъ причиной безвременной кончины Офеліи—и Гамлетъ еще не видитъ, что не въ черепахъ и не въ тонкости его ума дѣло! Онъ еще занимается высмѣиваніемъ Озрика, тратитъ время на обличеніе ничтожнаго придворнаго шута! Такъ принимай же, геніаль-

ный человѣкъ, послѣдній ударъ судьбы: ты поймешь тогда, когда увидишь трупъ матери, умирающаго Лаэрта, почувствуешь ядъ въ собственной крови, что такое жизнь, что такое правда, что такое добро, и войдешь во „врата блаженства“ инымъ человѣкомъ, чѣмъ ты былъ въ этомъ мірѣ, опустошеннымъ тобою и черезъ то ставшимъ ничтожнымъ.

Король предлагаетъ Гамлету состязаться съ Лаэртомъ на рапирахъ. Принцъ предполагаетъ умыселъ со стороны дяди, но не отказывается принять предложеніе. Между нимъ и Горація происходитъ слѣдующій діалогъ:

Гамлетъ. — Я выиграю закладъ, однако, ты не можешь себѣ представить, какъ мнѣ тяжело на сердцѣ. Да это — вздоръ.

Горація. — Нѣтъ, принцъ.

Гамлетъ. — Это — глупость, а между тѣмъ родъ грустнаго предчувствія. Женщину это могло бы испугать.

Горація. — Если душѣ вашей что-нибудь не нравится, — повинуйтесь ей. Я предупрежу ихъ приходъ, скажу — что вы не расположены.

Гамлетъ. — Нисколько. Я смѣюсь надъ предчувствіями и воробей не погибнетъ безъ воли провидѣнія. Не послѣ—такъ теперь, теперь—такъ не послѣ; а не теперь — такъ когда-нибудь да придется же. Быть готовымъ—вотъ все. Никто не знаетъ, что теряетъ онъ. Такъ что за важность потерять раньше? Будь, что будетъ!— Гамлету тяжело; онъ догадывается о коварныхъ намѣреніяхъ дяди, который давно уже понялъ его образъ дѣйствій. Онъ чувствуетъ, что его заманиваютъ въ ловушку, и что дѣло его погибнетъ вмѣстѣ съ нимъ. Но онъ идетъ. „И воробей не погибнетъ безъ воли провидѣнія“. А „что за мечты сойдутъ на смертный сонъ, когда стряхнемъ мы суету земную?“ Теперь принцъ не спрашиваетъ себя объ этомъ. Вѣрить въ провидѣніе т. е. чувствовать глубокую осмысленность нашей жизни—великое дѣло. Но у Гамлета этой вѣры нѣтъ. Его фраза „и воробей не погибнетъ и т. д.“ красивая ложь, оправдывающая нежеланіе самому устраивать жизнь свою. Это

„не теперь—такъ когда-нибудь“, какъ и „что за мечты сойдутъ на смертный сонъ“ прикрываетъ лишь собою нравственную пассивность, дающую философію череповъ. Гамлетъ вручаетъ судьбу свою случаю, чтобы только избавиться отъ вмѣшательства въ жизнь. Когда онъ говорилъ о Іорикѣ и Александрѣ Великомъ, слово провидѣніе не было имъ упомянуто. Все, рѣшительно, все свелось у него къ черепамъ и костямъ. А теперь—провидѣніе.

Теперь остается заключительная сцена. Она коротка. Королева выпила отравленнаго вина. Лаэртъ и Гамлетъ ранены отравленными рапирами. Гамлетъ убиваетъ короля.

Вы блѣдны,
Дрожа глядите вы на катастрофу,
Нѣмые зрители явленій смерти.
О, если бъ время я имѣлъ — но смерть
Сержантъ проворный, вдругъ беретъ подъ стражу—
Я разсказалъ бы вамъ...

говоритъ Гамлетъ. Но нѣтъ — Гамлетъ вамъ ничего бы не разсказалъ. Онъ самъ, дрожа, глядитъ на катастрофу, онъ самъ можетъ быть лишь нѣмымъ зрителемъ явленій смерти. И Горацію, не допившій кубка по просьбѣ умирающаго принца, ничего намъ не сможетъ разсказать: онъ, кромѣ ужаса, мало вынесъ изъ того, чему онъ былъ свидѣтелемъ. Разсказать не затѣмъ, чтобы пугать и безъ того напуганное воображеніе картинами ненужныхъ мукъ и безвременныхъ смертей, а затѣмъ, чтобы объяснить, какой смыслъ все это имѣло—можетъ лишь великій поэтъ. И никто—ни до Шекспира, ни послѣ него—не умѣлъ такъ ясно видѣть въ человѣческой душѣ, чтобы всю путаницу сложныхъ явленій нашей психики, представляющуюся не только наблюдателямъ, но и дѣйствующимъ лицамъ, случайнымъ сплетеніемъ послѣдствій случайныхъ событій, понять какъ нѣчто единое, осмысленное, цѣлесообразное. У Шекспира высшая задача, доступная только художнику: объяснить смыслъ жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ. Не отбросить жизнь, какъ „цвѣте-

ніе", какъ добавленіе къ внѣшнимъ явленіямъ, только ими и опредѣляемое, а поставить жизнь впереди всего, въ ней видѣть начало. Эта задача, столь же естественная для художника, какъ для ученаго стремленіе отыскать во внѣшнемъ мірѣ законъ причинности. Поэтому философія, какъ обзоръ и объясненіе человѣческой жизни, доступна лишь тому, въ комъ „артистъ и художникъ" не дополняетъ мыслителя, а господствуетъ надъ нимъ. Поэтъ примиряетъ насъ съ жизнью, выясняя осмысленность всего того, что намъ кажется случайнымъ, безсмысленнымъ, возмутительнымъ, ненужнымъ. У Шекспира Гамлетъ выноситъ трагедію не потому, что онъ запутался въ сѣтяхъ слѣпой судьбы, которая ведетъ его къ „безумію, преступленію, страданіямъ и смерти". Гамлету, повторяемъ, его трагедія была необходима. Шекспиръ именно потому и великъ, что умѣлъ видѣть порядокъ и смыслъ тамъ, гдѣ другіе видѣли только хаосъ и нелѣпость. Мы еще вернемся къ этому вопросу, когда будемъ разбирать величайшую изъ всѣхъ существующихъ въ мірѣ трагедію—„короля Лира". А теперь обратимся къ Брандесу и его заключеніямъ о „Гамлетѣ". „Но ты, о Гамлетъ, говоритъ критикъ, конечно, не менѣе намъ дорогъ, тебя наше поколѣніе не менѣе цѣнитъ. Мы любимъ тебя какъ брата. Твоя тоска—наша тоска. Твое негодованіе—наше негодованіе. Твой возвышенный духъ мститъ за насъ тѣмъ, кто владѣетъ землею и наполняетъ ее своимъ пустымъ шумомъ. Мы знаемъ твою глубокую муку при видѣ торжества лицемѣрія и увы! твою еще болѣе глубокую муку, происходящую отъ сознанія того, что въ тебѣ перерѣзанъ нервъ, обращающій мысли въ побѣдоносныя дѣла. И къ намъ доходили съ того свѣта голоса великихъ мертвецовъ. И мы видѣли, какъ наша мать возлагала пурпуровую мантію власти на того, кто убилъ „похороненное величіе Даніи". И намъ измѣняли друзья наши. И противъ насъ направлялись отравленные кинжалы. И мы знаемъ кладбищенское настроеніе, при которомъ душу наполняетъ отвращеніе ко всему земному и боль за все земное. Дыханіе открытыхъ гробницъ и насъ заставляло мечтать

съ черепами въ рукахъ" *). Но Брандесъ адвокатствуетъ за Гамлета, а Жакъ, тотъ самый Жакъ, про котораго критикъ такъ справедливо замѣтилъ, что „его меланхолія — только меланхолія комедіи". И Брандеса печаль—это печаль комедіи, между прочимъ очень вошедшая въ моду. Войдите на современную художественную выставку—и вы увидите тамъ вдоволь раскрытыхъ могилъ, череповъ, труповъ. И это не крикъ отчаянія. „Новые люди", какъ могильщики въ „Гамлетѣ", копаютъ могилы и рисуютъ мертвецовъ съ пѣснями и бутылками въ рукахъ, вполнѣ убѣжденные, что достаточно вздохнуть и произнесть „poor Jorick", чтобъ исполнить все, къ чему обязываетъ возвышенность души. И Шекспира критикъ причисляетъ къ своимъ, приписывая ему всѣ Гамлетовскія размышленія!

Шекспиръ „думалъ и чувствовалъ", какъ Гамлетъ, говорилъ „устами" Гамлета, „слился съ Гамлетомъ" и т. д. Какъ часто Шекспиру приходилось вмѣстѣ съ Гамлетомъ „восклицать": ничтожность — женщина твое названье, какъ часто чувствовалъ онъ справедливость этихъ словъ: „не пускай ее на солнце; плодовитость благодатна — но, если такая благодать достанется въ удѣлъ твоей дочери — берегись!" Да такъ далеко зашелъ онъ въ отвращеніи ко всему, что ему казалось ужаснымъ, если такая жизнь станетъ продолжаться изъ рода въ родъ и давать новыя поколѣнія несчастныхъ людей: ступай въ монастырь—зачѣмъ хочешь ты быть матерью грѣшниковъ" **). Мы видѣли источникъ Гамлетовскаго пессимизма и знаемъ, что пессимизмъ, т. е. слабость, вялость души приводитъ его къ трагедіи, а не жизненный трагизмъ—къ пессимизму.

Брандесъ же, составляющій свою книгу изъ тѣхъ „изреченій книгъ", тѣхъ „впечатлѣній", тѣхъ „разсказовъ", которые нужно стереть со страницъ памяти, принужденъ толковать иначе. Въ противномъ случаѣ для того, чтобы

*) Вг. 540 стр.
**) Вг. 515 стр.

писать о жизни, ему пришлось бы прежде вынести на себѣ настоящую жизнь. А это—труднѣе, чѣмъ говорить о раскрытыхъ могилахъ и прочихъ страстяхъ, въ концѣ концовъ совсѣмъ нестрашныхъ на бумагѣ.

X.

Мы видѣли источникъ и причину трагедіи Гамлета. Она не есть слѣдствіе случайныхъ столкновеній, она не есть наказаніе за вину. Какъ бы дорого ни обошелся Гамлетъ близкимъ людямъ, сколько бы жертвъ изъ-за него не погибло — Шекспиръ не осудитъ его. Шекспиръ не осуждалъ Фальстафа и Ричарда III и ввелъ этимъ въ заблужденіе критиковъ, которымъ кажется, что безпечность и остроуміе одного и гигантская сила другого „выкупили“ въ глазахъ великаго поэта пошляка и злодѣя. Но къ этому мы вернемся. Пока замѣтимъ лишь, что какъ ни близокъ Гамлетъ сердцу Шекспира, онъ отлично понимаетъ, откуда его несчастье и зачѣмъ послана ему эта мучительная борьба: онъ знаетъ, что въ Гамлетѣ родится новый человѣкъ. И образъ этого новаго человѣка, къ идеалу котораго такимъ труднымъ путемъ направляется Гамлетъ—уже былъ готовъ въ душѣ Шекспира еще прежде, чѣмъ была написана трагедія датскаго принца. У Шекспира иначе не могло быть. Онъ не могъ удовольствоваться вопросомъ въ эту эпоху. Ему нуженъ былъ отвѣтъ. И объ пьесы — „Юлій Цезарь“ и „Гамлетъ“, написанныя почти одновременно, находятся въ такомъ взаимномъ отношеніи, какъ вопросъ и отвѣтъ. Гамлетъ спрашиваетъ — Брутъ отвѣчаетъ. Этого Брандесъ не хочетъ знать. Ему пріятно и легко понимать жизнь какъ насмѣшку надъ человѣкомъ, и онъ увѣряетъ, что такое пониманіе свидѣтельствуетъ о геніальности и философскихъ, мыслительскихъ способностяхъ человѣка. Поэтому онъ заставляетъ Шекспира томно „стучаться въ дверь тайны“ и не получать никакого осмысленнаго отвѣта. Поэтому онъ не только не хочетъ, за одно съ Гамлетомъ, учиться у странству-

ющаго актера или у солдатъ Фортинбраса, которые, какъ мы помнимъ, вызвали на такія горькія размышленія несчастнаго принца, но даже свысока глядитъ на Брута. „Если Гамлетъ такъ долго медлитъ напасть на короля, если онъ такъ сдержанъ, и такъ сомнѣвается въ исходѣ предпріятія, все хочетъ обдумать и упрекаетъ себя въ томъ, что много размышляетъ, то это, по всей вѣроятности (!), имѣетъ отчасти своей причиной то обстоятельство, что Шекспиръ отъ Брута прямо перешелъ къ Гамлету. Его Гамлетъ видѣлъ, такъ сказать, каково пришлось Бруту, а примѣръ этого послѣдняго не соблазняетъ ни къ убійству отчима, ни къ какому бы то ни было рѣшительному дѣлу". Такъ смотритъ Брандесъ на отношенія между Брутомъ и Гамлетомъ. Въ „Юліи Цезарѣ" Антоній надъ трупомъ Брута говоритъ:

Прекрасна была жизнь Брута; въ немъ стихіи
Такъ соединились, что природа можетъ,
Возставъ, сказать предъ цѣлымъ міромъ: «это—
Былъ человѣкъ».

Такой примѣръ не соблазняетъ ни къ какому дѣлу— Брандеса, современнаго философа. Ему болѣе по вкусу мечтать съ черепомъ въ рукахъ. Но зачѣмъ навязывать свои вкусы Шекспиру? Отчего у философа нѣтъ смѣлости сказать, что Шекспиръ — отсталъ, что онъ не „познался" еще всего, и что надъ трупомъ Гамлета, а не Брута нужно было произнести ту похвалу, выше которой Шекспиръ не зналъ. Почему Горацію, все время безмолвствовавшій и впервые открывшій свои уста послѣ смерти принца, говоритъ о чемъ угодно, только не о томъ, что Гамлетъ „былъ человѣкъ", что его, „жизнь была прекрасна?" Сотни Шекспировскихъ героевъ проходятъ передъ нами, и никто не заслужилъ себѣ такого надгробнаго слова. Когда Гамлетъ хочетъ произнести величайшую похвалу своему отцу, онъ находитъ эти слова:

Да, онъ былъ человѣкъ во всемъ значеньи слова,
Мнѣ не найти подобнаго ему.

Но Гамлета—отца мы не знаемъ. Изъ другихъ же героевъ Шекспировскихъ пьесъ никто не наводилъ поэта на мысль, что передъ нимъ высшій идеалъ, къ которому можно стремиться.

Выбора нѣтъ: нужно либо отвергнуть міросозерцаніе Шекспира, либо признать, что въ „Юліи Цезарѣ“ онъ осудилъ Гамлетовскую философію во всѣхъ ея видахъ. Чѣмъ яснѣе видимъ мы близость Гамлетовскаго типа къ тому, который господствуетъ въ наше время, тѣмъ больше лишь насъ должна поражать въ Шекспирѣ его глубокая способность проникать въ тайну человѣческихъ помысловъ, благодаря которой онъ могъ въ бурную эпоху возрожденія подмѣтить и объяснить этотъ тогда лишь нарождавшійся типъ. Гамлетъ при Елизаветѣ былъ непроницаемъ. И теперь онъ часто невидимъ — ибо скрывается подъ своими отрицательными добродѣтелями, замѣчательнымъ умомъ и отвлеченною философіей. Но теперь онъ — обычное явленіе, и его различить не такъ трудно. При Шекспирѣ же, среди Готспоровъ, Ричардовъ, Норфольковъ и другихъ „рыкающихъ львовъ“, еще не изгнанныхъ цивилизаціей изъ городовъ Европы — кротость и радушіе Гамлета, его порывистое остроуміе и образованіе—являлись непроницаемой броней для него. Но для Шекспира не существовало непроницаемости. Подъ красивой оболочкой человѣка Гамлетъ видѣлъ черепъ и считалъ себя тонкимъ, всевидящимъ человѣкомъ. Брандесу тоже это кажется предѣломъ человѣческой проницательности. Но Шекспиръ за наружной оболочкой и за черепомъ видѣлъ душу и разсказалъ намъ исторію Гамлета. Брандесъ же ея знать не хочетъ; это ему не нужно, какъ и всѣмъ тѣмъ, кому удалось бѣжать отъ суровой службы жизни. Имъ довольно стучаться ослабѣвшими пальцами въ двери тайны. Отвѣта они не хотятъ, ибо участь Брута „ихъ не привлекаетъ“, точнѣе ужасаетъ. И они, чтобы оправдать себя, низводятъ героевъ, чтобы самимъ занять ихъ почетное мѣсто. Вопросы, которые они называютъ страшными, ихъ вовсе не пугаютъ. Они не пережили еще гамлетовскаго столкновенія

съ духомъ отца, послѣ котораго принцъ преклонился не передъ Брутомъ, а передъ актеромъ, умѣвшимъ пролить слезу надъ Гекубой. Оттого-то они и ставятъ такъ вопросы, чтобы нельзя было получить на нихъ отвѣтъ.

Прежде посмотримъ Шекспировскаго Брута, а затѣмъ сравнимъ съ нимъ Брандесовскаго, чтобъ убѣдиться, насколько критикъ, питавшійся всей современной культурой, утратилъ способность понимать идеалы геніальнаго сына возрожденія.

Мы застаемъ у Шекспира Брута во время празднествъ. На площади проходитъ въ процессіи Цезарь, за нимъ Антоній и цѣлый рядъ патриціевъ, въ сопровожденіи толпы народа. Всѣ, не исключая и будущаго властелина трети міра, слѣдуютъ съ подобострастіемъ за диктаторомъ, жадно прислушиваясь къ его словамъ. Процессія проходитъ, но Брутъ и Кассій, эти два блѣдныхъ и худыхъ человѣка, которые, какъ передаетъ Плутархъ, внушали опасеніе Цезарю тѣмъ, что слишкомъ много думаютъ, остаются на площади. Кассій зоветъ Брута посмотрѣть на бѣгъ. Но онъ отвѣчаетъ: „я не хочу, я игрищъ не люблю, нѣтъ у меня веселости Антонія“. Бруту не до веселья. Какая-то глубокая мысль залегла въ его душѣ. А между тѣмъ въ его частной жизни ничего не произошло. Положеніе его — блестящее. Онъ на лучшемъ счету у патриціевъ и народа. Цезарь его любитъ. Онъ занимаетъ почетнѣйшую должность. Его жена—лучшая женщина въ Римѣ—безпредѣльно предана ему. Самъ Цезарь спрашиваетъ у него совѣтовъ и, по его настоянію, прощаетъ тѣхъ, кого собирался казнить. Плутархъ говоритъ про него, что онъ несомнѣнно сталъ бы первымъ и самымъ почетнымъ человѣкомъ въ Римѣ, если бы еще нѣкоторое время довольствовался вторымъ мѣстомъ за Цезаремъ. Передъ нимъ—блестящее будущее. Впереди—богатство, слава, почетъ, первенство въ Римѣ, изъ-за котораго Цезарь десять лѣтъ, не покладая рукъ, убивалъ людей въ Галліи, заводилъ интриги въ Римѣ, рѣшился на страшную гражданскую войну. И онъ разстроенъ, мраченъ до того, что измѣнился въ обращеніи

съ друзьями. Кассій упрекаетъ его: „въ твоихъ глазахъ не видно прежней ласки и той любви, къ которой я привыкъ“. Ему кажется, что Брутъ имъ недоволенъ. Причина же тутъ иная. Брутъ отвѣчаетъ:

Не заблуждайся: если взоръ мой мраченъ,
Когда въ чертахъ моихъ разстройство видно
То лишь меня касается оно.
Страдаю я съ недавнихъ поръ—мнѣ душу
Волнуютъ страсти разныя и думы,
И тѣнь кладутъ, быть можетъ, на мои
Поступки: но все это не должно
Друзей моихъ тревожить, заставляя
Во мнѣ холодность къ нимъ подозрѣвать.
Нѣтъ, бѣдный Брутъ въ борьбѣ съ самимъ собою,
И забываетъ оттого порою
Любовь къ другимъ открыто выражать.

Брутъ въ борьбѣ съ самимъ собою,—какъ и Гамлетъ, съ перваго же дѣйствія. Но Гамлетъ кончаетъ свой первый монологъ, въ которомъ слышится столько негодованія противъ матери, женщинъ, противъ всей жизни, обѣщаніемъ дальше этого негодованія не идти. „Скорби, душа, уста должны молчать“, восклицаетъ онъ, и въ немногихъ словахъ характеризуетъ все свое будущее поведеніе. Душа будетъ скорбѣть, а уста будутъ молчать. Брутъ же, какъ только замѣчаетъ, что Кассій хочетъ окольнымъ путемъ навести его на серьезное и опасное дѣло—самъ идетъ къ нему навстрѣчу:

Что хочешь сообщить мнѣ? Если это
Ко благу клонится народа—пусть
И честь, и смерть возстанутъ предо мною,
Я глазъ своихъ не отвращу отъ нихъ.

До этого Гамлетъ додумывается лишь въ четвертомъ дѣйствіи, передъ отъѣздомъ въ Англію. Онъ говоритъ:

Великъ
Тотъ истинно, кто безъ великой цѣли

Не возстаетъ, но бьется за песчинку,
Когда задѣта честь.

Додумывается—и покидаетъ Данію.

И Гамлетъ, и Брутъ—люди размышляющіе. Но какъ различно ихъ размышленіе! Плутархъ разсказываетъ, что не было человѣка, который бы такъ мало спалъ, какъ Брутъ, и что во время самыхъ трудныхъ походовъ, когда всѣ другіе искали свободной минуты, чтобъ отдохнуть—Брутъ цѣлые часы проводилъ въ размышленіяхъ и занятіяхъ. „Наканунѣ битвы при Фарсалѣ, послѣ утомительнаго жаркаго дня, когда другіе спали или предавались заботамъ и размышленіямъ о будущемъ, Брутъ до поздняго вечера проработалъ надъ Полибіемъ“ *). Вопросы о добрѣ и злѣ, о томъ, что ждетъ насъ за гробомъ, объ обязанностяхъ человѣка и гражданина не менѣе волнуютъ его, чѣмъ Гамлета, и онъ неустанно изучаетъ все, что можетъ дать ему хоть какіе-нибудь матеріалы для разрѣшенія ихъ. Но онъ не умѣетъ останавливаться на серединѣ, бросать начатое неоконченнымъ. Для него не существуетъ отвѣта: „скорби, душа, уста должны молчать“. Размышленія, коль скоро они приводятъ его отъ одного неизвѣстнаго къ другому, становятся для него источникомъ мукъ. Онъ никогда не удовлетворится тѣмъ, что думалъ, что обсуждалъ сложныя или трудныя обстоятельства. Вмѣстѣ съ возникновеніемъ вопроса является у него неотложная потребность въ отвѣтѣ, которая, какъ и всякая глубокая потребность въ человѣкѣ, не можетъ остаться неудовлетворенной. Она указываетъ такіе пути, которые были бы немыслимы, казались невозможными, болѣе того—никогда бы не пришли на умъ, если бы все существо человѣка не требовало бы грозно ихъ отысканія. Гамлетъ заранѣе расположенъ ничего не найти и бѣгать по заколдованному, но гладкому пути отвлеченной мысли. Онъ не смѣетъ выйти изъ колеи, внѣ которой приходится мучитель-

*) Плутархъ. Жизнеописанія. Маркъ Брутъ кн. 4.

ными усиліями пролагать свой новый путь,—не смѣетъ, ибо это ему не нужно. Для Брута же такое положеніе невозможно. Онъ въ борьбѣ съ самимъ собою, но положитъ конецъ этой борьбѣ. Вся жизнь его свидѣтельствуетъ о томъ. Когда—передаетъ Плутархъ—Цезарь возсталъ противъ Помпея, Брутъ принялъ сторону этого послѣдняго, хотя былъ личнымъ врагомъ его, какъ убійцы своего отца. Но онъ считалъ дѣло Помпея правымъ и отложилъ въ сторону личные счеты. Для Гамлета это былъ бы неразрѣшимый вопросъ, который разрѣшился бы случаемъ. Что дѣлать? Стать ли за Помпея и отказаться отъ надежды отмстить ему, или помочь Цезарю и наказать врага? Несомнѣнно—это тяжелый и мучительный вопросъ, одинъ изъ тѣхъ, которые могутъ отнять много силъ у человѣка, обречь его на рядъ безсонныхъ ночей. Онъ связанъ и съ понятіемъ о добрѣ и злѣ, о правящей справедливости, со всѣмъ, что находится за той таинственной дверью, куда стучится Гамлетъ. И Брутъ непрестанно подходитъ къ ней. Но отвѣтъ дается лишь тѣмъ, кому онъ нуженъ. Кто подходитъ туда со страхомъ и скрытымъ желаніемъ не узнать ничего, тотъ ничего и не узнаетъ. Вопросы о добрѣ и злѣ, о правящей справедливости рѣшаются людьми, готовыми за нихъ все принять на себя. Но у Гамлета „мышленіе“ совершенно независимый душевный процессъ, никакой связи съ остальной жизнью не имѣющій. У Брута же мысль иначе не является, какъ облеченною въ плоть и кровь. Оттого Гамлетъ дѣлаетъ всегда не то, что ему нужно, Брутъ—всегда то, что ему нужно.

И Брутъ видѣлъ трупы и черепа—но они не побѣдили его. Когда онъ думаетъ о смерти, онъ перелетаетъ черезъ это столь страшное для Гамлета препятствіе, не силой „мысли“, оказавшейся слабой, чтобъ поднять Гамлета, а сознаніемъ глубокаго значенія жизни и человѣка. „Онъ удивлялся, разсказываетъ Плутархъ, что Цицеронъ боится опасностей гражданской войны и не пугается позорнаго и безчестнаго

мира“ *). Для него жизнь, какъ одно существованіе—не имѣетъ цѣны. Онъ ищетъ лучшей жизни, знаетъ, что есть такая, и въ поискахъ за ней не боится ни опасностей, ни смерти — ни для себя, ни для другихъ.

Этимъ-то онъ и отличается отъ Гамлета, полагающаго, что дальше благоговѣйныхъ мечтаній о добрѣ человѣку не дано и не нужно идти. Гамлетъ не знаетъ, что благоговѣйныя мечтанія могутъ лишь тогда чего-нибудь стоить, когда облекутся въ плоть и кровь, что сказать „зло нужно искоренять“ гораздо меньше значитъ, чѣмъ защитить одного пострадавшаго отъ неправды человѣка. Для него пострадавшій отъ неправды человѣкъ—такое же „понятіе“, какъ и зло вообще. Онъ хочетъ помочь ему не ради него самого, а ради торжества добродѣтели, опять-таки понятія. Онъ всей душей противъ зла—но онъ ничего не дастъ, чтобы поднять одного человѣка. Люди для него обратились въ идеи, а идеи уже давно перестали представлять собою жизнь. Онъ не знаетъ, что вокругъ него людямъ, живымъ людямъ, больно, горько, обидно, что они радуются, плачутъ, надѣются. Оттого-то онъ такъ презираетъ ближнихъ, такъ ненавидитъ ихъ, хотя по природѣ своей онъ кротокъ, какъ овца. Оттого-то всѣ у него оказываются плутами, развратниками, преступниками. Онъ клеймитъ и казнитъ людей только потому, что они ему—чужіе, что они для него—не люди. Если бы онъ почувствовалъ, что для всѣхъ, какъ и для него, жизнь дорога, что всѣ, какъ и онъ, страшатся сновъ, которые сойдутъ на нихъ, когда они стряхнутъ суету земную, что каждому, какъ и ему самому, больно и тяжело попасть въ преступники, т. е. быть отверженнымъ людьми и Богомъ, онъ бы не сталъ судить и осуждать. Клеймитъ людей лишь тотъ, кому нѣтъ до нихъ дѣла, кто ихъ совсѣмъ не чувствуетъ, или кто, какъ Гамлетъ, обратилъ ихъ въ понятія, въ фикціи, которыя нужно лишь классифицировать по

*) Ib. гл. 22.

разрядамъ—однихъ назвать преступными, злыми, другихъ хорошими, добрыми.

Когда Гамлетъ судитъ ближняго—онъ о человѣкѣ не думаетъ. Для Брута же нѣтъ добра внѣ человѣка. Онъ не пойдетъ въ храмъ молиться предъ „добромъ", которому тамъ поставленъ идолъ. Онъ ищетъ добра въ человѣкѣ—въ себѣ и другихъ. Цѣлью онъ считаетъ не правила, а себя и своихъ ближнихъ. Рабское существованіе унижаетъ, обезличиваетъ человѣка, сводитъ его существованіе къ ничтожному прозябанію—такъ бояться ли гражданской войны?! Здѣсь рѣчь не идетъ о сравненіи двухъ понятій, изъ-за которыхъ и малая жертва покажется тяжелой. Орелъ рвется изъ клѣтки на свободу не потому, что такъ д о л ж н о, а потому, что онъ любитъ свободу, потому что въ клѣткѣ — ему мучительно, а парить въ облакахъ—хорошо, привольно. У Брута „богоподобный разумъ" имѣетъ иное назначеніе, чѣмъ у Гамлета. Онъ не позволитъ ему въ потерявшихъ содержаніе категоріяхъ изображать жизнь. Для Брута на вѣсахъ ума сложена участь людей, такихъ же живыхъ людей, какъ и онъ самъ. Когда объ этомъ идетъ рѣчь, а не о борьбѣ отвлеченнаго добра съ отвлеченнымъ зломъ—„размышленія ради размышленія" не можетъ быть. Размышленіе, вызванное дѣйствительною, живою потребностью, приводитъ къ рѣшенію, а не остается чистымъ мышленіемъ. Честь возстаетъ и смерть возстаетъ. Брутъ не отвратитъ отъ нихъ глазъ и, если не будетъ чести, которой онъ ищетъ, — то будетъ смерть. Когда орелъ рвется изъ клѣтки—смерть не пугаетъ его.

Съ площади доносятся радостные клики и звуки трубъ, которые истолковываются обоими друзьями, какъ знакъ того, что Цезарь избранъ царемъ. И въ это время Кассій со всѣмъ мрачнымъ краснорѣчіемъ глубоко затаенной ненависти разсказываетъ Бруту, чѣмъ сталъ и чѣмъ былъ Цезарь.

Какою же питался Цезарь пищей,
Что выросъ такъ? О вѣкъ—ты посрамленъ!
Римъ, ты утратилъ благородство крови!

Ну, слыханно-ль со времени потопа,
Чтобъ вѣкъ былъ полонъ именемъ однимъ?
Когда могли сказать о Римѣ люди,
Что въ немъ одинъ лишь человѣкъ живетъ?
Да Римъ-ли это, полно? Если такъ—
Немного мѣста въ немъ. А между тѣмъ
И ты, и я—мы отъ отцовъ слыхали,
Что нѣкогда жилъ Брутъ, который въ Римѣ
Не могъ терпѣть подобнаго владыки,
Какъ вѣчной власти демона.

Но Бруту не до имени Цезаря. Пусть будетъ Цезарь славенъ, какъ угодно, пусть вѣкъ будетъ полонъ его именемъ—не въ этомъ дѣло. Слова Кассія нашли отзвукъ въ душѣ Брута лишь потому, что у него давно уже сложилось опредѣленное отношеніе „къ нашимъ временамъ“. Цезаря слава не мѣшаетъ Бруту, какъ Кассію. „Обо всемъ этомъ“, говоритъ онъ своему будущему товарищу по кровавому дѣлу, „поговоримъ послѣ“—

А между тѣмъ, мой благородный другъ,
Увѣренъ будь, что Брутъ скорѣй готовъ
Быть пахаремъ, чѣмъ римскимъ гражданиномъ
На тягостныхъ условіяхъ, какими
Насъ это время хочетъ оковать.

По обыкновенію, лишнихъ словъ нѣтъ. Его, Брута, переживанія находятъ себѣ разрѣшеніе не въ бурныхъ и горестныхъ изліяніяхъ. Онъ не облегчаетъ свою душу лирикой, ибо ему нужны силы для иного дѣла. Наоборотъ, чѣмъ серьезнѣе и важнѣе запавшая въ его душу мысль, тѣмъ проще и немногословнѣе становится онъ въ ея выраженіи.

Мимо Кассія и Брута проходитъ, вслѣдъ за Цезаремъ и его свитой, Каска. Друзья останавливаютъ его и спрашиваютъ, что случилось, что Цезарь такъ печаленъ, а народъ такъ ликовалъ. Каска передаетъ имъ, что Антоній три раза предлагалъ корону Цезарю и что тотъ нехотя отталкивалъ ее. Разсказъ Каски словно новое напоминаніе Бруту.

Очевидно, что его сомнѣнія и подозрѣнія были справедливы. Антоній уже предлагалъ Цезарю корону.

XI.

Во второмъ дѣйствіи Брутъ одинъ въ своемъ саду. Послѣ разговора съ Кассіемъ, т. е. какъ неотложность вопроса о томъ, жить или не жить Цезарю — стала ему очевидна, онъ не знаетъ ни сна, ни покоя. Онъ не видѣлъ духа, извнѣ никто ему не приказывалъ что-либо сдѣлать, но онъ подчинилъ „все свое существо одной мысли“. Порція говоритъ о немъ:

Если бы могла твоя забота
Такъ дѣйствовать на тѣло, какъ на душу,
Мнѣ бъ не узнать тебя.

И тѣмъ не менѣе — „нервы не старѣютъ“. Плутархъ разсказываетъ: „Брутъ, отъ мановенія котораго зависѣли теперь въ Римѣ всѣ, отличавшіеся добродѣтелью или знатнымъ рожденіемъ, видѣлъ всю громадность опасности (предстоявшаго дѣла), но въ общественныхъ мѣстахъ старался казаться спокойнымъ и держаться соотвѣтственно своему положенію. Дома же онъ былъ совсѣмъ другимъ человѣкомъ. Часто забота пробуждала его отъ сна. Онъ до того былъ погруженъ въ мысли о трудностяхъ его предпріятія, что безпокойство его не скрылось отъ его жены, которая догадалась, что онъ носится съ планами, въ высшей степени опасными и сложными“ *).

Брутъ не холодный и ограниченный человѣкъ, ничего впереди себя не видящій и поэтому ничѣмъ не смущающійся. Онъ знаетъ, что такое душевная борьба; его отчаяніе не знаетъ предѣловъ. Но не оттого, что ему „нужно“ связать распавшуюся связь временъ, а оттого, что онъ связываетъ ее, что онъ принялъ на себя этотъ нечеловѣческій трудъ. Въ Кассіи говоритъ слѣпая ненависть. Онъ—типическій за-

*) 1b. гл. 13.

говорщикъ—страстный, возбужденный, ничего, кромѣ своего предпріятія не знающій и знать не желающій. Его слѣпота—его сила. Для него весь міръ не существуетъ. Ему нужно только столкнуть съ пути Цезаря. Но Брутъ все видитъ, все чувствуетъ и глубоко страдаетъ отъ невозможности примирить всѣ запросы своей души. Цезарь—ему лучшій другъ. Онъ любитъ Цезаря, которому обязанъ жизнью. Цезарь еще не проявилъ открыто своихъ честолюбивыхъ замысловъ; и быть можетъ—это требуетъ еще разрѣшенія—и не проявитъ. Предпріятіе—необыкновенно опасное: ставишь на карту жизнь свою, быть можетъ, и честь—жизнь близкихъ друзей, счастье жены. И противъ всего этого—свобода или рабство Рима. На мѣстѣ Брута, какъ легко снялъ бы съ себя Гамлетъ необходимость вмѣшаться въ это дѣло. Для него будущее рабство Рима—пустое слово, безсодержательное понятіе, которымъ онъ не можетъ жить. Онъ знаетъ, что „свобода"—„хорошо", а „рабство"—„дурно". Но это „хорошо" и „дурно" совсѣмъ иное, чѣмъ то „хорошо", которымъ наслаждается человѣкъ, когда, заключившись въ орѣховую скорлупу, считаетъ себя королемъ необъятнаго пространства, и то „дурно", отъ котораго страдаетъ человѣкъ, когда его выбросятъ изъ скорлупы въ море, когда распадется связь временъ. А если такъ, то можетъ ли такое „хорошо", какъ свобода Рима, перетянуть одну чашку вѣсовъ, когда на другой будетъ потеря покоя. У Гамлета свобода, какъ понятіе, считается „выше", чѣмъ личное благо. Но это „выше" какое-то внѣшнее, чужое, какъ будто только затѣмъ и существующее, чтобъ опредѣлять различіе двухъ представленій. Какая-то посторонняя сила, противъ которой нельзя открыто возстать, болѣе того—которую нужно хвалить, навязала ему это „выше" и запретила даже и мысль, что можно иначе думать. Реальнаго значенія свобода Рима не имѣетъ для Гамлета, какъ почти все въ жизни. Любить ее, цѣнить, какъ то, безъ чего жизнь немыслима, онъ не умѣетъ. И поэтому, чѣмъ сильнѣе и громче онъ будетъ воздавать ей похвалу открыто, тѣмъ энергичнѣе всѣмъ существомъ своимъ онъ

будетъ бѣжать къ пріятному покою орѣховой скорлупы, гдѣ о свободѣ и рабствѣ пишутся философскіе трактаты. Тамъ, гдѣ сталкиваются у Гамлета жизненные интересы — онъ не размышляетъ, ибо его ничто не удерживаетъ. Онъ бьется съ корсарами, посылаетъ въ Англію на смерть двухъ друзей молодости. Здѣсь Гамлета медлителя нѣтъ. Здѣсь принцъ не спрашиваетъ себя „что благороднѣе, что лучше“— сносить или возстать? Но „отецъ убитъ“, „престолъ Даніи постелью сталъ для гнуснаго разврата“—и это для Гамлета преступленія Нерона и Клеопатры, это лежитъ внѣ его, не связано съ нимъ. Эти событія не прибавляютъ ему способности негодовать, не рождаютъ въ немъ потребности итти дальше привычнаго „размышленія“. Всѣми силами старается онъ подогрѣть себя, наполнить потерявшія для него смыслъ слова „убійство“, „кровосмѣшеніе“. Какъ разрисовываетъ онъ благородство и достоинства покойнаго отца, какимъ отвратительнымъ изображаетъ онъ „смѣющагося злодѣя“ Клавдія, какіе эпитеты придумываетъ онъ для преступленія матери! И все это—„слова, слова, слова“, все это— категоріи, пестрыя, рѣзко бьющія въ глаза—но безсодержательныя. Что же подвигло бы Гамлета къ борьбѣ за свободу Рима, если ни смерть отца, ни безчестье матери не заставило его пойти противъ дяди? Очевидно, этотъ вопросъ былъ бы разрѣшенъ для Гамлета въ тотъ же моментъ, когда былъ поставленъ. А вслѣдъ за тѣмъ наступило бы размышленіе, которое даже въ одномъ изъ столькихъ contra нашло бы вполнѣ удовлетворяющее богоподобный разумъ объясненіе бездѣйствія. Помимо любви и благодарности къ Цезарю, достаточно было бы одного сомнѣнія въ томъ, дѣйствительно-ли онъ ищетъ власти, чтобъ оправдать тайное стремленіе къ покою. А затѣмъ, какъ поднять руку на того, кто спасъ жизнь? Какъ убить друга? Опасность предпріятія, послѣдствія убійства!.. Тутъ не только Гамлетъ, который всю свою жизнь сводитъ къ „мышленію“ и ничего, кромѣ покоя, не ищетъ и не цѣнитъ,—тутъ всякій, въ комъ было бы немного желанія сберечь себя, кто стремился бы только изображать

предъ собой и другими орла, рвущагося на свободу, а въ душѣ предпочиталъ бы клѣтку, нашелъ бы достаточно предлоговъ, чтобъ облечь въ идеальнѣйшія одежды слабость своего духа. Но у Брута нѣтъ этого. Въ мучительномъ процессѣ вырвалъ онъ изъ своего сердца и любовь къ Цезарю, и благодарность, и опасенія за исходъ дѣла, и любовь къ Порціи, и глубокую ненависть къ пролитію крови, и отвращеніе къ тайному убійству. Предъ нимъ была свобода—не понятіе, не то, что „должно“ чтить, а что было ему дороже всего на свѣтѣ. Рабство не было для него словомъ иного цвѣта, чѣмъ свобода, а несчастіемъ, истиннымъ горемъ, которое отравило бы ему всю жизнь. Не внѣ его раздался повелительный голосъ, требовавшій отъ него великой жертвы ради чего-то ему чуждаго, а въ немъ самомъ. И этотъ голосъ покрылъ собою всѣ другіе голоса: безъ свободы — дружба, любовь, семья, наука, искусство — все увядаетъ, какъ цвѣты безъ солнца.

И Брутъ тоже—мыслитель, какъ и Гамлетъ, тоже — философъ. Но онъ „мыслитъ“ иначе. Ему не нужно прежде перестать быть человѣкомъ, спеціализироваться въ изслѣдователя, въ философа, со всѣми специфическими особенностями, присущими людямъ этого типа, чтобы потомъ, отрѣшившись отъ жизни, начать разбирать ее. Жить и мыслить у него не два раздѣленные, противоположные одинъ другому процесса, а одинъ. Поэтому, вѣчнаго противорѣчія, какъ господствующаго настроенія, у него не можетъ быть. У него прошлое, настоящее и будущее отдаленные и близкіе люди—все имѣетъ цѣну, какъ каждый конкретный предметъ. Рабства нѣтъ еще—оно лишь грозитъ, но Брутъ уже чувствуетъ его ужасъ. Для Гамлета, какъ для истиннаго „мыслителя“, Клавдій обращается въ историческаго Нерона, мать въ почти миѳическую Клеопатру, человѣкъ въ квинтъэссенцію праха, жизнь въ „цвѣтеніе“. Брута—будущее рабство гнететъ, какъ недавняя тяжкая обида. Для Гамлета жизнь сонъ, для Брута сонъ обращается въ бдѣніе.

Теперь послушаемъ монологъ Брута. Слова точно выкованы изъ желѣза. На нихъ нѣтъ и слѣда безсонныхъ ночей, тяжелыхъ переживаній. Такой твердости и ясности Гамлетъ не достигъ бы и въ чисто теоретическихъ проблемахъ. А каждое слово Брута куплено кровью, добровольно принятыми на себя муками. Ничего не преувеличено, ничего не скрыто; ни жалобы на судьбу, ни ужаса предъ будущимъ. Это все побѣждено, все отступило предъ тяготѣющей надъ Римомъ грозной опасностью рабства. Нужно принять тяжелое бремя, нужно рѣшиться на ненавистное сердцу дѣло. Но есть зачѣмъ, и вся душа покоряется одной мысли, одному желанію. Внутренняя борьба не сломила Брута и не испугала его. Онъ вышелъ изъ нея побѣдителемъ, полнымъ жизни и вѣры въ свое дѣло. И это слышно въ каждой, произносимой имъ, фразѣ:

Лишь смертію его возможно намъ
Достигнуть цѣли. Но къ нему я злобы
Не чувствую; стремлюсь я къ общей пользѣ.
Ему короны хочется—вопросъ:
Измѣнитъ ли она его характеръ?
При свѣтѣ дневномъ гады выползаютъ:
Тогда должны подъ ноги мы смотрѣть.
Короновать его? Прекрасно! Черезъ это
Ему дадимъ мы жало, и тогда
По произволу намъ грозить онъ будетъ.
Величіе клонится къ вреду, когда
Могуществомъ заглушена въ насъ совѣсть.
О Цезарѣ сказать я долженъ правду:
Я никогда не замѣчалъ, чтобъ страсти
Сильнѣй разсудка были въ немъ. Но опытъ
Насъ научаетъ, что смиренье—то же,
Что лѣстница для новыхъ честолюбцевъ:
Входя—лицо они къ ней обращаютъ;
Взойдя же—къ ней становятся спиною,
Взоръ тотчасъ устремляютъ къ облакамъ
И презираютъ мелкія ступени,
По коимъ до вершины добрались.
То жъ можетъ быть и съ Цезаремъ—и надо
Предупредить возможность эту Правда.

Въ томъ, что теперь онъ—нѣтъ къ враждѣ предлога;
Но обратимъ вниманье—до какихъ
Онъ крайностей дойдетъ, когда значенье
Его усилится. Мы на него должны
Смотрѣть, какъ на змѣиное яйцо:
Дай выйти изъ него плоду—и много
Онъ причинитъ вреда, по злой природѣ.
Убьемъ же лучше гада въ скорлупѣ!

Вотъ размышленія Брута; это—заключеніе творческаго душевнаго процесса: оно приводитъ къ твердому рѣшенію, подобно тому, какъ у поэта изъ многочисленныхъ „колеблющихся образовъ“, послѣ тяжкаго и мучительнаго душевнаго напряженія, рождается полная жизни картина. Измѣреніе и взвѣшиваніе раскрашенныхъ понятій—работа Гамлетовской „мысли“ — даетъ въ концѣ концовъ новое раскрашенное понятіе, которое, какъ бы ярко оно ни было, не заставитъ встрепенуться душу бѣднаго принца. Гамлету нужно не лучше увидѣть, не внимательнѣе разсмотрѣть то, что онъ разглядывалъ до сихъ поръ, а узнать нѣчто совсѣмъ иное: ему необходимо выстрадать себѣ пробужденіе, хотя бы то маленькое, которое зналъ актеръ. Когда онъ впервые заплачетъ надъ Гекубой, онъ узнаетъ, „что благороднѣе, что лучше“, онъ научится искусству говорить желѣзныя слова Брута, пойметъ, что они идутъ не изъ внѣшняго горнила, а, какъ лучшая кровь его, текутъ изъ сердца. Когда онъ будетъ поститься днемъ, не спать по ночамъ, когда ему станетъ такъ безконечно дорогъ отецъ, такъ безъисходно мучителенъ позоръ матери, такъ отвратителенъ убійца Клавдій, какъ Бруту противно рабство и дорога свобода, тогда узнаетъ онъ, какъ связывается распавшаяся связь временъ, и не будетъ безпомощно рыдать, подобно ребенку увидѣвшему ножъ хирурга, а смѣло, какъ мужъ, пойдетъ на муки, ибо онѣ не противъ жизни, а для жизни. Пусть научится терзаться за самого себя, пусть измучится сознаніемъ, что онъ не лучшій, а худшій, что онъ — трусъ, рабъ, и тогда цѣнность жизни и смыслъ ея станутъ ему понятны. Онъ станетъ инымъ

въ жизни самъ и создастъ иную философію, которая не отвергнетъ человѣка, а объяснитъ его, которая не унизитъ приниженнаго, а возвыситъ. При ровномъ, отвлеченномъ существованіи творческая мысль погибаетъ. Брутъ, типъ древняго философа, пусть служитъ примѣромъ и образцомъ для нашего поколѣнія ученыхъ. Онъ взялся за книги, чтобы при ихъ помощи лучше понять жизнь, а не ушелъ въ книги, чтобы ими жить. И поэтому—онъ и въ жизни, и въ наукѣ на своемъ мѣстѣ. Гамлетъ же, и какъ философъ, и какъ практическій дѣятель, одинаково несостоятеленъ.

XII.

Брутъ вездѣ остается самимъ собою. Всѣ его мысли и поступки, какихъ бы предметовъ они ни касались, говорятъ намъ о Брутѣ, какъ листья одного дерева о корняхъ, отъ которыхъ они получили свое питаніе. Мальчикъ докладываетъ ему, что его спрашиваютъ какіе-то люди. Брутъ знаетъ, что это заговорщики. Они напоминаютъ ему, что его ждетъ: что завтра ему, Бруту, нужно будетъ притворяться, лгать, все затѣмъ, чтобы своею рукою вырвать жизнь у любимаго друга, у того, кто ему такъ вѣрилъ, кому онъ столь многимъ обязанъ. Изъ устъ его вырываются горькія слова, въ которыхъ слышатся всѣ мучительныя переживанія его:

О заговоръ! ужели ты стыдишься
Открыть свое опасное чело
И въ тьмѣ ночной, которая даетъ
Злодѣйствамъ наибольшую свободу?
О, если такъ, то гдѣ найдешь ты пропасть,
Чтобъ спрятать днемъ чудовищный свой ликъ?
И не ищи—прикрой его улыбкою
И лаской: коль будешь ты ходить
Въ своемъ природномъ образѣ, то даже
Эреба мракъ тебя не защититъ.

Въ послѣдній разъ взглянулъ онъ на своего друга, на свое прошлое. Онъ отдалъ имъ дань своей любви—отнынѣ больше нѣтъ у него для нихъ ничего. Его зоветъ Римъ—

нужно проститься съ Цезаремъ. Его зоветъ свобода—нужно рѣшиться на заговоръ—ему, Бруту, для котораго простое притворство, простая ложь—ненавистны.

Но въ разговорѣ съ товарищами по страшному дѣлу Брутъ снова твердъ и непоколебимъ. Вся горечь, вся боль пережитаго загнана въ глубь души. Никто и не подозрѣваетъ, какою цѣною далась Бруту смерть Цезаря, слушая его ясныя, обдуманныя рѣчи. Кассій предлагаетъ принести клятвы. Брутъ говоритъ, что не нужно клятвъ:

Когда позоръ передъ лицомъ людей,
Когда душевныя страданья наши,
Неправды этихъ бѣдственныхъ временъ—
Когда всѣ эти побужденья слабы,
То разойдемся во время; пусть каждый
Опять на ложе праздное свое
Отправится сейчасъ отсюда.

Вотъ Брутъ! У него слова убѣжденія не для себя, а для другихъ. Эти слова—лишь слабый отблескъ его мыслей и чувствъ; и они способны замѣнить клятвы, наполнить отвагой духъ человѣка. Онъ не расписываетъ, не преувеличиваетъ, не накладываетъ слоевъ яркихъ красокъ. Онъ кратокъ, ибо у него есть, что сказать. И это—истинный ораторъ, который убѣждаетъ и вдохновляетъ не разнообразіемъ многословія, а силой и глубиной своего чувства. Возможно ли доказать, что позоръ—нехорошъ, что нужно положить конецъ злоупотребленіямъ тирана, что нужно устранить несправедливость? Спящему человѣку сонъ кажется лучшимъ существованіемъ. Разбудите его, покажите ему иную жизнь, не скованную легкими мечтами, а глубокую и свободную, и онъ съ радостью возьметъ ее, вмѣсто сна или прозябанія. Люди принимаютъ и ярмо, и обиды, и бичъ, и всю ту неправду, о которой говоритъ Гамлетъ, не потому, что ихъ пугаетъ неизвѣстность, ждущая за гробомъ, а потому, что они не знаютъ иной жизни; имъ кажется, что та маленькая доля покоя и радостей, которая все-же и при тиранѣ и при неправдѣ остается для человѣка—это все,

что можетъ дать жизнь. Они не знаютъ, зачѣмъ возставать, зачѣмъ искать лучшаго. Гамлетъ удивляется, что могильщикъ копаетъ могилу—и поетъ, но ему не страшно, что на тронѣ дядя-отецъ, убившій его отца и тетка-мать, обратившаяся въ наложницу убійцы, а онъ самъ разсуждаетъ объ Александрѣ Великомъ! Дѣло ораторовъ, поэтовъ, пророковъ звать прежде всего людей къ новой жизни, а для этого имъ, прежде всего, надо самимъ знать и цѣнить ее:

Въ злыхъ дѣлахъ клянутся
Сомнительные люди; но къ чему
Пятнать мы станемъ доблесть нашихъ цѣлей
И силу непреклонную души
Той мыслію, что наши предпріятья
И дѣйствія имѣютъ нужду въ клятвахъ?
Не каждая ли крови капля въ жилахъ
У Римлянина незаконной станетъ,
Когда изъ обѣщаній, данныхъ имъ,
Нарушитъ онъ хоть малую частицу?

Сравните эти простыя, вдохновенныя слова Брута съ искусственнымъ витійствомъ Антонія, произносящаго свою рѣчь надъ трупомъ Цезаря. У Брута слова скорѣй мѣшаютъ ему, чѣмъ помогаютъ его цѣли—перелить въ товарищей свою душу. Онъ говоритъ, ибо иначе нельзя сообщаться съ людьми. Но еще больше, чѣмъ его словамъ, вѣрятъ его убѣжденности и силѣ, которая у всѣхъ вызываетъ подъемъ духа, готовность жить иначе, шире, полнѣе, чѣмъ они жили до сихъ поръ. Когда Брутъ произноситъ слово „позоръ“, которое, какъ умное слово въ ушахъ глупца, спало въ ушахъ лѣниваго—оно пробуждаетъ. Когда Брутъ произноситъ слово „честь“, становится ясно, что честь величайшее благо.

И это только потому, что Брутъ самъ чувствуетъ, какъ отвратителенъ позоръ, и какъ цѣнна свобода, только потому, что для него свобода въ дѣйствительности лучшее благо, а позоръ—высшее несчастіе. Это не нѣчто условно необходимое, должное, выученное изъ прописей, молитвенниковъ или философскихъ книгъ; это то—изъ чего жизнь. И кто живетъ—

тотъ не мирится съ рабствомъ, кто былъ свободенъ—тотъ не вынесетъ позора. Суббота для человѣка, а не человѣкъ для субботы. Только полная прибитость жизни могла породить чудовищную мысль, что свобода, честь, все то, что мы называемъ нравственностью, долгомъ, есть выдумка одного богоподобнаго разума, стремящагося на зло нашей природѣ измышлять для нея суровые и трудные законы. Мы ищемъ лучшаго и высшаго и находимъ его, если не отступаемъ изъ трусости, т. е. изъ нравственной лѣни. Если покой прельщаетъ и заставляетъ мириться даже съ рабствомъ, то это лишь потому, что люди не знаютъ свободной жизни. Для Брута—выбора нѣтъ. Онъ рабства не приметъ, онъ не вынесетъ позора, какъ Гамлетъ не стерпѣлъ бы обиды, нанесенной ему лично, какъ Ромео не пережилъ смерть Юліи. Любовь къ Риму побѣдила любовь къ Цезарю—онъ самъ это скажетъ въ своей рѣчи къ народу. Для Гамлета же этой любви не существовало. Онъ забылъ смерть отца, покинулъ Офелію, оставилъ свою мать на ложѣ убійцы—а дрался съ корсарами, подводилъ подкопъ аршиномъ глубже подъ Розенкранца и Гильденштерна. Для него жизнь кажется на половину сномъ, какъ говоритъ Брандесъ. Шопенгауеръ тоже утверждаетъ, что каждый философъ долженъ испытывать такое чувство, будто жизнь—сонъ. Иначе и быть не можетъ. Оттого-то философы и понимаютъ жизнь, какъ цвѣтеніе на поверхности. Гамлетъ, однако, лучше формулируетъ это настроеніе, когда прибавляетъ къ сну еще ѣду. Но Брутъ—истинный философъ, т. е. думающій и чувствующій человѣкъ. Жизнь для него жизнь, а не мимолетный сонъ, и люди для него—люди, а не видѣнія, поэтому-то онъ и не можетъ быть пассивнымъ зрителемъ—а вмѣшивается въ событія, ищетъ все сдѣлать лучше. Посмотрите, какой глубокій интересъ проявляетъ онъ ко всему, что окружаетъ его. Кассій предлагаетъ убить Антонія—Брутъ отклоняетъ его предложеніе. Для него Антоній не перестаетъ быть человѣкомъ, даже тогда, когда опасность и крайнее напряженіе душевныхъ силъ должно было бы его заставить всѣхъ и все позабыть. Гамлетъ отпра-

вляетъ Розенкранца и Гильденштерна на смерть такъ, между прочимъ, безъ всякой нужды, а Клавдія не убиваетъ. Брутъ же говоритъ Кассію:

Не будемъ мы, мой Кассій, мясниками,
Мы Цезаря лишь въ жертву принесемъ:
Противъ его мы духа возстаемъ,
А духъ людей вѣдь не имѣетъ крови.
О, если бы, его не убивая,
Могли его мы духомъ овладѣть.
Но онъ—увы! За этотъ духъ страдая,
Кровавой смертью долженъ умереть.
Убьемъ его мы смѣло, но безъ гнѣва,
Какъ жертву приносимую богамъ:
Не станемъ рвать его въ куски, какъ трупъ,
Бросаемый на пищу псамъ голоднымъ.

Цезаря Брутъ приноситъ въ жертву, ибо иначе нельзя овладѣть его духомъ! Какая разница между Брутомъ, съ одной стороны, и Октавіемъ съ Антоніемъ—съ другой. Эти послѣдніе, какъ только имъ удалось изгнать изъ Рима своихъ противниковъ, первымъ дѣломъ занялись проскрипціями. И въ списки заносились не только тѣ, которые казались опасными для ихъ честолюбивыхъ замысловъ, но всѣ, кто сколько-нибудь былъ непріятенъ тріумвирамъ. Приведемъ любопытнѣйшее мѣсто изъ Плутарха объ ихъ совѣщаніи: „по всѣмъ спорнымъ пунктамъ они сошлись безъ особенныхъ затрудненій и подѣлили межъ собой римское государство, какъ отеческое наслѣдіе; много хлопотъ принесло имъ лишь разногласіе по поводу тѣхъ людей, которыхъ они обрекали на смерть, ибо каждый искалъ погубить своихъ враговъ и спасти своихъ родственниковъ. Наконецъ, они пожертвовали ненависти къ своимъ противникамъ любовью и уваженіемъ, которыми они были обязаны своимъ друзьямъ и роднымъ, такъ что Цезарь (Октавій) уступилъ Антонію Цицерона (котораго хотѣлъ защитить), Антоній же, взамѣнъ этого, внесъ въ списки Люція Цезаря, своего дядю съ материнской стороны. И Лепиду было дозволено умертвить сво-

его брата Павла, хотя нѣкоторые и утверждаютъ, что Ленидъ согласился на смерть брата лишь вслѣдствіе требованія товарищей. Ничего не можетъ быть ужаснѣе и безчеловѣчнѣе, нежели этотъ обмѣнъ. Ибо, обмѣнивая убійство на убійство, каждый обрекалъ на смерть и тѣхъ, которыхъ ему выдавали товарищи, и тѣхъ, которыхъ онъ выдавалъ товарищамъ, и тѣмъ виновнѣе оказывался предъ своими друзьями, на жизнь которыхъ онъ посягалъ, даже не имѣя къ нимъ ненависти" *). Нужно сравнить этотъ разсказъ Плутарха (онъ у Шекспира воспроизведенъ) объ образѣ дѣйствія Антонія и Октавія съ поведеніемъ Брута, и тогда лишь станетъ ясно, насколько умѣлъ Брутъ возвыситься надъ своимъ временемъ. Съ одной стороны безчеловѣчное—даже для древняго писателя—звѣрство тріумвировъ, и съ другой стороны—гуманность и мягкость Брута, какія и въ наше „мягкое" время рѣдко встрѣтить. Онъ знаетъ, что Антоній—врагъ, понимаетъ, что онъ можетъ оказаться опаснымъ—и тѣмъ не менѣе не хочетъ убивать его, когда не видитъ къ тому необходимости. Онъ не мясникъ, онъ не искатель славы и величія, и каждая лишняя капля пролитой крови—для него тяжелая жертва. Въ немъ ни философія, ни война, ни общественная дѣятельность, ни даже атмосфера Помпея и Цезаря не въ силахъ была убить живого человѣка. И это-то поразило Шекспира, и поэтому-то онъ изъ всѣхъ описанныхъ Плутархомъ великихъ людей избралъ въ герои своей римской драмы Брута, хотя Брутъ, по складу своей души, не напоминалъ ни древняго римлянина, ни римлянина возникающей Имперіи. Въ немъ нѣтъ сухого, принципіальнаго стоицизма Катона, онъ не знаетъ разнузданныхъ страстей Антонія, ему чужда идея „быть первымъ", которую олицетворилъ собою Цезарь. Въ немъ „стихіи такъ соединились", что онъ могъ стать великимъ, не переставъ быть „человѣкомъ". Ему не пришлось обратиться въ мясника, чтобъ убить Цезаря. Онъ, заговорщикъ, онъ, поднявшій руку на

*) Плутархъ, Маркъ Антоній, гл. 29.

лучшаго друга, остается все-таки гуманнымъ, честнымъ Брутомъ, ибо его рукой правитъ не ненависть, а любовь. Для насъ это кажется почти невѣроятнымъ, это такъ противорѣчитъ всѣмъ обычнымъ представленіямъ нашимъ о винѣ, преступленіи и наказаніи. Тѣмъ болѣе внимательно слѣдуетъ вслушаться и вдуматься въ слова величайшаго изъ поэтовъ: человѣка нужно наказывать не за вину его, не изъ ненависти къ нему, порожденной тѣмъ или инымъ поступкомъ, не изъ чувства мести, а лишь потому, что „иначе нельзя овладѣть его духомъ". И тотъ, кто, какъ Брутъ, убилъ любя— тотъ совершилъ двойной подвигъ. Онъ не унизился до равнодушія или злобы къ жертвѣ, т. е. остался самимъ собою и, вмѣстѣ съ тѣмъ, исполнилъ то, что отъ него, по его разумѣнію, требовали обстоятельства и время.

У Гамлета, вопреки всему, что разсказываетъ Брандесъ, нѣтъ и вопроса о томъ, можно ли убивать. Болѣе того, онъ убиваетъ, и безъ всякой нужды, двухъ бывшихъ своихъ друзей,—только потому, что они ввязались въ дѣло. Брута же Шекспиръ возвысилъ до своего пониманія наказанія и преступника, при которомъ наказаніе допускается лишь потому, что иначе нельзя овладѣть духомъ человѣка. Эта великая мысль,—до которой еще не додумалось даже наше время, обращающее людей въ злодѣевъ, чтобъ имѣть болѣе красивый предлогъ и объясненіе живущему въ нихъ чувству мести,—была безусловно чужда англійскому возрожденію, еще такъ близко связанному съ эпохой Генриха VIII, при которомъ до 75,000 человѣкъ были казнены за бродяжничество и мелкое воровство, эта мысль могла явиться только у Шекспира, такъ глубоко понимавшаго и цѣнившаго человѣка. Новѣйшая философія, хотя бы Канта, осуждаетъ состраданіе и оправдываетъ жестокость правосудія. Но Брутъ философъ, не порвавшій связи съ жизнью, и формальныя построенія не могутъ завести его въ сферы тѣхъ абстракцій, гдѣ человѣкъ становится понятіемъ. Оттого-то Брутъ, хотя онъ и много учился, не кажется, сравнительно съ другими людьми, существомъ особаго рода. Онъ только выше, чище,

глуже другихъ. Посмотрите на его отношенія къ Порціи. Заговорщикъ, воинъ, философъ, онъ не перестаетъ любить свою жену и стремиться къ тому, чтобъ и ее, какъ и всѣхъ, кто соприкасается съ нимъ, сдѣлать выше и лучше. Сперва онъ намѣревается скрыть отъ нея свои планы. Но, когда она разсказываетъ ему, что поранила себѣ бедро, чтобъ испытать свою выносливость, Брутъ обѣщаетъ все открыть ей. Читая эту сцену даже у Плутарха (она цѣликомъ у него заимствована Шекспиромъ), видя, какъ Брутъ умѣетъ вдохнуть столько любви и мужества въ женщину, понимаешь великія слова, которыми заканчивается „Юлій Цезарь". Когда слушаешь Порцію, становится ясно, какъ осмысленна и полна можетъ быть связь между мужчиной и женщиной, даже въ томъ случаѣ, когда мужчина идетъ на великій подвигъ.

Когда мужчины норовятъ попасть на „праздное ложе" и берутъ въ руки черепа, чтобъ не глядѣть въ глаза настоящей смерти или даже невзгодамъ, они держатся, вмѣстѣ съ Брандесомъ, гамлетовскихъ максимъ о женщинахъ. И даже Шекспиру ихъ приписываютъ, забывая, что „Юлій Цезарь" былъ написанъ одновременно съ „Гамлетомъ". Брандесъ знаетъ, что дѣлаетъ, приписывая великому поэту гамлетовскую философію. Онъ угадалъ вкусы образованной толпы и преподноситъ ей подъ названіемъ новѣйшей философіи (т. е. самаго лучшаго, что бываетъ на свѣтѣ) именно то отношеніе къ людямъ, вообще, и къ женщинамъ, въ частности, которое дѣлаетъ жизнь наиболѣе легкою.

Еще любопытная черта Брута—эта нѣжность, которую онъ проявляетъ къ своему слугѣ, мальчику Люцію. Послѣ ссоры съ Кассіемъ, послѣ того, какъ подтвердилось извѣстіе о смерти жены, въ виду предстоящей битвы съ Антоніемъ и Цезаремъ, Бруту не спится. Чтобы отогнать невеселыя мысли, онъ проситъ Люція сыграть на арфѣ. Люцій начинаетъ играть и—засыпаетъ. Брутъ говоритъ:

О злодѣйскій сонъ!
Ты опустилъ уже свой жезлъ свинцовый
На мальчика, сидящаго за арфой.

Спокойной ночи, добрый мой слуга!
Къ тебѣ не буду я жестокъ: не стану
Тебя будить. Покачиваясь такъ,
Ты арфу разобьешь! Возьму ее
Изъ рукъ твоихъ. Теперь—спокойной ночи!

Сколько нѣжности и заботливости въ этихъ словахъ. И кто ихъ произноситъ? Убійца Цезаря! Какъ великъ былъ тотъ человѣкъ, кто могъ рѣшиться на убійство, имѣя столь нѣжную, младенческую душу!

XIII.

Но поразительнѣе всего сказывается Брутъ въ той рѣчи, которую онъ произнесъ предъ народомъ послѣ убійства Цезаря. Заговорщику для своего оправданія не нужно было ни одного слова лжи! Онъ могъ открыто, до малѣйшихъ подробностей, разсказать горожанамъ все, что подвигнуло его къ рѣшительному шагу. Антоній говоритъ, что Брутъ—ораторъ. Нѣтъ, Брутъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимали тогда это слово—не ораторъ. Въ его рѣчахъ нѣтъ никакихъ украшеній, онъ брезгаетъ всѣми искусственными пріемами краснорѣчія—какъ молодая дѣвушка румянами и бѣлилами. У него есть правда, которая сильнѣе и искуснѣе всѣхъ ухищреній риторики. И онъ естественно бѣжитъ всякой лжи, всей блестящей мишуры, даваемой выучкой, школьными правилами. Онъ говоритъ: „Если въ этомъ собраніи есть кто-нибудь изъ искреннихъ друзей Цезаря, то скажу ему, что я любилъ Цезаря не меньше, чѣмъ онъ. Если онъ спроситъ: почему же Брутъ возсталъ противъ Цезаря? то я ему отвѣчу: не потому, что я любилъ Цезаря меньше, а потому—что я любилъ Римъ больше. Чего бы вы больше желали: видѣть ли Цезаря въ живыхъ и умереть всѣмъ рабами, или же видѣть его мертвымъ и жить всѣмъ людьми свободными? Цезарь меня любилъ—и я плачу о немъ; онъ былъ счастливъ, и я этому радуюсь; онъ былъ доблестенъ—и я чту его; но онъ былъ властолюбивъ—и я его убилъ“. Затѣмъ въ заклю-

ченіе онъ говоритъ: „для блага Рима я убилъ своего лучшаго друга; пусть же этотъ кинжалъ послужитъ и противъ меня, если моя смерть понадобится отечеству“! И, когда смерть его понадобилась,—онъ не побоялся ея. Его рѣчь, объяснила его всего.

А его жизнь оправдала его отъ всѣхъ упрековъ, которые возводились на него неразборчивыми людьми. Еще разъ скажемъ: Брутъ „для блага Рима убилъ своего лучшаго друга“, и это было не убійство, а величайшій нравственный подвигъ.

Въ четвертомъ дѣйствіи знаменитая сцена ссоры и примиренія Брута къ Кассіемъ. Кассій позволилъ себѣ рядъ неблаговидныхъ поступковъ—и Брутъ требуетъ отъ него объясненій, которыхъ тотъ, конечно, дать не можетъ. Слѣдя за словами Брута, не знаешь, чему больше дивиться, силѣ-ли его и энергіи, глубокой-ли честности или мягкости—или тому, что всѣ эти свойства, и сами по себѣ такъ рѣдко встрѣчающіяся въ людяхъ, соединились въ одномъ человѣкѣ.

Убійца Цезаря говоритъ:

Вспомни иды Марта!
Не ради-ль правосудія погибъ
Великій Юлій? Гдѣ тотъ негодяй,
Который поразилъ его кинжаломъ
Не ради правосудія? Ужели
Одинъ изъ насъ, которые убили
Первѣйшаго изъ всѣхъ людей на свѣтѣ
За то, что въ немъ опору находили
Грабители, теперь рѣшится руки
Свои марать постыднымъ лихоимствомъ
И поприще обширное почета
За горсть ничтожной дряни продавать?
Нѣтъ, я готовъ скорѣе быть собакой
И лаять на луну, но не хочу
Такимъ быть римляниномъ.

Кассій невольно отступаетъ предъ своимъ молодымъ другомъ. Чѣмъ отвѣтитъ онъ Бруту? Что противопоставитъ

онъ его простымъ, искреннимъ словамъ? Гнѣвъ, безсильную злобу, которые вызовутъ лишь презрѣніе у Брута:

Прочь, жалкій человѣкъ!

говоритъ онъ Кассію. И точно, Кассій жалокъ предъ Брутомъ, Кассій страшный заговорщикъ, въ головѣ котораго впервые возникла смѣлая мысль объ убійствѣ Цезаря. Кассій искалъ власти и славы, и для него всѣ пути были равно хороши. Если онъ избиралъ одни, а не другіе, то больше изъ приличія, изъ страха предъ общественнымъ мнѣніемъ, изъ привычки къ извѣстнымъ правиламъ поведенія, которыя съ дѣтства при немъ всегда называли „лучшими“. Но когда эти „лучшіе“ пути очень трудны, онъ покидаетъ ихъ для болѣе легкихъ.

Брутъ говоритъ ему:

За деньгами къ тебѣ я посылалъ,
Но получилъ отказъ. Но не могу жъ я
Ихъ низкими путями добывать.
Клянуся небомъ, я готовъ скорѣе
Перечеканить сердце на монету
И перелить всю кровь мою на драхмы,
Чѣмъ вырывать изъ заскорузлыхъ рукъ
Поселянина жалкій заработокъ.

Брутъ не можетъ вырвать изъ заскорузлыхъ рукъ поселянина его жалкій заработокъ, и изъ этого чувства выработалась его „честность“—за нее нечего бояться. Она соткана изъ „тончайшихъ сердечныхъ струнъ“, и ее не вырветъ Брутъ, какъ не вырветъ любви къ Порціи. Для людей, подобныхъ Бруту, высшій законъ въ ихъ душѣ. Они не принимаютъ традиціонныхъ императивовъ, какъ максимума того, что „можно“, дозволяется дѣлать, за что не осудятъ люди и исторія. Они учатъ людей и исторію, какъ нужно судить. Въ то время, какъ Антоній и Кассій грабятъ провинціи—и на это всѣ смотрятъ съ такой легкостью, съ какой относятся къ принятымъ человѣческимъ „слабостямъ“, у Брута выросло свое „нельзя“, о которомъ Кассій и не подозрѣваетъ. Брутъ не можетъ вырывать жалкій заработокъ изъ заскорузлыхъ

рукъ поселянина и скорѣе дастъ перечеканить свое сердце на монеты, чѣмъ обидитъ бѣднаго человѣка. Это для всякаго римлянина было „pium desiderium“, т. е. пустое слово, которое вставлялось, какъ и всякая другая ложь, для украшенія въ ораторскія рѣчи, но которое отбрасывалось, какъ ненужное стѣсненіе, въ жизни. Для Брута оно не стѣсненіе, какъ не стѣсненіе сдѣлать для себя то, что нужно, хотя бы это и тяжело было. У него всегда источникъ его поступковъ— онъ самъ.

Онъ плачетъ по Гекубѣ, а не огорчается, что не можетъ подобно актеру, плакать надъ ней. Что ему поселянинъ, что онъ поселянину? А изъ-за него онъ готовъ порвать со своимъ другомъ и союзникомъ въ виду приближающейся арміи враговъ. Эти „правила“, такая „честность“, которая выросла изъ существа человѣка, не станетъ для него „унылымъ долгомъ“. Такой „долгъ“ ведетъ не къ душевной трещинѣ, а къ созиданію новыхъ идеаловъ. Гамлетъ со всѣмъ, что внѣ его, связанъ идеею. Онъ не можетъ порвать этой связи, но она мучительно тяготитъ его. Брутъ связанъ съ поселяниномъ, съ Римомъ, съ Люціемъ, съ Порціей—какъ съ самимъ собою. Гамлетъ вдохновится соперничествомъ Лаэрта, Брутъ нуждой бѣдняка, несчастіемъ Рима, слабостью Люція. Гамлетъ поэтому не исполнитъ того, что приказано ему тѣнью милаго, убитаго отца. Брутъ твердо глядитъ въ лицо враждебнаго ему духа Цезаря и идетъ къ своему дѣлу.

Сюжеты „Юлія Цезаря“ и „Гамлета“ такъ сходны по положенію героевъ, что параллели сами собой напрашиваются. Брутъ узнаетъ о смерти Порціи передъ ссорой съ Кассіемъ, и Кассій не замѣчаетъ этого, даже и послѣ примиренія, когда Брутъ говоритъ ему: „ты связанъ узами съ ягненкомъ“. Лишь потомъ, когда удаляется поэтъ, такъ некстати явившійся мирить вождей, между друзьями происходитъ такой разговоръ:

Брутъ.—Кассій, у меня
Такъ много горя.

Кассій.—Если предъ бѣдами
Случайными ты упадаешь духомъ,
То гдѣ же философія твоя?
Брутъ.—Никто не переноситъ горя лучше,
Чѣмъ я. Знай, Кассій, Порція скончалась.

Нѣтъ этихъ пышныхъ словъ риторики печали: „я любилъ ее, какъ сорокъ тысячъ“ и т. д. А межъ тѣмъ сколько трогательнаго величія въ этихъ простыхъ словахъ, вырвавшихся изъ измученной души. Среди всѣхъ неудачъ, въ виду неизвѣстнаго будущаго, человѣку наносится новый, страшнѣйшій ударъ. Всю силу его онъ чувствуетъ такъ, какъ только можетъ чувствовать Брутъ—и не падаетъ духомъ. Кассій не вѣритъ, чтобъ въ такую минуту можно было сохранить самообладаніе и съ удивленіемъ восклицаетъ:

А я тебѣ перечилъ и остался жить!

Потомъ, когда Мессала подтверждаетъ извѣстіе о смерти Порціи, Брутъ говоритъ:

Прощай же, Порція! Мессала, мы
Всѣ умереть должны; и мысль о томъ,
Что смерти не могла она избѣгнуть,
Даетъ мнѣ силу вынести ударъ.

Слушая эти слова, такъ противоположныя размышленіямъ Гамлета по поводу Александра, Мессала отвѣчаетъ Бруту:

Вотъ какъ великимъ людямъ надлежитъ
Переносить великія потери.

Вездѣ, всегда Брутъ, словомъ и дѣломъ, учитъ людей нравственному величію. Глядя на него, слушая его, человѣкъ не спрашиваетъ: „почему“; ему становится ясно, доступно то лучшее, надъ которымъ, по новѣйшимъ понятіямъ, издѣвается ученое „почему“. Передъ Брутомъ умолкаютъ сомнѣнія. Онъ вездѣ великъ—въ любви, въ несчастіи, въ борьбѣ, въ счастіи. И его величіе уничтожаетъ весь скепти-

цизмъ досужихъ людей, размышляющихъ съ черепами въ рукахъ о жизненной трагедіи, которой они никогда не знали. Мольеровскій Донъ-Жуанъ смутился передъ голоднымъ нищимъ, отказавшимся продать своего Бога за золотую монету,— богатство для бѣдняка. Брутъ бы заставилъ его перемѣнить свою религію—ариѳметику на глубокую вѣру въ человѣка, Шекспировскаго человѣка.

Послѣднія слова Брута:

О, Цезарь, успокойся: я тебя
Убилъ не такъ охотно, какъ себя.

Спи спокойно, великій человѣкъ! Ты слишкомъ много взялъ на себя. Свобода Рима погибла, и не твоей рукѣ, какъ могуча она ни была, дано было возстановить прежнее величіе Рима. Но ты сдѣлалъ иное: ты связалъ ту связь временъ, которая казалась распавшейся навсегда. Если есть Бруты, то

Природа можетъ,
Возставъ, сказать предъ цѣлымъ міромъ—

что есть „человѣкъ“, есть зачѣмъ жить, есть, что дѣлать и ни зло, ни горе, ни сама смерть—не обвинятъ жизни.

Къ Бруту Брандесъ чувствуетъ инстинктивное отвращеніе. Брутъ не даетъ критику покоя. Съ нимъ, какъ съ живымъ олицетвореніемъ совѣсти, нельзя жить пріятно. Онъ является вѣчнымъ упрекомъ человѣку, ищущему отдохновенія отъ „сна и ѣды“ въ прохладѣ кладбищенской философіи и созерцаніи своего душевнаго превосходства. А Брутъ написанъ Шекспиромъ, о немъ сказалъ Шекспиръ: „Это былъ человѣкъ“!

Очевидно, что только принизивъ Брута, участь котораго „не привлекаетъ“, и вычеркнувъ „Юлія Цезаря“, какъ драму, которая ничего не можетъ разсказать намъ о томъ, какъ думалъ и чувствовалъ ея авторъ, можно безпрепятственно итти къ поставленной себѣ датскимъ критикомъ цѣли. Если не считать „Юлія Цезаря“, то Шекспира легче

будетъ изобразить смущеннымъ черепами философомъ и привести къ кандидовскому заключенію: „il faut cultiver notre jardin“. Брандесъ такъ и поступаетъ. Но онъ не нападаетъ открыто, какъ бы слѣдовало, на Брута, а изъ-за угла пускаетъ въ него маленькія, ядовитыя стрѣлы и, такимъ образомъ, постепенно низводя лучшую трагедію и ея героя, приготовляетъ себѣ широкій путь для жалобныхъ сѣтованій на жизнь отъ имени Шекспира. „Изъ невѣжества Шекспиръ очищаетъ Брута отъ этого порока и на счетъ Цезаря дѣлаетъ его простымъ и великимъ“ *), говоритъ Брандесъ. Это замѣчаніе, въ которомъ критикъ такъ наивно показываетъ всѣ свои карты, заключаетъ собою сдѣланную имъ небольшую историческую справку. Брандесъ передаетъ, что Брутъ, пользуясь подставнымъ лицомъ, жестоко эксплоатировалъ жителей азіатскихъ провинцій. Но этого ни у Шекспира въ драмѣ, ни у Плутарха, бывшаго единственнымъ ея источникомъ, нѣтъ. Объ управленіи провинціями Брута Плутархъ говоритъ слѣдующее: „Когда Цезарь собрался въ походъ въ Африку, онъ ввѣрилъ Бруту управленіе Цизальпинской Галліей, къ великому счастію этой провинціи. Ибо въ то время, какъ другіе намѣстники обращались со своими областями, какъ съ завоеванными странами, Брутъ для своей Галліи былъ утѣшителемъ, словно возмѣщая ей за всѣ притѣсненія, которымъ она подверглась при прежнихъ правителяхъ. И все добро, которое онъ дѣлалъ— дѣлалъ онъ именемъ Цезаря“ **). Эти слова есть у Плутарха и ими, а не чѣмъ-либо инымъ, руководился Шекспиръ, создавая своего Брута. Наше дѣло не провѣрять, насколько сообразуются Шекспировскіе историческіе герои съ ихъ живыми образцами, воспроизводимыми по различнымъ, часто недостовѣрнымъ, источникамъ. Шекспировскому чутью въ этомъ смыслѣ можно довѣрить больше, чѣмъ ученымъ изслѣдованіямъ. Художникъ по нѣсколькимъ чертамъ характера воспроизведетъ весь духовный складъ человѣка, какъ

*) Brandes, стр. 440.

**) Плутархъ. Маркъ Брутъ, гл. 6.

математикъ построитъ кривую по небольшому отрѣзку ея. Того матеріала, который Шекспиръ нашелъ въ своемъ Плутархѣ, ему было вполнѣ достаточно, чтобъ нарисовать Брута. Но и это не главное. Теперь,—когда мы хотимъ знать, „какъ думалъ и чувствовалъ“ Шекспиръ, для насъ прежде всего интересенъ не историческій Брутъ, а Шекспировскій, если бы даже онъ и не соотвѣтствовалъ Плутарховскому. Мы хотимъ знать, что цѣнилъ, что считалъ лучшимъ Шекспиръ, и въ „Юліи Цезарѣ“ находимъ отвѣтъ. И Брандесъ, какъ видно изъ приведенной выписки, понимаетъ, что Шекспиръ считалъ своего Брута „простымъ и великимъ“. Повидимому, на разборѣ этого характера и нужно было остановиться, чтобы выяснить, какъ смотрѣлъ на жизнь поэтъ. Но это разрушило бы всѣ построенія Брандеса, ибо предъ Брутомъ самодовлѣющая, довольная собой кладбищенская философія опускаетъ свой тусклый взоръ. И вотъ Брандесъ, позабывъ свое „невольное признаніе“, полегоньку и понемножку передѣлываетъ Брута изъ простого „великаго“ въ непростого и въ невеликаго. Но всѣмъ страницамъ, посвященнымъ „Юлію Цезарю“, разбрасываетъ онъ рядъ своихъ и чужихъ замѣчаній, имѣющихъ своей цѣлью низвести значеніе самой трагедіи и главнаго дѣйствующаго лица ея. „Если Брутъ, этотъ плоскій идеалистъ, затмилъ собою величайшаго практическаго генія міра“ *) приводитъ онъ слова Hudson'a; слѣдующее за нимъ „то“ и т. д. ему не нужно, ибо онъ сейчасъ же опровергаетъ заключеніе. Но „плоскій идеалистъ“ остается. Далѣе, какъ мы уже упомянули, Брандесъ приводитъ ни къ чему ненужную справку о томъ, какъ Брутъ эксплоатировалъ провинціи. И еще: читатель помнитъ, что Брутъ убилъ не врага своего, Цезаря, а лучшаго друга, и что въ этомъ весь смыслъ его характера, и что за это Шекспиръ считаетъ его „великимъ и простымъ“. Брандесъ же, словно не читавъ „Юлія Цезаря“, говоритъ: „ненависть Катона къ Цезарю

*) Brandes, стр. 432.

унаслѣдовалъ и его племянникъ. Брутъ“ *). По Плутарху „даже враги не приписывали Бруту такихъ двусмысленныхъ намѣреній“ **). По Брандесъ не политическій врагъ Брута; у него, кромѣ языка, нѣтъ иного оружія, и онъ „приписываетъ“ Бруту и ненависть къ Цезарю, и жестокость въ управленіи провинціями, и выжиманіе процентовъ у подвластныхъ ему людей. И еще: Брутъ „чувствуетъ себя принужденнымъ на это дѣло (убійство Цезаря) другими, внутренній же голосъ не зоветъ его“ ***). Далѣе: Шекспиръ не встрѣтилъ препятствій къ тому, чтобы „присвоить Бруту сомнительную въ глазахъ многихъ (!) мораль, въ силу которой необходимая цѣль оправдываетъ нечистыя средства. Два раза—первый разъ въ монологѣ, второй разъ въ рѣчи къ заговорщикамъ онъ рекомендуетъ политическое (!) лицемѣріе, какъ умный и цѣлесообразный пріемъ“ ****). И затѣмъ, приводя отрывокъ изъ рѣчи Брута, критикъ объясняетъ: „это значитъ—(!) пусть при убійствѣ будетъ соблюдено возможное приличіе, а потомъ убійцы могутъ притворяться, что жалѣютъ Цезаря“*****). По поводу обѣщанія, даннаго Брутомъ Порціи—все разсказать ей, Брандесъ говоритъ: „ни Шекспиръ, ни Плутархъ не понимаютъ его болтливой предупредительности“ ******). И еще: „у Шекспира Брутъ—строгій моралистъ, чрезвычайно озабоченный мыслью о томъ, чтобы не запятнать свой чистый характеръ“; т. е. Брутъ хлопочетъ не объ общемъ дѣлѣ, а о величіи собственной души и т. д. Но довольно будетъ выписокъ! Мы видѣли, какъ мало подавалъ поводъ Брутъ къ такого рода характеристикѣ. Несомнѣнно, что такой ядъ можетъ изливать на Брута лишь человѣкъ

*) Ib. стр. 440.
**) Плутархъ. М. Бруттъ, гл. 29.
***) Brandes, 444.
****) Ib. 445.
*****) Ib. 450.
******) Ib. 447.

котораго „не привлекаетъ участь“ героя, и который вмѣстѣ съ тѣмъ боится, что она можетъ оказаться „нравственно“ обязательной. Его злятъ высокія похвалы, расточаемыя Бруту Шекспиромъ. Ему хочется, чтобъ о Жакѣ сказали за его рѣчь „міръ—театръ“,—„прекрасна была его жизнь“. И точно, Жаки, избѣжавшіе трагедіи, требовательнѣе всѣхъ другихъ насчетъ славы. Они такъ хорошо и жалобно разсуждаютъ—почему же преклоняются предъ „плоскими идеалистами“, а не предъ ихъ тонкимъ остроуміемъ, предъ ихъ готовностью стучаться въ дверь тайны, предъ ихъ таинственными бесѣдами съ черепами? Все это, конечно, Брандесъ можетъ думать. Его можетъ обижать и раздражать, что Брутовъ считаютъ лучшими людьми, героями. Но зачѣмъ, приписывать свои вкусы и желанія Шекспиру, такъ ясно и опредѣленно сказавшему о Брутѣ: „жизнь его была прекрасна“? Отчего критикъ не рѣшается за свой страхъ проповѣдывать теорію воздѣлыванія сада и не называетъ за одно съ Брутомъ и его творца „плоскимъ идеалистомъ“, восторгавшимся не тѣмъ, чѣмъ восторгаться слѣдуетъ? Зачѣмъ комкать и уродовать лучшую трагедію, зачѣмъ пускаться на столь „нечистыя средства“, какъ бросанье изъ-за угла камней? „Какая необходимая цѣль“ оправдываетъ такіе пріемы? Отвѣтомъ на это можетъ служить заключеніе Брандеса къ „Юлію Цезарю“. Онъ говоритъ: „кто знаетъ, не приходили-ли въ этотъ періодъ Шекспиру на мысль разнаго рода соображенія, въ силу которыхъ онъ едва понималъ, какъ можетъ человѣкъ взяться за какое-либо рѣшительное дѣло; какъ можетъ кто бы то ни было принять на себя отвѣтственность за поступокъ, который въ концѣ концовъ всегда окажется неудержимо катящимся камнемъ. Ибо, если начать размышлять о неисчислимыхъ послѣдствіяхъ какого-либо дѣйствія, обо всемъ, къ чему оно можетъ привести въ силу обстоятельствъ, то всякое значительное дѣло становится невозможнымъ. Оттого-то такъ рѣдко старые люди понимаютъ свою юность; у нихъ не было бы мужества повторить все то, что дѣлали они когда то,

когда умѣли не думать о послѣдствіяхъ“ *) Въ этихъ словахъ объясненіе всѣхъ настроеній критика, которыя онъ приписываетъ въ своей книгѣ Шекспиру. Онъ убѣжденъ, что „размышленіе“,—это все, что нужно человѣку. До такой степени убѣжденъ, что участь Гамлета привлекаетъ его. Секретъ въ томъ, что онъ этой участи не испыталъ. Въ той своей „орѣховой скорлупѣ“, которая называется ученымъ кабинетомъ, критикъ, очевидно, „познавалъ“ всю свою жизнь и находитъ, что нѣтъ никакой нужды мѣнять это пріятное познаваніе при посредствѣ книгъ на „познаваніе“ инымъ, болѣе труднымъ путемъ. Нужно только убѣдить людей, что это занятіе и серьезнѣе, и необходимѣе, и труднѣе, чѣмъ занятіе Брутовъ. И что титулъ героя слѣдуетъ присвоить познающему въ кабинетѣ. Вѣдь къ нему и тѣни усопшихъ приходятъ, вѣдь онъ чувствуетъ, что нечисто что-то въ датскомъ королевствѣ, вѣдь его мать возложила пурпуровую мантію на похороненное величіе Даніи, вѣдь для него жизнь—театръ, вѣдь онъ такъ пессимистически настроенъ, онъ такъ глубоко страдаетъ! Но напрасно хлопочетъ датскій критикъ. Его меланхолія все же останется меланхоліей комедіи, хотя бы уже потому одному, что онъ такъ хорошо обжился съ ней и возвелъ ее въ систему. Истинный пессимизмъ слишкомъ мученителенъ для того, чтобы съ нимъ могъ ужиться человѣкъ. Онъ убиваетъ тѣхъ, кто не убиваетъ его. Виттенбергскій же пессимизмъ, еще не перешедшій изъ словъ, которыя уживаются съ чѣмъ угодно, въ душу—безвреденъ и легокъ для его носителей. Но не ему судить о Брутахъ. Гамлетъ уже знаетъ, что такое учено, т. е. по книгамъ, размышлять о жизни. И по всей вѣроятности, лучшіе изъ своихъ насмѣшекъ онъ приберегъ бы для датскаго критика, объяснившаго ему, что „онъ—лучшій“, что дѣйствовать нельзя, что Брутъ плоскій идеалистъ. Когда принцъ глядитъ на трупъ матери, когда онъ вспоминаетъ смерть Офеліи, когда онъ чувствуетъ ядъ въ своей крови, когда, словомъ,

*) Brandes, стр. 456.

онъ видитъ, что далъ ему его пессимизмъ и когда онъ понимаетъ, каково человѣку, принедшему къ необходимости быть пессимистомъ—онъ научается цѣнить ученыхъ людей, созидающихъ въ своихъ кабинетахъ мрачныя системы. О комъ говоритъ Гамлетъ, когда заявляетъ, что съ страницъ воспоминанія нужно стереть всѣ пошлые разсказы, всѣ изрѣченія книгъ и т. д.? Объ этомъ бы не слѣдовало забывать критику.

XIV.

Искажая характеръ Брута и принижая значеніе „Юлія Цезаря“ съ одной стороны, а съ другой, приписывая самому Шекспиру Гамлетовскія размышленія, Брандесъ закладываетъ уже фундаментъ для возводимаго имъ зданія. Уже несомнѣнно, что Шекспиръ ушелъ отъ Брута къ Гамлету „ибо участь Брута не привлекала его“. „Придайте Бруту юмора и геніальности, онъ станетъ и становится Гамлетомъ, придайте ему отчаянія, горечи и презрѣнія къ людямъ, онъ станетъ и становится Тимономъ Аѳинскимъ“. Это любопытныя слова, подъ которыми кроется характерная манера пониманія людей и ихъ душевнаго склада, присущая „научной критикѣ“. Для нея человѣкъ есть лишь суммировка свойствъ и особенностей души. И поэтому его жизнь должна быть описываема, какъ безцѣльное движеніе. Послала тебѣ судьба, т. е. случай „горечь“—будешь Тимономъ и станешь проклинать человѣческій родъ, и убѣжишь въ лѣсъ къ дикимъ звѣрямъ. Дастъ тебѣ судьба остроуміе и геніальность—ты будешь тонко язвить людей, но не покинешь дворца. То или иное отношеніе къ жизни не можетъ считаться болѣе правильнымъ или желательнымъ. Оно свидѣтельствуетъ лишь о чертахъ характера даннаго лица. По-видимому, иначе долженъ быть заданъ вопросъ: отчего Гамлетъ и Тимонъ на разные лады проклинаютъ людей и бѣгутъ жизни, а Брутъ любитъ людей и не боится жизни? Въ этомъ должна состоять цѣль изученія человѣческой природы.

Но критикъ „придаетъ“, словно дѣлаетъ сложеніе. Между прочимъ, эта „объективность“ не мѣшаетъ ему гнуть свою линію и доводить постепенно Шекспира черезъ Гамлета, Тимона Аѳинскаго и Коріолана—до Uebermensch'а, недавно возвѣщеннаго Фридрихомъ Нитше. Оттого-то онъ такъ принижаетъ Брута, который плохо подходитъ къ намѣченной себѣ критикомъ цѣли.

Классическія драмы Шекспира всегда являлись предметомъ особеннаго интереса для его критиковъ. Несомнѣнно, что въ нихъ рѣзко чувствуется его отрицательное отношеніе къ античнымъ идеаламъ. Что же это значитъ, отчего и какимъ образомъ въ эпоху возрожденія, когда всѣ преклонялись предъ классическимъ искусствомъ и литературой, одинъ Шекспиръ остается въ сторонѣ и не только не раздѣляетъ общихъ восторговъ, но позволяетъ себѣ рѣзко насмѣхаться надъ древнимъ міромъ: пишетъ „Троила и Кressиду“, пьесу, названную Шлегелемъ „кощунственной“, создаетъ почти комическій образъ Цезаря, изображаетъ римскій патриціатъ въ „Коріоланѣ“ въ столь непривлекательномъ видѣ? Римскія пьесы для насъ особенно цѣнны, ибо въ нихъ Шекспиръ сталкивается съ цѣлымъ міромъ новыхъ идей, съ міросозерцаніемъ гомеровскихъ грековъ и римлянъ временъ республики и начала имперіи. Слишкомъ отзывчивый, чтобъ остаться безразличнымъ зрителемъ, Шекспиръ долженъ былъ произнести свое „да“ или „нѣтъ“, и это „да“ или „нѣтъ“, обращенное ко всему укладу древней жизни, было тѣсно связано съ тѣмъ, что онъ любилъ и цѣнилъ, что онъ считалъ лучшимъ. Поэтому, намъ, людямъ 19-го столѣтія, такъ жаждущимъ постичь душу величайшаго изъ когда-либо жившихъ поэтовъ, эти драмы особенно много могутъ выяснить. Брандесъ, однако, этимъ не заинтересованъ. Онъ разбираетъ римскія драмы и „Троила и Кressиду“, но опять такимъ же способомъ, какъ и Брута. Что ему мѣшаетъ итти къ намѣченной цѣли—т. е. къ подведенію Шекспира къ сверхчеловѣку Нитше—онъ отбрасываетъ въ сторону. Мы остановимся на нихъ нѣсколько подробнѣе.

О Брутѣ—мы говорили уже. Теперь посмотримъ Цезаря. У Шекспира „великій“ диктаторъ обратился въ напыщеннаго, ходульнаго, самодовольнаго старика, поддающагося лести, суевѣрнаго, ищущаго внѣшняго величія и не имѣющаго смѣлости открыто протянуть руку къ предлагаемой ему Антоніемъ коронѣ. И это—Цезарь, великій Цезарь, предъ которымъ падалъ весь Римъ, котораго слава „величайшаго полководца и государственнаго человѣка“ пережила двѣ тысячи лѣтъ. Какъ случилось, что Шекспиръ не видѣлъ того, что теперь видятъ „всѣ“, и о чемъ Брандесъ повѣствуетъ на многихъ страницахъ, ссылаясь на Момсена и, главнымъ образомъ, на Плутарха? Брандесъ говоритъ: „обыкновенно въ Шекспирѣ удивляетъ насъ искусство, съ какимъ онъ пользуется жалкимъ, ничтожнымъ матеріаломъ. Здѣсь сюжетъ былъ такъ безконечно богатъ, что его (Шекспира-то!) поэзія на ряду съ нимъ стала бѣдной и жалкой“ *). Великій образъ Цезаря, разсуждаетъ критикъ, „Шекспиръ могъ легко представить себѣ по своему Плутарху“, но онъ „слишкомъ легкомысленно, не имѣя нужныхъ свѣдѣній, безъ зазрѣнія совѣсти приступилъ къ своей задачѣ“. Какъ видитъ читатель, критикъ не очень церемонится съ Шекспиромъ. Но это „gehört zur Sache“, какъ говорятъ нѣмцы. Цезарь нуженъ для Брандеса и, если Шекспиръ не оцѣнилъ его, то потому лишь, что его поэзія была „бѣдна и жалка“ (кто же можетъ писать о Цезарѣ?), что онъ былъ легкомысленнымъ и невѣжественнымъ человѣкомъ. И это Шекспиръ, авторъ знаменитыхъ историческихъ хроникъ, по которымъ и донынѣ государственные люди Англіи знакомятся съ духомъ исторіи своей страны. И въ исторіи Англіи новѣйшими изслѣдованіями прибавлено много фактовъ, которые не были извѣстны Шекспиру, исправлено много хронологическихъ и иныхъ ошибокъ, но ни одному историку не придетъ въ голову соперничать съ великимъ поэтомъ въ искусствѣ воспроизведенія прошлыхъ временъ.

*) Brandes. 334.

А весь матеріалъ Шекспира—это сухія отечественныя хроники. Для Цезаря же у него былъ Плутархъ, одинъ изъ образованнѣйшихъ и даровитѣйшихъ писателей древности. Могъ ли Шекспиръ, всегда столь необыкновенно чуткій и проницательный, на этотъ разъ оказаться столь грубо невосприимчивымъ, чтобъ оправдать упреки критика въ легкомысліи, невѣжествѣ и т. д.? Очевидно, не въ этомъ дѣло и не въ томъ, что бываютъ такіе историческіе сюжеты, которые не подъ силу Шекспировскому генію и съ которыми справиться могутъ лишь такіе историки, какъ Момсенъ. Да наконецъ, достаточно послушать рѣчи Антонія надъ трупомъ Цезаря, для того, чтобы понять, что Шекспиру отлично видно было, за что цѣнили римскаго героя. Вотъ для примѣра одинъ небольшой отрывокъ:

О, мощный Цезарь, ты лежишь во прахѣ,
И это все, что отъ твоихъ побѣдъ
Величія и славы остается!
Прощай! Патриціи, не знаю вашихъ я
Намѣреній, чья кровь должна пролиться.
Кто лишній здѣсь? О, если я, то нѣтъ
Для этой казни лучшаго мгновенья,
Какъ часъ кончины Цезаря; какія
Орудія хоть вполовину столько
Для этого приличны, какъ мечи,
Обрызганные этой драгоцѣнной
И самой благородной кровью въ мірѣ.

Далѣе, въ рѣчахъ къ народу, онъ называетъ Цезаря „душою міра“, многократно повторяетъ, вспоминая его заслуги, что онъ былъ величайшимъ человѣкомъ. Въ рѣчахъ Антонія Цезарь, какъ его понимали древніе и какъ его хотятъ понимать теперь историки, изображенъ съ такой полнотой и ясностью, предъ которыми восторженныя страницы, посвященныя ему Брандесомъ, кажутся дѣтскимъ лепетомъ. Шекспиръ зналъ, за что цѣнили Цезаря, что любили въ немъ—и разсказалъ намъ это. Но датскій критикъ наставительно замѣчаетъ: „гдѣ исторія болѣе необычайна и болѣе поэтична, чѣмъ какая бы то ни была поэзія, болѣе трагична,

чѣмъ всякая древняя трагедія, тамъ поэтъ можетъ достичь ея высоты лишь при многостороннемъ образованіи. У Шекспира не было достаточнаго историческаго и классическаго образованія и это было причиной, въ силу которой несравненное величіе образа Цезаря не тронуло его" *).

Несомнѣнно, безъ достаточнаго образованія, Шекспиръ бы не могъ написать свои пьесы, хотя Брандесъ увѣряетъ, что поэту это образованіе нужно было только для „Юлія Цезаря", а для „Гамлета" или „Короля Лира" — не нужно было. Но именно въ „Юліи Цезарѣ" сказался не только геніальный, но и воспитанный умъ его творца. Цезаря Шекспиръ видѣлъ яснѣе, чѣмъ всѣ наши историки — и именно тѣ стороны его характера, отъ которыхъ они приходятъ въ такое умиленіе. Иначе рѣчи Антонія были бы безсодержательнымъ наборомъ фразъ. Шекспиръ былъ лучшимъ адвокатомъ Цезаря, чѣмъ Брандесъ. И, если онъ все-таки отвернулся отъ этого героя, то у него на то были глубокія причины. „Онъ скомкалъ фигуру Цезаря, чтобъ выгадать мѣсто для развитія характера того лица, которое должно было играть въ драмѣ главную роль т. е. Брута" **), говоритъ Брандесъ. Но это объясняетъ намъ очень мало. Дѣйствительно, Цезаря Шекспиръ не изобразилъ, а словно разсказалъ намъ о немъ. Мы не видимъ предъ собой его такимъ, какимъ онъ былъ для всѣхъ, которые съ нимъ жили, какимъ онъ представлялся людямъ. Онъ словно вывернутъ поэтомъ на изнанку и только о томъ и хлопочетъ, чтобъ объяснить свои внутреннія побужденія, ту скрытую сущность своей души, о которой человѣкъ даже самому себѣ не рѣшится повѣдать. Все, что говоритъ Цезарь, Шекспиръ могъ видѣть въ немъ, но никто никогда этого отъ самого Цезаря не слышалъ. Вслѣдствіе этого фигура Цезаря выходитъ нехудожественной. Предъ вами человѣческое тѣло, лишенное кожи. Вы видите внутренній механизмъ, но привычнаго образа человѣка—нѣтъ. За это можно было бы упрекнуть Шекспира, но этотъ упрекъ

*) Brandes, 442.
**) Ib. 442.

поэтъ снимаетъ съ себя указаніемъ, что нужно было дать мѣсто главному дѣйствующему лицу. Но разъ мы ищемъ узнать, какъ думалъ Шекспиръ—для насъ особенно любопытны эти два Цезаря—одинъ, о которомъ устами Антонія говорятъ „всѣ“, въ томъ числѣ и Брандесъ, и другой, который собственными устами говоритъ отъ имени Шекспира. О „невѣжествѣ“ поэта Брандесъ заговорилъ, ибо иначе ему нельзя было отдѣлаться отъ Брута. Въ противномъ случаѣ онъ, вѣроятно, почтительнѣе отнесся бы къ великому поэту и въ „Юліи Цезарѣ“ нашелъ бы доказательство либо того, что геній замѣняетъ собою всякою подготовку, либо того, что біографическія данныя о Шекспирѣ не имѣютъ никакой цѣнности. Ибо, несомнѣнно, въ этой замѣчательной драмѣ поэту удалось необычайно вѣрно нарисовать картину римской жизни.

Если же ея героемъ сдѣланъ Брутъ, по своему душевному складу и стремленіямъ имѣющій такъ мало общаго со своими современниками римлянами, то не случай и не „невѣжество“ Шекспира были тому причиной. Авторъ „Короля Лира“ въ правѣ требовать отъ своихъ критиковъ болѣе внимательнаго и вдумчиваго отношенія къ своимъ произведеніямъ. А между тѣмъ „благодѣтель человѣчества“ (такъ называетъ Брандесъ Шекспира), котораго датскій критикъ беретъ подъ свою защиту отъ невѣжества „плохихъ диллетантовъ“, получаетъ отъ своего защитника такой урокъ, отъ котораго и школьникъ покраснѣлъ бы. Конечно, mutato nomine de te fabula narratur. Нападки Брандеса не уменьшатъ ни значенія „Юлія Цезаря“, ни славы его творца.

И такъ вопросъ сводится къ тому, отчего Шекспиръ, который въ Плутархѣ имѣлъ достаточно матеріала, чтобъ представить себѣ „великаго Цезаря“, у котораго Антоніи такъ блестяще прославляетъ этого героя—отчего самъ Шекспиръ отвернулся отъ него. Отвѣтъ можетъ быть одинъ: предъ величіемъ Цезарей Шекспиръ не преклонялся. Онъ зналъ, за что чтутъ, почему благоговѣютъ предъ такого рода людьми, почему ихъ слава живетъ такъ долго—но самъ онъ

не цѣнилъ ни такого величія, ни его носителей и шелъ съ лаской и привѣтомъ къ инымъ людямъ, которые не имѣли ни титула диктатора, ни славы военныхъ подвиговъ, ни власти надъ всѣмъ міромъ. Когда Шекспиръ сталъ между Цезаремъ и Брутомъ—Брутъ показался ему великимъ, а Цезарь, со всѣми своими побѣдами, маленькимъ—почти смѣшнымъ. Какъ всѣ истинно геніальные люди, Шекспиръ не побоялся высказать свое мнѣніе, какъ бы рѣзко оно не расходилось съ мнѣніемъ „всѣхъ“. Быть можетъ, и среди его современниковъ нашлись ученые, которые, не будучи въ состояніи подняться на высоту поэта, оправдывали свое непониманіе его „невѣжествомъ“. Но уже Плутархъ, со свойственной ему тонкостью наблюденія, повидимому, сильно подозрѣваетъ качество Цезарева величія. Онъ всѣми силами стремится проникнуть въ святая святыхъ человѣка и судить о немъ не по его дѣламъ, а по его внутреннему содержанію. Въ предисловіи къ Александру Македонскому онъ говоритъ: „я описываю жизнь людей, а не пишу исторію; и въ самыхъ блестящихъ подвигахъ не всегда можно найти указанія на добродѣтели или пороки тѣхъ, которые ихъ свершили и, наоборотъ, часто въ самомъ незначительномъ поступкѣ, въ рѣчи или въ шуткѣ, проявляется характеръ человѣка гораздо отчетливѣе, нежели въ кровавыхъ стычкахъ, великихъ сраженіяхъ и осадахъ. Подобно тому, какъ художникъ стремится передать сходство лица и глазъ, въ которыхъ сказывается характеръ, и мало заботится объ остальномъ, такъ и мнѣ должно быть дозволено разыскивать черты, опредѣляющія собою душевный складъ человѣка и по нимъ составлять біографіи, предоставляя другимъ описывать великіе подвиги и побѣды“ *). Обыкновенно люди поступаютъ какъ разъ противоположнымъ образомъ. Имъ импонируетъ внѣшнее величіе, громадность успѣха, подвиги и побѣды—и въ своихъ оцѣнкахъ они дальше видимости явленій не идутъ.

*) Плутархъ. Александръ, гл.

Заключить отъ факта къ импульсу, его вызвавшему— самое трудное дѣло и для большинства не представляетъ никакого интереса. Человѣкъ убилъ—значитъ, онъ негодяй; человѣкъ строитъ храмы—значитъ, онъ добродѣтеленъ. Всѣ знаютъ, что такъ нельзя судить—и всѣ такъ судятъ, ибо иначе судить значитъ обрекать себя на сомнѣнія, размышленія, что, какъ и всякій трудъ, кажется людямъ ненужной тягостью.

Если мы цѣнимъ великихъ художниковъ, то именно потому, что они за насъ исполняютъ это трудное дѣло. Внѣшній блескъ не соблазняетъ и не ослѣпляетъ ихъ. За обстановкой они ищутъ человѣка. И величайшая слава Шекспира въ томъ, что онъ умѣлъ проникать туда, куда не доходилъ ни одинъ человѣческій взглядъ. Брандесъ, какъ и Тэнъ, какъ и вся „научная критика"—этого за Шекспиромъ не признаютъ. Для нихъ Шекспиръ—лирикъ, сперва смѣявшійся со своими Розалиндами, Беатриче и Бенедиктами, потомъ рыдавшій съ Гамлетами, Отелло и Лирами, а затѣмъ успокоившійся съ Просперо. И этимъ-то критики, сами не подозрѣвая, что дѣлаютъ, отнимаютъ у великаго поэта все его содержаніе. Наоборотъ, Шекспиръ не себя, а всю жизнь рисовалъ. Оттого у него есть и Фальстафы, и Терситы, и Ричарды, и Яго, и Макбеты, съ которыми, конечно, даже Брандесъ и Тэнъ вмѣстѣ не рѣшатся отожествлять поэта. И наша задача объяснить себѣ, что видѣлъ Шекспиръ подъ тѣми масками, которыя—когда мы ихъ встрѣчаемъ въ жизни, такъ мало намъ говорятъ. Фальстафъ внушаетъ намъ отвращеніе, Ричардъ III—ужасъ, Гамлетъ—удивленіе. Шекспиръ же показалъ намъ въ Фальстафѣ просто маленькаго человѣчка, лживаго, трусливаго, пошлаго—но не отвратительнаго. Глядя на него—вы не негодуете, а смѣетесь. Представьте себѣ живого Фальстафа. Его существованіе можетъ возбудить сомнѣніе въ безсмертіи души даже у твердо вѣрующаго человѣка: безсмертный Фальстафъ—это вѣчный упрекъ Богу, его создавшему. Вы убѣжите отъ жирнаго выпаря, какъ отъ противнаго животнаго. Брандесъ назы-

ваетъ одно изъ замѣчаній Фальстафа „божественнымъ“ *). Конечно, этотъ эпитетъ плохо ладится съ тѣмъ представленіемъ, какое мы имѣемъ объ этомъ героѣ харчевенъ и большой дороги. Но все же изъ этого примѣра видно, какъ велико искусство Шекспира, если читателямъ можетъ притти въ голову примѣнять къ словамъ Фальстафа, этой горы жирнаго мяса, такой эпитетъ, какъ „божественный“. Вѣдь Шекспиръ не скрываетъ ни одного изъ пороковъ своего героя: все налицо. Онъ грабитъ на большой дорогѣ, выманиваетъ деньги, развратничаетъ, лжетъ, грубо хвастаетъ, труситъ. Даже внѣшность его необычайно уродлива и противна. И, тѣмъ не менѣе, мы, которые въ жизни побоялись бы подойти къ этому воплощенію всего, что можетъ возбудить отвращеніе въ человѣкѣ—мы, когда видимъ Фальстафа на сценѣ, весело смѣемся, вмѣсто того, чтобы съ ужасомъ отвернуться. И, конечно,не юморъ его примиряетъ насъ. Наоборотъ, возможность такой безпечной веселости у такого пошляка должна была бы вызвать у насъ еще больше негодованія. Тащить на плечахъ мертваго Готспора и думать лишь о томъ, чтобъ получить награду за чужой подвигъ—да еще такъ весело думать! И это не клевета на Фальстафа—развѣ его можно оклеветать? Все, что про него ни придумаешь, будетъ ниже его дѣйствительныхъ подвиговъ: это истинная правда о немъ. Именно такими и бываютъ въ жизни Фальстафы: безпечные, остроумные и отвратительные. Но обыкновенно ни безпечности, ни остроумія мы у нихъ не замѣчаемъ и брезгливо бѣжимъ отъ нихъ. Мы ихъ даже за людей не принимаемъ: всѣ ихъ человѣческія свойства скрываются предъ нами за ихъ пороками, и мы брезгаемъ ими, какъ существами низшаго рода, навсегда потерявшими образъ и подобіе Божіе. У Шекспира же Фальстафъ прежде всего человѣкъ. Вамъ все ясно—и почему онъ лжетъ и развратничаетъ, и почему труситъ, и что нѣтъ въ томъ его „вины“, что онъ не „хочетъ быть дурнымъ“, и, главное, что ему могло и

*) Стр. 61.

можетъ быть доступно многое другое. Несмотря на свои пороки мужа—онъ для васъ—ребенокъ, дѣйствующій лишь по недоразумѣнію, потому что не знаетъ ничего другого. Но не слѣдуетъ ни на минуту забывать, что вы миритесь съ Фальстафомъ лишь потому, что вамъ демонстрируетъ его Шекспиръ. Попробуйте увидѣть его безъ Шекспира, повстрѣчаться съ нимъ лицомъ къ лицу: за толстымъ слоемъ жиру, за его краснымъ носомъ, за его грязной внѣшностью, пошлыми рѣчами и возмутительными поступками—все пропадетъ для васъ, и вы вынесете впечатлѣніе, что встрѣтили грязнаго, жирнаго, откормленнаго борова, хотя бы судьба и надѣлила его тѣмъ остроуміемъ, которое придалъ ему Шекспиръ въ своей пьесѣ. Фальстафъ—одинъ изъ распространеннѣйшихъ типовъ чревоугодниковъ. Мы встрѣчаемъ его всюду и вездѣ, и даже не подозрѣваемъ, что видимъ передъ собою отпрыскъ Шекспировскаго жирнаго рыцаря. И, конечно, тотъ, кто умѣлъ примирить насъ въ Фальстафомъ, умѣетъ разглядѣть человѣка. Гораздо труднѣе найти въ Фальстафѣ человѣка, чѣмъ разыскать ложь въ притворной добродѣтели и поддѣльномъ величіи.

XV.

Если Шекспиръ низвелъ Цезаря—то не потому, что онъ „не понималъ“ его „величія“, а потому, что онъ такого величія не цѣнилъ. Наша задача—ознакомиться съ плутарховскимъ Цезаремъ—и объяснить себѣ, что въ немъ оттолкнуло Шекспира. Такимъ лишь образомъ мы можемъ узнать, какъ „думалъ и чувствовалъ“ Шекспиръ, и это, конечно, гораздо важнѣе, чѣмъ разносить „Юлія Цезаря“, излагать Момсена и читать нравоученія величайшему изъ поэтовъ.

Плутархъ дѣлитъ жизнь Цезаря на двѣ части: гранью между ними является Галльская война, съ которой, по его словамъ, для Цезаря „наступаетъ новая эпоха, и онъ начинаетъ жить и поступать совершенно иначе“ *). Въ теченіе

* Плутархъ. Цезарь, гл. 15.

первой половины своей жизни Цезарь, по Плутарху, не только ничѣмъ не выдался, но сдѣлалъ очень много нехорошаго. Но потомъ онъ оказался „воиномъ и полководцемъ, который не уступитъ величайшимъ и наиболѣе прославленнымъ героямъ войны". Съ кѣмъ его ни сравнить, онъ каждаго хоть въ какомъ-нибудь отношеніи превосходитъ; но „всѣхъ вмѣстѣ онъ превосходитъ тѣмъ, что далъ наибольшее число сраженій и погубилъ наибольше враговъ. Ибо за неполные 10 лѣтъ, въ теченіе которыхъ онъ воевалъ въ Галліи, онъ взялъ приступомъ болѣе 800 городовъ, покорилъ 300 народовъ, дрался съ тремя милліонами враговъ, изъ которыхъ одинъ милліонъ палъ на полѣ битвы и столько же было взято въ плѣнъ" *). Плутархъ, несмотря на принятое имъ рѣшеніе—не придавать значенія внѣшнимъ событіямъ, не можетъ надивиться этимъ милліонамъ плѣнныхъ и убитыхъ, этимъ сотнямъ взятыхъ городовъ и покоренныхъ народовъ. Галльская война подкупаетъ и его проницательность, которая чрезвычайно недовѣрчиво относится къ успѣхамъ великихъ людей. Но онъ, отдавъ должное съ своей точки зрѣнія, Цезарю—поставивъ его выше Фабіевъ, Сципіоновъ, Метелла, Суллы, Марія и даже самого Помпея—все же не забываетъ его прошлаго и продолжаетъ писать его біографію, т. е. выяснять себѣ не историческое значеніе Цезаря, а его душевный складъ. Еще во второй главѣ Плутархъ сообщаетъ любопытный фактъ о пребываніи Цезаря у Киликійскихъ разбойниковъ. Брандесъ очень подробно останавливается на этомъ обстоятельствѣ, въ которомъ онъ находитъ доказательство величія души римскаго героя. Разбойники, схвативъ Цезаря, потребовали отъ него 30 талантовъ выкупа. Но Цезарь презрительно разсмѣялся, сказавъ имъ, что они не знаютъ, кто въ ихъ рукахъ, и „добровольно предложилъ имъ уплатить 50 талантовъ". Если правъ Плутархъ, что иногда въ незначительномъ фактѣ рельефнѣе всего проявляется человѣкъ, то въ этой исторіи сказался уже весь

*) Плутархъ. Цезарь, гл. 15.

будущій—Цезарь. Его задѣло, что разбойники недостаточно оцѣнили его, и онъ готовъ уплатить добровольно огромную сумму денегъ *) лишь бы не быть недооцѣненнымъ ими. 38 дней провелъ онъ въ плѣну и держалъ себя такъ, будто разбойники были его стражей: шутилъ съ ними, игралъ, читалъ имъ рѣчи и стихи и бранилъ дураками и варварами тѣхъ, кто его не понималъ. Все это дѣлалось, чтобъ импонировать окружающимъ и не уронить своего величія. „Но разбойникамъ, заключаетъ Плутархъ свой разсказъ, все это очень нравилось, и они въ его дерзкихъ выходкахъ видѣли лишь однѣ невинныя и веселыя шутки“. Какъ въ каплѣ воды отражается солнце, такъ въ этой исторіи—весь Цезарь, болѣе того, весь римскій культъ величія. Что ему—великому человѣку, до разбойниковъ, и что имъ до него? Но Цезарю, для того, чтобы чувствовать свое величіе, нужно зеркало. У него величіе—это особенное душевное свойство, которому онъ самъ и всѣ люди—служатъ. Онъ не потому великъ, что храбръ, великодушенъ, щедръ, неподкупенъ, благороденъ, а наоборотъ, чтобы быть великимъ, онъ становится и храбрымъ, и благороднымъ, и милостивымъ. Плутархъ передаетъ два ставшія столь извѣстными замѣчанія Цезаря одно—„я предпочелъ бы быть первымъ среди этого народца, чѣмъ вторымъ въ Римѣ“, и другое—объ Александрѣ Великомъ, который въ его, Цезаря, годы, „уже владычествовалъ надъ столькими народами“, межъ тѣмъ какъ онъ, Цезарь, „еще ничего не свершилъ ни великаго, ни славнаго“. Поведеніе Цезаря среди разбойниковъ—иллюстрація къ этимъ словамъ. Онъ хочетъ быть первымъ среди горсти жалкихъ дикарей и не хочетъ быть вторымъ въ Римѣ. Ему это первенство нужно, хоть будь оно совершенно ничтожно и безсодержательно. Ему нужно покорять народы, чтобъ это свидѣтельствовало о его величіи. Истинно великіе люди никогда этого не ищутъ. Они будутъ и первыми, и покорятъ много народовъ — если это нужно будетъ. Но

*) 30 анталтовъ = 60,000 р.

искать подвиговъ ради подвиговъ, славы ради славы—значитъ не находить въ себѣ самомъ достаточнаго содержанія. Великій человѣкъ даетъ, а не беретъ. Ему у другихъ ничего не нужно взять, и онъ идетъ къ нимъ, чтобы дать отъ своего избытка. Цезарю же и подобнымъ ему великимъ людямъ народы нужны, какъ арена для ихъ дѣйствій, какъ трофеи для ихъ славы. Плутархъ, несмотря на то, что считаетъ для Цезаря Галльскую войну началомъ новой жизни, съ удивительной настойчивостью при каждомъ случаѣ объясняетъ намъ, что исключительнымъ мотивомъ всѣхъ дѣйствій Цезаря было его честолюбіе, жажда славы. Вся его біографія одинъ длинный рядъ свидѣтельствъ объ этомъ, подробный комментарій къ словамъ Цезаря о первенствѣ въ деревнѣ и о славѣ Александра. „Его презрѣніе къ опасностямъ не внушало удивленія именно вслѣдствіе его страсти къ славѣ“*), говоритъ Плутархъ. Передавая о предположеніяхъ и проектахъ, которыми Цезарь, уже послѣ побѣды надъ Помпеемъ, собирался облагодѣтельствовать римлянъ, Плутархъ замѣчаетъ: „это было стремленіе къ новой славѣ, какъ будто старая поблекла и износилась. Эта страсть была ничѣмъ инымъ, какъ ревностью къ самому себѣ, какъ къ сопернику, упорное желаніе затмить свою прошлую славу новыми дѣяніями“ **). Одно это, столь глубоко психологическое, замѣчаніе Плутарха могло навести Шекспира на мысль создать своего Цезаря именно такимъ, какимъ мы его видимъ въ драмѣ. Но Плутархъ почти во всемъ, что дѣлаетъ Цезарь, въ наиболѣе, на видъ, благородныхъ поступкахъ его, отыскиваетъ независимую отъ благородства цѣль. Какъ ни поражаютъ его военные успѣхи Цезаря, онъ все не вѣритъ въ этого героя. Сообщая, что Цезарь велѣлъ возстановить статую Помпея, Плутархъ приводитъ слѣдующія слова Цицерона: „Цезарь, возстановивъ статую Помпея, тѣмъ прочнѣе укрѣ-

*) Ib. гл. 17.
**) Ib. гл. 58.

пилъ собственныя“ *). Затѣмъ Плутархъ ставитъ въ упрекъ Цезарю тріумфъ за побѣду надъ Помпеемъ, ибо „чувство чести“ не позволяетъ торжествовать по поводу несчастія величайшаго изъ римлянъ. Брандесъ приводитъ слова Цезаря, произнесенныя имъ по прочтеніи книги Цицерона о Катонѣ: „при чтеніи твоей книги мнѣ казалось, что я самъ сталъ краснорѣчивѣе“ **), Плутархъ же говоритъ „написанное Цезаремъ по поводу умершаго Катона сочиненіе не доказываетъ дружественнаго или примирительнаго отношенія къ нему: да и какъ бы сталъ онъ при жизни щадить человѣка, если онъ послѣ его смерти излилъ на него столько желчи?“ ***).

Въ теченіе Галльской войны Цезарь все время пристально слѣдитъ за тѣмъ, что происходитъ въ Римѣ и не прекращаетъ ни на минуту своихъ интригъ. „Послѣ того какъ онъ разбилъ Аріовиста, разсказываетъ Плутархъ, онъ помѣстилъ свое войско на зимнія квартиры, а самъ отправился въ свои провинціи, чтобъ оттуда наблюдать за событіями въ Римѣ... Сюда, все время его пребыванія, пріѣзжали многіе римляне, и Цезарь пользовался этимъ, чтобъ усилить свою партію, давалъ каждому все, что онъ просилъ и всѣхъ отпускалъ отъ себя либо съ подарками, либо съ обѣщаніями“. Точно такимъ образомъ онъ велъ себя въ теченіе всей войны и, незамѣтно для Помпея, „то покорялъ враговъ оружіемъ гражданъ, то привлекалъ на свою сторону гражданъ отнятыми у враговъ богатствами“ ****). Плутархъ приводитъ примѣры чудовищныхъ затратъ, сдѣланныхъ Цезаремъ, чтобъ составить себѣ партію изъ вліятельныхъ людей. Трибуну Куріо, своему бывшему врагу, онъ далъ 250 талантовъ (на наши деньги полъ милліона рублей). Консулу Павлу онъ далъ 1500 талантовъ (около трехъ милліоновъ рублей) и

*) Ib. гл. 57.

**) Brandes, 439.

***) Плутархъ. Цезарь гл. 25.

****) Ib. гл. 20.

т. д. *). Когда же, наконецъ, Цезарь, окончивши междоусобную войну, вернулся въ Римъ, гдѣ его сдѣлали пожизненнымъ диктаторомъ, онъ говоритъ о великихъ задачахъ, затѣваетъ новыя предпріятія, но въ душѣ лелѣетъ одну мысль: добыть корону. И при каждомъ случаѣ онъ съ боязливой жадностью протягивалъ къ ней руку, чтобы тотчасъ же со стыдомъ отдернуть ее. Его приверженцы, разсказываетъ Плутархъ, распустили слухъ, что, по книгамъ Сивиллы, римляне лишь въ томъ случаѣ одолѣютъ парѳянъ, если надъ ихъ войскомъ будетъ начальствовать царь. И вотъ однажды, когда Цезарь вернулся изъ какой-то отлучки, они стали его привѣтствовать, какъ царя. „Но такъ какъ это смутило народъ, то Цезарь съ досадой сказалъ, что онъ не царь, а Цезарь, и среди наступившаго глубокаго молчанія, мрачный и гнѣвный, онъ ушелъ“ **). Затѣмъ, передаваемая у Шекспира Каской сцена о томъ, какъ подносилъ Антоній Цезарю корону, и какъ этотъ послѣдній нехотя отталкивалъ ее отъ себя, цѣликомъ заимствовано у Плутарха. Изъ всѣхъ этихъ исторій видно, что проницательный греческій писатель подъ оболочкой внѣшняго величія различалъ въ Цезарѣ его душу, и въ тѣ моменты, когда она представлялась ему въ своей наготѣ, ему стыдно становилось за героя.

Но для Плутарха Цезарь все же остался великимъ, хотя подъ всѣми великими дѣлами диктатора и видны были совсѣмъ не великія побужденія: за него говорили подвиги, равныхъ которымъ исторія не знаетъ. Для древняго писателя казалось немыслимымъ дѣломъ отрѣшиться отъ поклоненія столь колоссальному успѣху. И Плутарховская біографія словно говоритъ намъ: какъ жаль, что у Цезаря при его великихъ достоинствахъ были такіе недостатки, какъ честолюбіе, являвшееся существеннымъ стимуломъ всѣхъ его поступковъ, мелочное стремленіе къ внѣшнему атрибуту власти,

*) Ib. сл. 29.
**) Ib. гл. 69.

всецѣло владѣвшее имъ, и т. д. Для древняго историка это та ложка дегтя, которая не совсѣмъ портитъ бочку меда. Онъ знаетъ, что есть такіе люди, какъ Брутъ, которыхъ и враги не смѣли подозрѣвать въ сомнительныхъ намѣреніяхъ, и на этого Брута онъ глядитъ—не наглядится. Но все же Цезарь убилъ милліоны людей, покорилъ столько народовъ, привелъ въ Римъ столько плѣнныхъ, такъ далеко раздвинулъ предѣлы государства, словомъ, столько сдѣлалъ—и Плутархъ, который такъ хорошо понимаетъ разницу между исторіей и біографіей и такъ тонко умѣетъ понимать людей (его Жанъ Поль называетъ Шекспиромъ въ своей области), все-таки поддается обаянію свершенныхъ Цезаремъ подвиговъ и часто дивится своему герою. Шекспиръ же поступилъ иначе. Когда онъ писалъ своего „Юлія Цезаря“, предъ нимъ стоялъ вопросъ, болѣе глубокій и всеобъемлющій, нежели тотъ, который приписываетъ ему Брандесъ. Не о монархіи и республикѣ думалъ онъ, и ему не пришло бы въ голову корить Цезаря за то, что онъ стремился смѣнить одну форму правленія другой, если бы онъ видѣлъ, что у Цезаря рѣчь шла не о коронѣ. Swinburne объясняетъ симпатіи Шекспира къ Бруту его республиканскими тенденціями. Брандесъ говоритъ: „Шекспиръ исходитъ изъ того положенія. будто бы уничтоженная Цезаремъ республика могла бы продолжать свое существованіе, и вину за ея паденіе возлагаетъ на Цезаря“, и въ доказательство того, что Шекспиръ былъ неправъ, пускается въ длинныя разсужденія. Напрасный трудъ. Все, что разсказываетъ датскій критикъ, Шекспиръ могъ найти и нашелъ у Плутарха, который ясно видѣлъ, что не Цезарь создалъ монархію, а обстоятельства и время дали возможность Цезарю добиться неограниченной власти. Описывая подробно событія изъ римской жизни, Плутархъ говоритъ: „толпа не расходилась часто до тѣхъ поръ, пока ораторская трибуна не покрывалась трупами и не заливалась кровью, и, такимъ образомъ, Римъ, какъ корабль безъ кормчаго, былъ преданъ всѣмъ ужасамъ анархіи. Поэтому самые благоразумные граждане считали еще

счастіемъ, если вся эта безумная сумятица не приведетъ ни къ чему худшему, чѣмъ монархія и многіе осмѣливались уже открыто говорить, что государственные недуги могутъ быть исцѣлены только монархическимъ правленіемъ, и что для этого лѣченія слѣдуетъ избрать наиболѣе снисходительнаго врача,—чѣмъ они намекали на Помпея" *). Все это повторяетъ Брандесъ, чтобъ доказать невѣжество Шекспира. А вотъ еще одно замѣчаніе Плутарха, которое онъ дѣлаетъ въ объясненіе того, что не случайность дала возможность Октавію съ Антоніемъ одолѣть Брута: „но, видно, римское государство не могло уже выносить владычества многихъ и нуждалось въ монархіи, поэтому боги рѣшились устранить единственнаго человѣка (т. е. Брута), который стоялъ на пути у того, кто былъ уже (судьбой) назначенъ властителемъ". Такимъ образомъ, очевидно, что Плутархъ понималъ, что не Цезарь создалъ монархію. Шекспиру, если бы онъ ничего, кромѣ Плутарха, и не читалъ, было бы совершенно ясно, какъ мало основанія возлагать „вину" за событія римской исторіи на одного Цезаря. И вообще, его не приходится учить азбукѣ юридическихъ наукъ и исторіи, его, который вложилъ въ уста своей Порціи („Венеціанскій купецъ") разсужденія, сдѣлавшія бы честь лучшему римскому юристу и даже современному профессору права. Ему ясно было, отчего смѣняется одна форма правленія другой, онъ понималъ роль и значеніе римской черни. Но не политическія событія, ни даже судьба Рима занимали его. Всматриваясь въ своего Цезаря и своего Брута, Шекспиръ хотѣлъ вычитать изъ раскрывшейся предъ нимъ „необъятной книги человѣческихъ судебъ" смыслъ и значеніе нашей жизни. Брутъ и Цезарь не были для него политическими соперниками, какъ наивно полагаетъ Брандесъ, а выразителями стремленій всего человѣчества. Кто истинно великъ—„практическій ли геній" Цезарь, увѣнчанный тріумфами, обогатившій римскую казну, покорившій сотни наро-

*) Ib. гл. 28. Плутархъ. М. Брутъ, гл. 47.

довъ, дававшій римлянамъ хлѣбъ и устраивавшій даровыя зрѣлища—и все это дѣлавшій затѣмъ, чтобы быть великимъ, чтобъ сравняться въ славѣ съ Александромъ Македонскимъ и чтобы быть гдѣ-нибудь первымъ,—или Брутъ, пренебрегавшій величіемъ и славой и выходившій на историческую арену лишь тогда, когда его туда призывали человѣческія нужды? Для Шекспира Цезарь былъ актеръ, разрядившійся въ пышную мишуру признанныхъ и нужныхъ для успѣха въ жизни добродѣтелей, который, когда никто на него не глядитъ, снимаетъ эти украшенія и остается самимъ собою, т. е. человѣкомъ, ждущимъ отъ живущихъ поколѣній и отъ исторіи аплодисментовъ за свою игру. Оттого то онъ становится столь жалкимъ, когда издали улыбается ему корона. Тогда, въ виду осуществленія того, что онъ считаетъ единственной своей наградой, онъ, забывъ, что занавѣсъ еще не опущенъ, начинаетъ говорить слова, а не заученную роль. И въ каждомъ римлянинѣ было немножко Цезаря. Всѣ добродѣтели ихъ приспособлялись къ нуждамъ отечества, а отечеству нужны были солдаты, чтобъ грабить, и юристы, чтобы выдумывать законы для охраненія награбленнаго. Солдатъ и юристъ, мечъ и законъ, выразители двухъ чисто внѣшнихъ силъ, не могли привести ни къ чему иному, чѣмъ къ нравственному формализму. Нравственнымъ нужно было быть только для исторіи, ибо исторія имѣла какое-то свое мѣрило, не юридическое и не военное; она требовала любви къ отечеству, великодушія къ врагамъ, щедрости и т. д. И это отдавалось ей. Служили исторіи и, чтобъ успѣть у нея, чтобы получить отъ нея титулъ Александра Македонскаго, а у современниковъ первенство гдѣ-нибудь и въ чемъ-нибудь, изображали величіе. Плутархъ, какъ мы говорили, чувствуетъ какое-то странное, непримиримое противорѣчіе въ Цезарѣ. Онъ понимаетъ, что Цезарь великъ, и знаетъ, что Цезарь и жалокъ. Съ другой стороны, его прельщаетъ Брутъ—но Брутъ ничего не сдѣлалъ. Для Плутарха задача эта такъ и осталась задачей Онъ, какъ мы видѣли, то преклоняется предъ успѣхомъ Цезаря, то иронизируетъ по по-

воду его слабости, честолюбія и пренебрежительнаго отношенія къ „отечеству“, когда послѣднее становится ему на пути къ славѣ. Шекспиръ же поставленный Плутархомъ вопросъ рѣшилъ. У него Брутъ—„человѣкъ“, носящій въ себѣ то, что наиболѣе близко и дорого поэту, и чѣмъ, по его мнѣнію, живы люди. Цезарь же, (котораго внѣшнее величіе—еще разъ повторимъ это—было ясно видно Шекспиру, и о которомъ онъ въ рѣчахъ Антонія разсказалъ все, что можно было разсказать) этотъ „величайшій практическій геній“, вызывавшій, какъ и всѣ практическіе геніи, удивленіе и благодарность толпы, при жизни награждающей ихъ аплодисментами, увѣковѣчивающей ихъ послѣ смерти памятниками,—показался Шекспиру сравнительно ничтожнымъ. Онъ—изъ тѣхъ героевъ, которые, чтобъ пріобрѣсть славу, принижаются до средняго уровня пониманія, стараются дать людямъ то, что имъ по вкусу, и себѣ требуютъ за это знаковъ высшаго почета. Брутъ хотѣлъ поднять римлянъ до своей высоты и ничего за это себѣ не требовалъ, все свое отдалъ. Цезарь получилъ бы корону, вѣроятно, если бы не преждевременная смерть—да корона вѣдь и досталась его преемнику. Брута же домъ сожгли и самого бы его растерзали, если бы онъ не спасся бѣгствомъ. Цезарь служилъ минутнымъ нуждамъ толпы, Брутъ искалъ вѣчныхъ идеаловъ. Антоній зналъ, чѣмъ можно погубить Брута: онъ прочелъ народу завѣщаніе Цезаря: Послѣ смерти, какъ и при жизни, Цезарь дѣлалъ одно дѣло награбленнымъ силой гражданъ добромъ покупалъ ихъ же расположеніе. Не даромъ у Шекспира Цезарь не любитъ наблюдательныхъ людей, которые „проникаютъ дѣла другихъ насквозь пытливымъ взоромъ“. Для Цезаря такіе люди—вѣчное напоминаніе о той роли, которую онъ играетъ. Цезарь не выноситъ проницательности, ибо чувствуетъ, что она увидитъ подъ его славой. Антоній и всѣ римляне ему нужны, ибо они, вмѣсто того, чтобы разрушать иллюзію, своими восторгами питаютъ ее и доводятъ, быть можетъ, самого артиста до убѣжденія, что онъ не играетъ, а живетъ. По-

этому-то, какъ уже было указано, фигура Цезаря въ трагедіи Шекспира проигрываетъ много. Авторъ заставляетъ его говорить именно то, чего онъ никогда бы не сказалъ. Такой пріемъ сразу обнажаетъ предъ нами его душу, но слова звучатъ коварной насмѣшкой надъ нимъ самимъ. Плутархъ передаетъ, что однажды Цезарь, вопреки обычаю и правиламъ приличій, не всталъ, когда къ ораторской трибунѣ, на которой онъ сидѣлъ, подошли консулы и преторы въ сопровожденіи всѣхъ сенаторовъ, и что сдѣлалъ онъ это лишь потому, что одинъ изъ его льстецовъ, Корнелій Бальбусъ, шепнулъ ему слѣдующія слова: „не забывай, что ты Цезарь; ты долженъ заставить считать себя высшимъ существомъ“. Когда читаешь „Юлія Цезаря“, кажется, будто Корнелій непрерывно стоитъ за спиною Цезаря и, подсказывая ему соблазнительныя слова, заставляетъ его забывать, что отъ него требуется, и говорить отъ имени своихъ дѣйствительныхъ вкусовъ и желаній. Уже въ первомъ дѣйствіи онъ только то и дѣлаетъ, что повторяетъ слова Корнелія. Въ сравнительно небольшой своей рѣчи къ Антонію онъ два раза говоритъ о себѣ, какъ о Цезарѣ, который уже сравнялся съ Александромъ Великимъ.

Когда бы онъ (Кассій) былъ
Потолще... Впрочемъ, я то не боюсь,
Но если бъ я способенъ былъ бояться...

И затѣмъ:

Я, впрочемъ, говорю о томъ, чего
Бояться надо, самъ же не боюсь:
Я—Цезарь.

Уже онъ убѣжденъ, что лучшей похвалы, чѣмъ назвать себя Цезаремъ, т. е. самимъ собою, нѣтъ въ мірѣ. И главное, что Шекспиръ заставляетъ его непрерывно объ этомъ говорить, чтобъ зрители не подумали, что онъ не знаетъ этой великой истины.

Въ разговорѣ съ Кальфурніей—опять та же исторія. Она проситъ его не ходить въ сенатъ, ссылаясь на дурной

сонъ, который привидѣлся ей ночью, и на предзнаменованія; Цезарь отвѣчаетъ ей:

Но я пойду—я не боюсь угрозъ—
Онѣ лишь сзади на меня глядѣли;
Когда жъ увидятъ Цезаря въ лицо,
То всѣ исчезнутъ.

И еще: „знаменья эти (т. е. буря, громъ, молнія и т. д.) касаются не Цезаря, а всѣхъ". И еще въ третій разъ, въ этой же сценѣ, услышавъ отъ слуги, что авгуры тоже несовѣтуютъ выходить изъ дому въ этотъ день, онъ говоритъ:

Твореніемъ безъ сердца былъ бы Цезарь,
Когда бъ изъ страха онъ остался дома.
Но Цезарь не останется. Извѣстно
Опасности, что онъ ея опаснѣй.

И затѣмъ, когда приходитъ Децій, и Кальфурнія предлагаетъ Цезарю въ объясненіе своего отсутствія въ сенатѣ сослаться на болѣзнь, Цезарь негодуетъ:

Цезарь будетъ лгать?
Затѣмъ ли я побѣдами своими
Прославился, чтобы теперь бояться
Предъ стариками правду говорить?
Скажи имъ, Децій: Цезарь не придетъ.

Въ концѣ концовъ, сошедшіеся къ нему заговорщики убѣждаютъ его итти, и онъ отправляется въ сенатъ, гдѣ попрежнему только и говоритъ, что о своемъ величіи. Тяжело слушать такія рѣчи изъ устъ того, кто черезъ минуту станетъ кровавымъ комомъ земли. Наканунѣ рокового событія, когда зашла рѣчь о томъ, какая смерть—наилучшая, Цезарь, по словамъ Плутарха, отвѣтилъ: „неожиданная". Онъ сидѣлъ за письмами, въ сторонѣ отъ разговаривавшихъ, такъ что былъ далекъ отъ предмета бесѣды и, тѣмъ не менѣе, быстро, не задумываясь произнесъ свой отвѣтъ, который, повидимому, давно уже сложился въ его душѣ. Лучшая смерть—

это неожиданная, такая, которая не предстанетъ прежде съ вопросомъ: зачѣмъ ты жилъ? Въ этомъ отвѣтѣ Цезаря безъ труда можно увидѣть предсмертныя слова его преемника другого „практическаго генія“ и благодѣтеля римлянъ, Октавія: „plaudite, amici, comedia finita est.“. Когда смерть не пришла неожиданно, а спросила, зачѣмъ жилъ человѣкъ, Октавій могъ только сказать: затѣмъ, чтобы сыграть свою роль. Цезаря судьба избавила отъ ужасной необходимости подписать такой приговоръ своей жизни. Ибо, что иное могъ онъ отвѣтить смерти, если бы она, какъ опасность, не подошла къ нему сзади. Опасности боялись его, говорилъ онъ—но смерть пожалѣла его. И за нѣсколько минутъ до конца онъ все еще, словно чувствуя подлѣ себя Корнелія, говоритъ о своемъ величіи.

Когда бъ
Я былъ во всемъ подобенъ вамъ, тогда
Меня поколебать возможно бъ было;
Когда-бъ я самъ способенъ былъ на просьбы,
То и меня могли бы просьбы тронуть.
Но не таковъ я: Цезарь постояненъ,
Какъ сѣвера звѣзда, которой равной
По твердости и свойствамъ неизмѣннымъ
Нѣтъ на небѣ; тамъ много яркихъ звѣздъ,
И всѣ онѣ горятъ, сіяютъ, блещутъ,
Но неизмѣнна лишь одна изъ нихъ.
То жъ на землѣ: людей на ней довольно,
Но люди—плоть и кровь—они такъ слабы!
И между нихъ лишь одного я знаю,
Который недоступенъ, какъ твердыня,
Котораго ничто не поколеблетъ.
То—Цезарь.

Почти послѣднія слова—отвѣтъ Циннѣ:

Прочь, Олимпъ ты сдвинуть хочешь!

Смерти онъ бы такъ не отвѣтилъ. Въ часъ кончины сознаніе того, что всю жизнь копилъ славу, даетъ такъ же

мало утѣшенія, какъ воспоминанія о сбереженныхъ богатствахъ.

Какъ своевременно пришла смерть къ Цезарю: въ тотъ именно моментъ, когда онъ считалъ себя Олимпомъ!

Итакъ, въ Цезарѣ Шекспиръ видѣлъ созданный римской цивилизаціей типическій культъ величія, культъ противный всему духовному складу поэта. Шекспиръ умѣлъ понимать и изображать величіе, какъ ни одинъ изъ писателей. Но ему величіе всегда представлялось осмысленнымъ, содержательнымъ. Онъ знаетъ величіе въ любви, въ ненависти, въ несчастіи, въ опасности, въ служеніи красотѣ. Но онъ не понимаетъ опасности, которой ищутъ ради того, чтобы быть великимъ, несчастія, которое терпѣливо выносится изъ-за того, чтобы заслужить славу Александра, милосердія къ врагамъ ради того, чтобъ потомки занесли это въ свои лѣтописи. Оттого Цезарь такъ умаляется предъ Брутомъ. Цезарь изображаетъ величіе, Брутъ истинно великъ. Лишите Цезаря зрителей, хотя бы разбойниковъ, предъ которыми онъ въ молодые годы изображалъ, незнающее смущенія и страха величіе, и ему нечего съ собой дѣлать. Брутъ же останется Брутомъ во всякой обстановкѣ. Ему не нужно во что бы то ни стало быть гдѣ-нибудь первымъ; лавры Александра не смущаютъ его сна. Онъ будетъ жить со своими друзьями, съ Порціей, съ Люціемъ и останется великимъ и глубокимъ Брутомъ. Цезарь же—актеръ: ему нужно поприще сцена, аплодисменты. Его задача—исполнить свою роль. Брутъ выходитъ на историческую арену, чтобы жить съ людьми, чтобы помочь ихъ нуждамъ, чтобы научить ихъ быть лучшими. Оттого онъ всегда правдивъ, мягокъ, честенъ, оттого у него для всѣхъ есть слово привѣта, оттого онъ такъ мужественно переноситъ страшнѣйшіе удары судьбы. Играть даже самую трудную роль—значитъ лишь подражать, воспроизводить то, что уже дѣлали другіе; это не то, что разрѣшить самому даже маленькую жизненную задачу. А у Брута—великая задача. Онъ не хлопочетъ о томъ, чтобъ всегда остаться нравственно чистымъ, какъ утверждаетъ Брандесъ.

Его нравственная чистота—есть лишь слѣдствіе всего его душевнаго склада. Онъ ненавидитъ ложь, онъ великодушенъ, онъ чувствуетъ въ ближнемъ человѣка—оттого онъ нравственно великъ. Обратная психологія у Цезаря, который, чтобъ сравниться съ Александромъ, готовъ быть и щедрымъ, и милостивымъ, и правдивымъ—но, наоборотъ, можетъ быть и мелочнымъ, и жестокимъ и даже стать предметомъ развлеченія для разбойниковъ. Брутъ о себѣ мало думаетъ; у Цезаря всегда его я на умѣ и—какъ только за его спиной станетъ Корнелій или въ перспективѣ покажется золотая бездѣлушка, воплощающая въ себѣ всѣ его мечты—также и на языкѣ.

XVI.

„Коріоланъ“, въ противоположность „Юлію Цезарю“ уже вполнѣ удовлетворяетъ Брандеса. „Что хотѣлъ сказать Шекспиръ своей драмой“, спрашиваетъ Брандесъ, разбирая Цимбелина. „Мои читатели знаютъ, что я съ этого никогда не начинаю. Что толкнуло его написать ее, какъ онъ пришелъ къ этому матеріалу—вотъ основной вопросъ. Разъ на него отвѣтить—все остальное станетъ ясно“ *). Это—пріемъ Брандеса. Ему всегда нужно знать прежде всего, что натолкнуло автора на извѣстный матеріалъ, потомъ, что онъ хотѣлъ сказать, а до того, что поэтъ сказалъ, критикъ обыкновенно уже не добирается. Въ отношеніи къ Шекспиру этотъ пріемъ совсѣмъ плохо примѣнимъ. Шекспиръ давно уже жилъ и почти невозможно выяснить, что побуждало его браться за ту или иную тему. Но намъ кажется не безынтереснымъ примѣнить такой способъ изслѣдованія къ самому Брандесу, тѣмъ болѣе, что въ его книгѣ намѣренія и побудительныя причины сквозятъ на всѣхъ страницахъ, какъ счастье сердца сквозь жилетъ Гейневскаго влюбленнаго. Въ разборѣ „Коріолана“ и „Троила и Крессиды“ оболочка истинныхъ стре-

*) Brandes, стр. 891.

мленій автора становится особенно прозрачной. Онъ даже оправдывается заранѣе: „мы, говоритъ онъ, не имѣемъ никакого интереса коверкать Шекспира; для насъ важно лишь быть настолько тонко воспріимчивыми, чтобъ въ его произведеніяхъ чувствовать его самого“ *). Это, конечно, очень важно. Но въ данномъ случаѣ, когда, при разборѣ Коріолана, Брандесъ отыскалъ такого Шекспира, какого ни англійская ни нѣмецкая критика не видѣла, невольно не вѣришь ему, что у него не было „никакого интереса коверкать Шекспира“. Интересъ то былъ.. Нужно лишь выяснить, какой именно.

Еще при разборѣ „Троила и Крессиды“ критикъ, по поводу рѣчи Улисса, котораго онъ называетъ предвѣстникомъ Просперо, слѣдовательно, представителемъ самого Шекспира замѣчаетъ: „его воззрѣнія всецѣло основываются на томъ, что въ настоящее время въ нѣмецкой философіи называется „паѳосомъ разстоянія“, т. е. на убѣжденіи, что существующая въ дѣйствительности разница между человѣкомъ и человѣкомъ ни подъ какимъ видомъ не должна быть сглажена“ **). Здѣсь въ ковычки нужно еще было взять выраженіе „между человѣкомъ и человѣкомъ“ и затѣмъ замѣнить слова „въ нѣмецкой философіи“. Не въ нѣмецкой философіи, а у Фридриха Нитше, которому принадлежитъ и терминъ „паѳосъ разстоянія“ и объясненіе его—„разница между человѣкомъ и человѣкомъ“. Кажется, въ русскую литературу эти выраженія еще не проникли. Они значатъ, что условіемъ человѣческаго развитія служитъ сознаніе своего превосходства надъ ближнимъ, и что поэтому всѣ попытки новаго времени поднять низшіе слои населенія до высшихъ должны быть признаны вреднымц для цивилизаціи. Нитше въ одномъ мѣстѣ замѣчаетъ, что намъ недостаетъ рабства, ибо лишь сравнивая себя съ ближнимъ—рабомъ, человѣкъ можетъ понять свое высокое назначеніе. Это лежитъ въ основаніи „аристократическаго“ воззрѣнія Нитше, и такой взглядъ Брандесъ

*) Іb. 777.
**) Іb. 757.

приписываетъ Шекспиру, какъ автору „Троила и Крессиды“.

Къ „Коріолану“ же поэта толкнуло то обстоятельство, что онъ „жилъ уже на холодныхъ высотахъ, за снѣговой линіей, по ту сторону человѣческихъ похвалъ и упрековъ, надъ радостями почета и огорченіями славы, вдыхая чистый воздухъ горныхъ мѣстъ—то высокое равнодушіе, къ которому стремится несомая своимъ презрѣніемъ душа“ *).

Вся эта фраза составлена изъ выдернутыхъ все у того же Нитше словъ, на этотъ разъ уже, вѣроятно, знакомыхъ нѣсколько нашимъ читателямъ, ибо всѣ они уже занесены до нѣкоторой степени въ русскую литературу, тоже безъ ссылки на источникъ и, приблизительно, въ такой же удачной комбинаціи, какъ и у датскаго критика. У Нитше всѣ они имѣютъ смыслъ и употребляются въ свое время и на своемъ мѣстѣ. Мы не можемъ здѣсь подробно говорить о Нитше, котораго трагическая судьба привела къ его поразительной философской лирикѣ, если такъ можно выразиться, дающей ему возможность сохранить видимое душевное равновѣсіе въ такомъ положеніи, которое для всякаго другого человѣка было бы невыносимымъ. Читая Нитше, не надивишься тому напряженію, до котораго можетъ дойти человѣкъ, если ему нужно оправдать и осмыслить свою жизнь здѣсь, „на отмели временъ“.

Но сила и мощь Нитше дала ему массу поклонниковъ, разносящихъ по свѣту его „слова“. Къ нимъ относится и Брандесъ. Это, конечно, его дѣло. Насъ занимаетъ здѣсь лишь то, что критикъ хочетъ приспособить Шекспира къ Нитше. Датскій критикъ полагаетъ, что сдѣлаетъ честь Шекспиру, если докажетъ, что Шекспиръ дорось до Нитше къ концу своей поэтической дѣятельности. Просперо въ „Бурѣ“ Брандесъ уже называетъ „Uebermensch'емъ“—сверх-

*) Ib. 786.

человѣкомъ, т. е. тѣмъ идеаломъ, который воплотилъ въ себѣ Нитшевскій Заратустра.

Теперь мы знаемъ, что „толкнуло“ Брандеса къ его разсужденіямъ и все остальное выяснится для насъ само собой.

Отчего Шекспиръ написалъ „Троила и Крессиду“, гдѣ позволилъ себѣ такое непочтительное отношеніе къ гомеровскимъ героямъ?

„По всѣмъ человѣческимъ (!) соображеніямъ, горечь, которую испыталъ Шекспиръ, видя, что Пэмброкъ предпочитаетъ ему Чепмена (переводившаго тогда Гомера на англійскій языкъ) въ связи съ тѣмъ неудовольствіемъ, которое вызывали въ немъ высокомѣріе, неестественность, грубость, чопорность и педантизмъ старыхъ поэтовъ, въ свою очередь способствовала тому, чтобъ побудить его къ запосчивой оппозиціи противъ обязательнаго преклоненія предъ гомеровскимъ міромъ“ *).

Вторая причина—общее раздраженіе и пессимизмъ Шекспира, въ силу которыхъ онъ создаетъ Терсита, не какъ типъ извѣстнаго человѣка, а какъ выразителя собственнаго настроенія **). Онъ обезобразилъ гомеровскихъ героевъ лишь потому, что „писалъ въ настроеніи такой глубокой горечи, которую не могла смягчить ни женская любовь, ни удивленіе (предъ подвигами гомеровскихъ героевъ)“ ***). „Троилъ и Крессида“,—„есть порожденіе зрѣлаго возраста, недовѣрія, разочарованія, горечи“ ****). Въ этой пьесѣ обнажается у Шекспира тотъ нервъ, котораго „по обычнымъ представленіямъ у него не было“, и который выясняетъ, что „между прежней веселой Англіей (merry England) и позднѣйшей страной сплина есть связь“. И еще была причина: „Шекспиръ не въ состояніи былъ понять гомеровскую поэзію“ *****). Все это, дѣйствительно, очень не похоже на

*) Ib. 732.

**) Ст. 734 и 735 посвящены у Брандеса «обоснованію» такого его «взгляда».

***) Ib. 744.

****) Ib. 746.

*****) Ib. 743.

„обычныя представленія“ о Шекспирѣ. Любопытно лишь, какъ это человѣкъ, живущій „по ту сторону“ хвалы и порицанія, такъ дорожитъ кивкомъ Пэмброка?! Мы уже не вспоминаемъ о процентахъ и откупахъ, которыхъ, конечно, за снѣговой линіей не бываетъ. Но критику необходимо присвоить Шекспиру горечь и пессимизмъ, чтобы довести его до всѣхъ холодныхъ свойствъ, которыя онъ приписываетъ Нитше. Безъ „презрѣнія“ за снѣговую линію не попадешь. И онъ увѣряетъ, что „устами“ Терсита говоритъ самъ Шекспиръ. А разочаровался поэтъ въ жизни—вслѣдствіе разныхъ неудачъ. Мы приведемъ небольшую выписку изъ рѣчи Агамемнона, которая убѣдитъ читателя, какъ мало способенъ былъ Шекспиръ именно въ ту пору, когда писалъ „Троила и Крессиду“, падать духомъ даже отъ большихъ и серьезныхъ неудачъ. Агамемнонъ ведетъ рѣчь именно объ умѣньѣ бороться съ бѣдой и съ невзгодами, и о необходимости противоставлять испытаніямъ судьбы настойчивость и терпѣнье.

Драгоцѣнность
Подобнаго металла (т. е. настойчивости) невозможно
Изслѣдовать, покуда благосклонна
Къ намъ грозная судьба. Иначе бъ храбрый
И трусъ, мудрецъ и безразсудный, сильный
И слабый, мужъ ученый и невѣжда—
Безъ всякаго различья оказались
Всѣ равнаго достоинства. Лишь бури
Превратностей житейскихъ дуновеньемъ
Однимъ своимъ могучимъ разгоняютъ
Съ расплавленной поверхности металла
Негодную, безсильную ту накипь,
Что примѣсью дешевою зовется;
И только то, въ чемъ есть и вѣсъ, и плотность,
Что въ чистотѣ своей огнеупорной
Лежитъ на днѣ плавильнаго сосуда,
Считается металломъ благороднымъ.

Это отвѣтъ Брандесу. Успѣхъ Чепмена, пренебреженье Пемброка, высокомѣріе товарищей и прочія житейскія не-

удачи могли бы обратить Шекспира въ пессимиста, если бы онъ былъ „дешевою примѣсью“, а не тѣмъ благороднымъ металломъ, который не боится ни высокой температуры, ни ударовъ молота. Но критикъ все ищетъ мрачности у Шекспира и, конечно, находитъ, если не стѣсняется утверждать, что поэтъ и устами Терсита говорилъ.

Въ „Коріоланѣ“ та же пѣсня. Брандесъ все „глубже вникаетъ въ сочиненія Шекспира и въ обстоятельства эпохи“ и находитъ все новыя доказательства того, что жизнь и люди вызывали въ поэтѣ лишь одно негодованіе, и что мотивы, побуждавшіе его къ творчеству, были самаго мелкаго и низменнаго характера. Даже ему „трудно признаться“, что Шекспиръ заискивалъ у Якова I, но онъ превозмогаетъ себя и признается. И въ „Гамлетѣ“, написанномъ еще въ царствованіе Елизаветы, Брандесъ подмѣчаетъ благодарные взгляды по адресу Якова, тогда еще шотландскаго короля, и въ „Мѣрѣ за мѣру“ оправданіе Якова, бѣжавшаго отъ чумы, и въ „Бурѣ“, гдѣ Просперо—образный комплиментъ ученому англійскому королю. Мы не будемъ вдаваться въ подробный разборъ всѣхъ его догадокъ, не имѣющихъ даже интереса новизны. Онѣ уже давно высказывались разными критиками, но серіознаго значенія почти никто имъ не придавалъ; ни кому и въ голову не приходило ими объяснять творчество великаго поэта. Брандесъ же въ нихъ видитъ то, что „толкало“ Шекспира... Но тѣмъ важнѣе провѣрить его оцѣнку „Коріолана“, въ которомъ, какъ и въ „Юліи Цезарѣ“, міровоззрѣніе Шекспира должно было особенно рѣзко сказаться. Мы приблизительно знаемъ, что Брандесъ „хочетъ сказать“ о „Коріоланѣ“ и что побуждаетъ его говорить именно это, а не другое. Такъ что выводы его насъ не удивятъ.

Прежде всего критикъ пытается установить, что въ „Коріоланѣ“ сказалось антидемократическое настроеніе Шекспира и его преклоненіе предъ героями. Поэтому будто бы поэтъ изображаетъ народъ столь непривлекательнымъ, а Коріолана полубогомъ. Откуда же взялось у Шекспира такое

отношеніе къ народу, въ то время, когда, по признанію самого Брандеса, Шекспиръ простолюдина всегда изображалъ съ лучшихъ сторонъ? И вотъ тутъ-то мы встрѣчаемся съ курьезомъ, который не уступитъ придуманной однимъ критикомъ гипотезѣ о томъ, что Гамлетъ—это переодѣтая дѣвица, влюбленная въ Горацію. Тѣмъ не менѣе этотъ курьезъ очень характеренъ для современной критики, занимающейся расписываніемъ „случая“. Для нея цѣльность поэтической души, внутренняя гармонія между запросами духа и творчествомъ—непонятная, ненужная вещь—они ищутъ лишь связи между событіями, толчка, какъ причины, вызвавшей слѣдствіе. И всякая причина хороша, всякій толчекъ годится. Поэтому Шекспиръ и ростовщикомъ былъ, и завистникомъ, и угодничалъ предъ Яковомъ; поэтому онъ „не понималъ Гомера“, „безъ зазрѣнія совѣсти“ изуродовалъ Цезаря. Критикъ не понимаетъ, почему англичане въ Шекспирѣ видятъ „не только національнаго поэта, но и органъ мудрости и находятъ въ его поэзіи лишь любовь къ простому, справедливому, истинному“. Брандесу кажется, что и безъ этихъ свойствъ можно быть величайшимъ поэтомъ въ мірѣ. Онъ у Тэна читалъ, что любовь къ простому, справедливому и истинному есть только одна изъ формъ, примыкающихъ къ матеріи и спеціальнаго значенія имѣть не можетъ. Даже изученіе Шекспира не помогаетъ Брандесу, и онъ ухитряется понимать великаго поэта, какъ существо сначала смѣявшееся, потомъ меланхолически вывшее, потомъ рычавшее, и, наконецъ, снова перешедшее въ мирные тоны, хотя уже не веселаго характера. Весь Шекспиръ передъ человѣкомъ, эти „великія книги человѣческихъ судебъ“, какъ выразился Гете, эта „свѣтская Библія“, какъ сказалъ Гейне, и все это богатство не въ помощь ученому критику. Весь погруженный въ отысканіе „причинъ“ и въ подведеніе къ „послѣднему слову науки“, онъ ни на секунду не видитъ огненныхъ буквъ, которыми писалъ великій поэтъ, и полагаетъ, что отдалъ должную дань „художественности“, если назвалъ Тэна „односторонимъ“, и, говоря о Шекспирѣ вмѣсто „предикатовъ“ и

„понятій“ употребляетъ такія слова, какъ судьба, отчаяніе, божественный (о Фальстафѣ). Ему и въ голову не приходитъ, что поэзія Шекспира связана съ его любовью ко всему простому, истинному, справедливому, великому и прекрасному, что, болѣе того, его поэзія и есть это истинное, великое и прекрасное. Брандесъ читалъ Нитше и знаетъ, что поэтъ есть существо, умѣющее высокопарно болтать о нравственномъ и иномъ величіи и, чтобъ не отстать отъ науки, отдѣляетъ творчество Шекспира, какъ нѣчто совершенно непохожее на жизнь его. Поэтъ, можетъ быть, выходитъ у него, ничтожностью и превосходно повѣствовать о величіи! Но это—ложь. Для поэта нравственное величіе не мечта, а то, чего онъ искалъ въ жизни, чему онъ отдалъ всего себя. Великій поэтъ прежде всего отличается отъ насъ тѣмъ, что цѣнитъ добро и красоту, чувствуя все ихъ реальное значеніе, а не повторяя вслѣдъ за другими то, что считается признакомъ возвышенной души. Если для средняго человѣка Аполлонъ Бельведерскій, Жанна д'Аркъ, Брутъ—суть лишь предметы обязательнаго преклоненія, для которыхъ, какъ для благородной потѣхи, отдается часъ, чтобъ время посвятить „дѣламъ“ и болѣе пріятнымъ забавамъ, то поэтъ прежде всего ищетъ ихъ въ убѣжденіи, что все остальное ему приложится. Для великаго поэта добро и красота составляютъ сущность жизни, а не ея добавленіе. Какъ ни тяжелъ бываетъ путь поэта, онъ не свернетъ съ него и не промѣняетъ его на колею средняго человѣка. И средніе люди, поскольку имъ удается постичь генія, именно то и цѣнятъ въ немъ, что онъ, несмотря на кажущіеся имъ непреодолимыми соблазны міра, идетъ, не останавливаясь, туда, гдѣ растетъ еще никому недоступное „лучшее“ и для этого лучшаго у него нѣтъ слишкомъ тяжелыхъ жертвъ. И, если Шекспиръ былъ величайшимъ изъ геніевъ, то лишь потому, что онъ умѣлъ находить и цѣнить это „лучшее“ и передавать его намъ. Въ его произведеніяхъ мы находимъ, говоря его словами, „оправданіе Небу“—то оправданіе, которое онъ нашелъ Ему въ своей душѣ. Кучка „плохихъ дил-

летантовъ", по Брандесу, оспариваетъ у Шекспира право называться авторомъ своихъ произведеній. Нѣтъ—не то: она оспариваетъ у критиковъ право навязывать поэту жизнь, отъ которой онъ бы съ ужасомъ отвернулся, и обращать его въ мечтающее ничтожество, „въ философіи дѣйствія не достигающее и средней честности" (Нитше). Факты изъ біографіи Шекспира, вмѣстѣ съ „проницательностью" критиковъ дѣлаютъ больше, чѣмъ всѣ диллетанты въ мірѣ. Они отнимаютъ у поэта его искусство, обращаютъ его произведенія въ „сказку, разсказанную глупцомъ, богатую словами и звономъ фразъ, но нищую значеньемъ". Значеніе Шекспира въ томъ, что онъ могъ быть такъ великъ, не прибѣгая ко лжи, какъ и его Брутъ. Для него идеалы не были красивой ложью какъ выходитъ у Брандеса, а лишь выраженіемъ истинныхъ человѣческихъ стремленій, которыя и въ немъ самомъ не нашли себѣ настоящихъ словъ. Онъ не пріукрашаетъ риторикой жизнь—онъ у жизни заимствуетъ краски для своей поэзіи. Вы чувствуете, что онъ всегда у источника. И въ кого подъ руками Брандеса, обращается величайшій изъ людей!

XVII.

Но вернемся къ курьезу, о которомъ мы говорили выше. Брандесу нужно объяснить антидемократическое настроеніе Шекспира. И онъ придумываетъ такой пріемъ: изъ всего Шекспира онъ выписываетъ тѣ мѣста, въ которыхъ разныя лица попрекаютъ народъ за то, что отъ него несетъ скернымъ запахомъ, и изъ этого дѣлаетъ „заключеніе", что Шекспиръ не любилъ народа, главнымъ образомъ потому, что народъ „воняетъ". Мы избавимъ читателей отъ этихъ выписокъ, которыя у Брандеса занимаютъ цѣлыхъ двѣ страницы, гдѣ необходимое для „ученаго вывода" слово „stinken" встрѣчается въ разныхъ временахъ и лицахъ 5 или 6 разъ. Но вотъ заключеніе: „именно скверный запахъ отталкивалъ Шекспира отъ толпы. И онъ былъ настолько истиннымъ артистомъ, насколько онъ былъ такъ же воспріимчивъ къ не-

удовольствію, доставляемому скверным запахомъ, какъ и женщины" *). И еще—„страстное (!) отвращеніе Шекспира къ господству толпы, хотя и было вызвано презрѣніемъ къ ея способности судить и цѣнить, но глубже всего оно коренилось въ чисто чувственномъ отвращеніи его художественныхъ (!) нервовъ къ атмосферѣ простолюдиновъ" **). Наконецъ, Брандесъ, перечисляя разнаго рода недостатки, которые Шекспиръ видѣлъ въ народѣ, говоритъ: „но всѣ эти свойства поглощены были однимъ: народъ воняетъ". Не правда ли, это „ученое" объясненіе не уступитъ гипотезѣ о Гамлетѣ—переодѣтой дѣвицѣ? И сколько претенціозности и напускного жеманства во всѣхъ этихъ разсужденіяхъ о художественныхъ нервахъ! Должно быть, критикъ забылъ о пророкѣ Іезекіилѣ, которому Богъ приказалъ ѣсть хлѣбъ съ пометомъ и возвѣщать людямъ добро. Величіе духа пророка чуждо дряблымъ современнымъ натурамъ, воспитаннымъ на „идеяхъ" и не выносящимъ столкновенія съ дѣйствительностью, которая настолько же выше идеи, насколько солнце теплѣе разсказа о лѣтнемъ днѣ. Ихъ скверный запахъ смущаетъ (можетъ быть, „парализуетъ"!) и они не только не стыдятся своей негодности, но возводятъ ее въ новѣйшую добродѣтель подъ именемъ „свойства, присущаго всѣмъ истиннымъ художникамъ". Всѣмъ слабостямъ своимъ люди подыскали такія имена, подъ которыми ихъ можно уже не только не скрывать, но выставлять наружу и гордиться, какъ достоинствами. Опровергать примѣнимость „вывода" Брандеса къ Шекспиру предоставимъ ему же самому. „Вообще, говоритъ онъ, нужно отмѣтить эту черту у Шекспира: въ то время какъ онъ, повидимому, постоянно изображаетъ то въ комическомъ, то въ страшномъ видѣ народъ, когда рѣчь идетъ о толпѣ, онъ умѣлъ представить въ сущности интересный и привлекательный типъ простолюдина въ лицѣ своихъ шутовъ, съ ихъ здравымъ умомъ, съ ихъ естествен-

*) Brandes. стр. 768.
**) Ib. стр. 769.

нымъ остроуміемъ и добрымъ сердцемъ“ *). А запахъ гдѣ же? Или одинъ мужикъ „не воняетъ“? Очевидно, Шекспиръ понималъ, что „толпа“ и „народъ“ не одно и то же, и Брандесу это тоже ясно, когда нѣтъ надобности доказывать, что Шекспиръ держался „аристократическаго“ міровоззрѣнія, и отыскивать „художественное“ основаніе ненависти Шекспира къ простому народу... Шекспиръ и боязнь сквернаго запаха! Шекспиръ, нарисовавшій въ концѣ XVI вѣка Шейлока, презрѣннаго жида, который по понятіямъ англичанъ того времени (тогда въ Англіи евреямъ безусловно запрещалось жить) былъ воплощеніемъ всѣхъ скверныхъ запаховъ, и физическихъ и нравственныхъ—если такъ можно выразиться, чѣмъ-то въ родѣ тѣлесной и душевной проказы! Шекспиръ, не побоявшійся подойти къ этому оборванцу, грязному и отвратительному, чтобъ подъ самой ужасной внѣшностью, когда либо существовавшей, у жида, которому плевали въ бороду, давали пинки, ругали псомъ, найти душу и какую великую человѣческую душу. Шекспиръ по запаху судилъ о простомъ народѣ—иными словами почти обо всѣхъ людяхъ! Шекспиръ, конечно, не увидѣлъ бы Шейлока и не разсказалъ бы намъ о немъ, если бы, подобно пророку, не умѣлъ силой творческой мысли побѣждать всѣ тѣ препятствія на пути къ познанію ближняго, которыя создаютъ общественные и сословные предразсудки, и личные вкусы и антипатіи. Шейлокъ въ драмѣ Шекспира уже не грязный жидъ; въ своемъ засаленномъ кафтанѣ, съ нечесанной бородой, пейсами и прочими аттрибутами жидовства, онъ становится героемъ, надъ которымъ современные „художественные“ люди, столь воспріимчивые къ скверному запаху, плачутъ—въ театрѣ, конечно, ибо въ жизни Шейлокъ остается для нихъ такимъ же вонючимъ жидомъ, какимъ былъ и до Шекспира.

Но Брандесу нужно „поднять“ Шекспира до себя и до Нитше, и онъ догадывается безъ конца. Кромѣ сквернаго

*) Стр. 97.

запаха была еще причина, въ силу которой Шекспиръ ненавидѣлъ народъ. Онъ судилъ о немъ по театральной публикѣ, которая вела себя буйно, ѣла и пила во время представленій, иной разъ швыряла объѣдками въ актеровъ. И еще была причина: Шекспиръ держалъ сторону Якова I въ его борьбѣ съ парламентомъ. Все это никакихъ иныхъ основаній, кромѣ „догадливости“ Брандеса и другихъ писателей, у которыхъ критикъ заимствовалъ свои соображенія, не имѣетъ, и все это дѣлаетъ приблизительно такую же честь Шекспиру, какъ и блестящая гипотеза о запахѣ. Но выдается все это за „психологію“ поэта, постигнутую критикомъ, за мотивы Шекспировскаго творчества... Теперь, когда „доказаны“, вопреки англійской и нѣмецкой критикѣ, „безъ всякаго интереса коверкать Шекспира“, антидемократическія чувства поэта, можно приблизить его на одинъ шагъ къ современному пониманію — приписать ему культъ героевъ. Что это значитъ, читатель пойметъ, если мы напомнимъ ему одинъ, ставшій знаменитымъ, афоризмъ Нитше: „нація есть лишь окольный путь (Umschweit) природы къ созданію пяти или шести великихъ людей“. А теперь варіантъ Брандеса на эту тему: „Шекспиръ все болѣе и болѣе склонялся къ тому воззрѣнію, что все, что даетъ цѣнность жизни, обусловлено существованіемъ великихъ людей. И такимъ образомъ, культъ героевъ, которымъ онъ поклонялся еще въ ранней юности, получаетъ свое дальнѣйшее развитіе“. Есть еще два или три такихъ же мѣста у Брандеса, которыя сводятся къ тому, что въ „Коріоланѣ“ Шекспиръ дѣлилъ человѣчество на чернь, достойную презрѣнія, и аристократовъ, героевъ, оправдывающихъ своимъ существованіемъ жизнь.

Познакомившись болѣе или менѣе съ тѣмъ, что „думалъ и чувствовалъ“ Шекспиръ, когда писалъ „Коріолана“ или, вѣрнѣе, что думалъ бы Брандесъ, если бы писалъ „Коріолана“, приступимъ къ разбору этой замѣчательной трагедіи. Матеріалъ для нея взятъ все изъ того же Плутарха, котораго Шекспиръ настолько цѣнитъ, что, гдѣ возможно,

сохраняетъ даже его подлинныя слова. Отношеніе между историкомъ и поэтомъ то же, что и въ „Юліи Цезарѣ“. У Плутарха не хватаетъ силъ, чтобы разрѣшить возстающія предъ нимъ психологическія задачи. Вся острота его ума въ концѣ концовъ недостаточна для пониманія Цезаря. Онъ указываетъ на достоинства и недостатки своего героя— но примирить ихъ не можетъ, хотя Коріоланъ, какъ натура, повидимому, болѣе простая и непосредственная, для него яснѣе, чѣмъ Цезарь. Но все-же ему не удается вполнѣ осмыслить и понять ту внутреннюю борьбу, которая происходитъ въ душѣ этого человѣка—скалы. Онъ, съ самого начала, отмѣчаетъ двѣ стороны характера Коріолана и ими уже до конца, какъ и въ „Юліи Цезарѣ“, объясняетъ все его поведеніе. Коріоланъ, говоритъ Плутархъ, являетъ собою доказательство въ пользу тѣхъ, которые утверждаютъ, „что самые лучшіе и благородные задатки, если они не получаютъ надлежащаго развитія, подобно плохо воздѣланной плодородной почвѣ, вмѣстѣ съ добромъ приносятъ и много зла. Ибо сила и крѣпость его души породила въ немъ пылкое и дѣятельное стремленіе къ славнымъ предпріятіямъ; но съ другой стороны, это же привело его и къ преувеличенной горячности и къ неподвижному упрямству, вслѣдствіе чего онъ былъ невыносимъ для людей и неприспособленъ къ общественной жизни до такой степени, что даже тѣ, которые удивлялись его равнодушію къ удовольствіямъ и богатству, и презрѣнію ко всѣмъ тягостямъ, и называли въ немъ эти свойства такими именами, какъ воздержаніе, справедливость и мужественная сила,—даже тѣ не могли выносить его при политическихъ переговорахъ, какъ ненавистнаго, противнаго и умѣющаго только приказывать человѣка. Высшее преимущество, которое выносятъ люди изъ общенія съ музами, сводится къ тому, что ихъ природа становится болѣе утонченной, благодаря занятіямъ и наукѣ, и это направляетъ ихъ по среднему пути, не давая имъ ударяться въ крайности. Правда, въ общемъ Римъ въ ту эпоху, среди всѣхъ добродѣтелей,

наиболѣе чтилъ воинственный духъ и храбрость; доказательствомъ тому служитъ то обстоятельство, что римляне добродѣтель называли virtus и, такимъ образомъ, называли добродѣтель вообще словомъ, обозначавшимъ, спеціально храбрость“ *). Эти Плутарховскія замѣчанія служатъ наилучшимъ введеніемъ къ Коріолану. Вся эпоха, а съ ней вмѣстѣ и ея герой, такъ тонко очерчены этой одной фразой—что римляне не могли придумать лучшей хвалы для добродѣтели, какъ назвать ее „virtus“ т. е. храбростью. Если бы Шекспиръ и въ самомъ дѣлѣ не имѣлъ никакой иной подготовки, то для его фантазіи этихъ немногихъ словъ было бы достаточно, чтобы понять основную черту уклада римской жизни. Но, видно, у Шекспира были еще источники или, на самомъ дѣлѣ, есть геніи, для которыхъ не существуютъ ни время, ни пространство и которые мечтою могутъ проникать во всѣ эпохи человѣческой исторіи—такъ полна и вѣрна исторіи нарисованная имъ въ „Коріоланѣ“ картина. Для Брандеса же очевидно, что Шекспиръ „не могъ составить себѣ рѣшительно никакого представленія о гражданскихъ общинахъ древности“ **) и что „антидемократическій духъ и антидемократическая страсть въ драмѣ („Коріоланѣ“) имѣла своимъ источникомъ не обсужденіе политическихъ обстоятельствъ, а личность самого Шекспира, сложившуюся въ теченіе многихъ лѣтъ своего развитія. Антипатія къ черни, ненависть къ толпѣ какъ къ толпѣ, такъ стара у Шекспира, что ея начало можно прослѣдить еще въ отдаленнѣйшей его юности“ ***). Мы уже говорили, что „ненависть къ толпѣ“ ничего общаго съ „антидемократической страстью“ не имѣетъ. Нашъ Толстой изобразилъ страшную сцену, гдѣ толпа разрываетъ одного человѣка, и тѣмъ не менѣе врядъ ли кто-нибудь упрекнетъ его въ „антидемократическихъ“ чувствахъ. По Брандесу же, для Шекспира „добродѣтели и преимущества простого народа

*) Плутархъ. Кай Марцій Коріоланъ, гл. 1-я.

**) Brandes, стр. 763.

***) Ib. стр. 767.

не существовали, его страданія — плоды воображенія или собственной вины, его стремленія нелѣпы; его дѣйствительныя свойства: готовность слѣдовать за тѣмъ, кто ему льститъ, неблагодарность къ тѣмъ, кто его спасаетъ; истинная его страсть — врожденная ненависть, глубокая и затаенная, ко всему великому". Но всѣ эти его свойства поглощаются однимъ—онъ воняетъ*) (курсивъ Брандеса). Изъ приведенной выше выписки изъ Плутарха читатель могъ видѣть, какова должна была быть задача „Коріолана", и какъ мало она напоминаетъ приписываемое Брандесомъ Шекспиру стремленіе прославить „полубога" Коріолана и ославить, народъ, который „воняетъ", если, вообще говоря, такое курьезное стремленіе возможно даже у посредственнаго поэта.

Предъ Плутархомъ уже возникъ глубокій и интересный психологическій вопросъ о томъ, какое вліяніе могла оказать на человѣка съ выдающимися силами жизнь въ обществѣ, гдѣ потребность къ самозащитѣ вызвала такое представленіе, что всѣ добродѣтели заимствуютъ свои качества отъ храбрости, того единственнаго солнца, который освѣщаетъ человѣческую душу. У Плутарха условіемъ совершенства человѣка является „общеніе съ музами", и онъ постоянно скорбитъ о Коріоланѣ, которому не хватаетъ искусства управлять собою. У него Коріоланъ—огромный таранъ, стѣнобитная машина, разрушающая все, что встрѣчается ей на пути, свое и чужое, такъ какъ правитъ ею слѣпая сила „virtus", т. е. то, что римляне называли высшей добродѣтелью, но что требуетъ надъ собою, какъ видно изъ примѣра Марція, иного начала, чтобъ стать достойной человѣка. Коріоланъ колотитъ и руками и языкомъ, точно молотомъ—и оказывается превосходнымъ воиномъ и отличнымъ ораторомъ. Но его сила и краснорѣчіе—это дикія стихіи, въ концѣ концовъ обрушивающіяся на него самого и Римъ. Такимъ представленъ Коріоланъ у Плутарха. Но Шекспиръ лучше, чѣмъ

*) Ib. стр. 769.

Плутархъ, понялъ и изобразилъ древнюю римскую жизнь и ея знаменитаго героя: ученикъ превзошелъ своего учителя. Однако, подставлять подъ Коріолана самого Шекспира, какъ это дѣлаетъ Брандесъ, столь же неосновательно, какъ считать Ричарда III „устами поэта“. Какъ ни могуче стихійное краснорѣчіе Коріолана—оно никогда не достигаетъ разбойничьяго пафоса Ричарда. Во всѣхъ рѣчахъ римскаго вождя мы не найдемъ ничего, что сравнилось бы съ рѣчью, которую произноситъ англійскій король передъ послѣднимъ сраженіемъ. Одно восклицаніе его: „коня, коня—полъ царства за коня!“ изобличаетъ такую душевную мощь, которая поразила бы самого Марція. Но не Шекспиръ, конечно, вдохновенно восклицалъ:

Пусть наша совѣсть—будутъ наши руки,
А нашъ законъ—мечи и копья наши.
Сомкнитесь же и грянемъ на врага:
Не на небо, такъ въ адъ, войдемъ мы рядомъ.

У Шекспира каждое дѣйствующее лицо говоритъ за себя и отъ своего имени. Нужно разъ навсегда отказаться отъ нелѣпой идеи отожествленія Шекспира съ его героями. Всѣ они лишь люди, которыхъ видѣлъ, понималъ и цѣнилъ поэтъ. И наша задача войти, вмѣстѣ съ Шекспиромъ, въ ихъ внутреннюю жизнь, чтобы уяснить себѣ, чего они искали, почему страдали, приходили къ ужасу, преступленію, безумію: иными словами—намъ нужно учиться у поэта, а не оправдывать его предъ современной наукой. Если англичане считаютъ до сихъ поръ Шекспира источникомъ откровенія, если „геніальная“ критика Тэна своей необузданной научностью не поколебала обаянія этого великаго имени на его родинѣ, приравнявъ его къ стихійнымъ явленіямъ, то Брандесу слѣдовало бы отправиться учиться въ Англію, а не самодовольно иронизировать надъ „нравственными тенденціями“ нѣмецкихъ критиковъ, впервые все-таки показавшихъ и въ значительной степени уяснившихъ великое значеніе Шекспира.

XVIII.

Посмотримъ же, насколько близокъ Шекспиръ въ „Коріоланѣ“ къ идолопоклонникамъ новѣйшей формаціи, собирающимъ въ свои ряды подъ знаменемъ Нитшевскаго Заратустры всѣхъ людей, плохо разобравшихъ сочиненія нѣмецкаго писателя.

Прежде всего „антидемократическія тенденціи“ Шекспира цѣликомъ вышли изъ головы Брандеса. Датскій критикъ полагаетъ, что если Коріоланъ бранитъ толпу, и на его брань никто не отвѣчаетъ, то это доказываетъ, что самъ Шекспиръ бранится. Ибо въ противномъ случаѣ поэтъ могъ бы выбранить Коріолана! Это было бы очень правильнымъ соображеніемъ, если бы Шекспиръ поставилъ себѣ задачей изобразить словесный диспутъ между аристократами и плебеями. Но Шекспиръ писалъ драму, а не памфлетъ, а въ драмѣ дѣйствующія лица бранятся и дерутся отъ своего имени, а не отъ имени автора.

Да, Шекспиръ слишкомъ ясно сознавалъ, насколько справедливы были претензіи римскихъ бѣдняковъ: онъ читалъ Плутарха. Послушайте жалобы возмутившихся гражданъ въ „Коріоланѣ“: „какіе тебѣ честные граждане! Бѣдняковъ не зовутъ честными: патриціи одни честны. У нихъ всего по горло, а мы нуждаемся. Пусть бы отдали они намъ хоть часть своего избытка во время—мы бы могли сказать имъ „спасибо“ за ихъ милосердіе; но для нихъ это слишкомъ разорительно. Имъ любо глядѣть на нашу худобу, да на наше горе—свой достатокъ кажется имъ слаще. Мщеніе, граждане! Пока еще осталась у васъ сила въ рукахъ—хватайте колья! Боговъ призываю въ свидѣтели—не отъ злобы, а отъ г о л о д а я говорю это!“ Такъ у Шекспира говоритъ гражданинъ. Брандесъ же объясняетъ, что для поэта „страданія народа—плоды воображенія“. Или еще: Мененій Агриппа, встрѣтивъ вооруженныхъ гражданъ, говоритъ имъ, что нечего возмущаться противъ сенаторовъ, что сенаторы отцы народу — и получаетъ такой отвѣтъ: „Никогда не были они намъ отцами.

Мы голодаемъ, а у нихъ амбары отъ хлѣба ломятся. Ихъ законы поддерживаютъ однихъ ростовщиковъ. Всякій день отмѣняется какой-нибудь новый законъ, тяжкій для богачей; каждый день выдумывается другой законъ—бѣднякамъ на угнетенье. Если война насъ не губитъ, они губятъ насъ хуже всякой войны. Вотъ какъ насъ любятъ отцы отечества". Мудрено въ такихъ жалобахъ видѣть „плоды воображенія". Но Брандесу это кажется вполнѣ „понятнымъ". Народъ—„воняетъ", такъ гдѣ же замѣтить, что онъ голодаетъ, что его безчеловѣчно эксплоатируютъ притѣсняютъ несправедливыми законами. Весьма вѣроятно, что критикъ говоритъ вполнѣ искренно: онъ лично, нужно думать, болѣе воспріимчивъ или, выражаясь его языкомъ, „его душѣ болѣе доступенъ" скверный запахъ, чѣмъ нужды голодающихъ, страданія обездоленныхъ, словомъ все то, что „въ настоящее время называется скучнымъ именемъ соціальнаго вопроса" (читатель догадывается, что послѣднія слова тоже принадлежатъ „художественной натурѣ" Брандеса). Но зачѣмъ облагораживать Шекспира!

Въ то время, какъ бѣдняки обсуждаютъ свои голодныя дѣла и собираются отъ словъ перейти къ дубинамъ (которыя и самого Брандеса заставили бы забыть и „скуку", и „скверный запахъ") на площадь являются одинъ за другимъ два патриція—Мененій Агриппа и Коріоланъ. И вотъ образецъ отношеній этихъ двухъ представителей патриціата къ народу. Мененій, слушая сѣтованія плебеевъ и разглядывая ихъ дубины, разсказываетъ имъ басню о животѣ и прочихъ членахъ человѣческаго тѣла. До того, точно ли эти люди голодны, до того, что значитъ сидѣть въ тюрьмѣ за неуплоченный патрицію долгъ, быть лишеннымъ семьи, глядѣть на пухнущихъ отъ голода дѣтей—ему нѣтъ никакого дѣла. Онъ ни на минуту не вслушивается и не вдумывается въ жалобы обиженныхъ и несчастныхъ людей. „Весельчакъ патриціи", который „не подольетъ въ чашу вина ни одной капли воды изъ Тибра", видя дубины и слыша крики, думаетъ лишь о томъ, что все это въ концѣ концовъ можетъ

помѣшать ему и его товарищамъ продолжать знакомство „съ хвостомъ ночи“—и ищетъ одного: наркотизировать толпу. Опытъ есть у него—онъ знаетъ, какъ отвлекается вниманіе голоднаго человѣка отъ нужды; и въ результатѣ—знаменитая сказка, легшая въ новѣйшее время въ основу цѣлой научной теоріи. Мененію мало дѣла до того, чего добивается толпа. Онъ мягокъ съ народомъ, ибо ему суровость не по характеру. Но эта мягкость у него лишь façon de parler. Изъ своего амбара онъ и золотника хлѣба не отдастъ, и полагаетъ, что это уже большая добродѣтель съ его стороны, если онъ убѣждаетъ кроткими словами. О томъ, чтобы провѣрить справедливость требованій этихъ людей—у него и рѣчи нѣтъ. Ему нужно лишь, чтобъ они разошлись, и онъ готовъ пожертвовать своимъ тонкимъ обоняніемъ, понюхать нѣсколько времени потные колпаки, чтобъ отдѣлаться отъ перспективы непотныхъ дубинъ. Онъ—посредникъ, человѣкъ, вносящій ладъ, т. е. такъ устраивающій, чтобъ ягненокъ не видѣлъ зубовъ волка. „Не богачи, а боги намъ нужду и скудость шлютъ; не угрожать руками, гнуть колѣна вамъ для спасенья надо. Горе! горе! Вы хулите отцовъ правителей—въ своихъ отцахъ враговъ вы видите“. Такъ разговариваетъ Агриппа, вдохновляемый желаніемъ мирно продолжать свои занятія въ хвостѣ ночи. Но вотъ является Марцій. Этотъ не знаетъ условностей. Онъ солдатъ и не привыкъ иначе добывать свое право, какъ силой, и не знаетъ зачѣмъ обращаться къ другому способу „охраненія права“, чѣмъ къ силѣ, этому дѣтищу храбрости, почитаемой высшую добродѣтель. Онъ—истинный патрицій. Римская система воспитанія, воплощенная въ лицѣ его матери, Волумніи, сдѣлала изъ Коріолана героя. Онъ, повидимому, именно тотъ человѣкъ, который нуженъ Риму. Безстрашіе, отвага, дикая сила—все есть въ немъ, чего ищетъ Римъ, за что возлагаетъ онъ на сыновъ своихъ дубовые вѣнки. Но дважды промахнулись и Волумнія, и Римъ. Ихъ система, такъ строго проведенная, воспитала и такія качества въ Коріоланѣ, которыя уже не нужны, вредны отечеству. Мар-

ціи—идеальный солдатъ, но онъ не годится въ юристы. Онъ воображаетъ, что право слѣдуетъ охранять тѣмъ же способомъ, какимъ оно пріобрѣтается. Мало того, онъ не догадывается, что не его дѣло вмѣшиваться въ эти тонкости внутренняго устроенія, что для этого есть Агриппы, которые знаютъ сложное искусство обращенія кулака въ теорію. Онъ наивно убѣжденъ, что кулакъ всегда хорошъ.

„Эй, въ чемъ дѣло?!“ кричитъ онъ народу:

Зачѣмъ вы, безпокойные мерзавцы,
Поддавшись зуду жалкихъ вашихъ мнѣній
Себѣ коросту начесали?

Очевидно, что произнося эти слова, Марцій, совсѣмъ какъ того требовалъ Катонъ, „внушаетъ страхъ не только своимъ кулакомъ, но также голосомъ и взоромъ“. Но если эти слова еще не достаточно воинственны, то вотъ заключеніе его рѣчи:

Когда-бъ сенатъ построже
Себя держалъ и мнѣ съ мечемъ позволилъ
На нихъ напасть,—изъ этихъ мертвыхъ гадовъ (т. е. плебеевъ)
Я навалилъ бы гору вышиною
Съ мое копье.

Это говоритъ „virtus“, то высшее качество человѣка, отъ котораго получила свое имя добродѣтель. Юристъ Мененій доволенъ успѣхомъ рѣчи Марція и своей, полагая, что водворившимся вновь спокойствіемъ Римъ обязанъ совмѣстному дѣйствію ума и силы. Друзья остаются наединѣ, и Марцій облегчаетъ передъ Мененіемъ свое негодованіе, словно онъ мало колотилъ языкомъ при народѣ:

Скоты!
Они на голодъ жаловались, смѣли
Пословицы намъ повторять о томъ,
Что съ голода и крѣпости сдаются,
Что кормъ собакамъ нуженъ, что отъ неба
Ниспосланъ хлѣбъ не богачамъ однимъ.

Вотъ рѣчь кулака, умѣющаго бить, но не умѣющаго лгать и притворяться. Коріоланъ искренно возмущенъ тѣмъ, что люди смѣютъ жаловаться на голодъ, и не понимаетъ, зачѣмъ сенатъ внялъ голосу народа и назначилъ плебеямъ трибуновъ. Мененій могъ бы объяснить другу своей сказкой, что такимъ способомъ „разумный животъ"—сенатъ „шлетъ пищу" всему тѣлу. Но онъ забылъ уже свою сказку, да Коріолану онъ бы постѣснялся, вѣроятно, разсказать ее.

Вотъ два типа римлянъ—Коріоланъ и Агриппа. Агриппа вполнѣ приспособленный для римской жизни человѣкъ. Коріоланъ же имѣетъ въ себѣ нѣчто — это и теперь уже замѣтно—что въ планы римскаго воспитанія не входило. Таранъ-то онъ превосходный; но, сверхъ того, онъ еще чего-то хочетъ и не готовъ всецѣло отдать себя для цѣлей сената и бить лишь тѣ стѣны, на которыя его направятъ. Онъ, повидимому, долженъ былъ бы хотѣть бить вообще, что бы то ни было, какъ Цезарь былъ готовъ быть первымъ, гдѣ бы то ни было. Но Волумнія и Римъ, какъ мы замѣтили уже, промахнулись въ своихъ педагогическихъ разсчетахъ. У Коріолана, вмѣстѣ съ нужными свойствами—храбростью, презрѣніемъ къ низшимъ, любовью къ славѣ, выросли и ненужныя свойства: сознаніе своего достоинства и ненависть ко лжи, ненависть, такъ же не терпящая никакого ограниченія, какъ и любовь къ славѣ—никакого соперника.

И вслѣдствіе этого, онъ становится въ оппозицію не только къ народу, но и къ патриціату. Искусство Менені я—ему непонятно. Онъ самъ превосходный ораторъ и чувствуетъ, что для краснорѣчія—лжи не нужно, ибо онъ никогда не лжетъ, а говоритъ почище своего друга. Зачѣмъ же ложь? Чтобъ прикрыть боязнь?! Зачѣмъ юристы, когда есть мечи?! И всѣмъ своимъ правдивымъ существомъ Марціи возмущается противъ основы римскаго устроенія. И странно! Прошли десятки вѣковъ—Марціи кулакъ, т. е. тотъ герой, котораго сознательно культивировалъ Римъ, предъ которымъ современники преклонялись, грозившій и вольскамъ, и пле-

беямъ, и всему Риму—теперь никого уже не удивляетъ. Мы равнодушно читаемъ разсказы о его подвигахъ подъ стѣнами Коріоли, но слушая повѣсть о его изгнаніи, мы и теперь дивимся его душевному величію. А его изгнали за то, что онъ научился какой-то, не знающей ограниченія правдѣ, въ то время какъ Риму нужна была другая правда, умѣющая принимать разные виды и не брезгающая союзомъ съ ложью.

Мы не станемъ касаться тѣхъ сценъ, гдѣ Шекспиръ рисуетъ Коріолана-воина. Читателю не трудно представить себѣ, какіе подвиги совершалъ этотъ герой на полѣ сраженія. Глядя на него, римляне могли лишь наслаждаться плодами своей воспитательной системы. Марцій-воинъ—дѣтище Рима. И Римъ, въ лицѣ своихъ представителей, полководцевъ Тита Ларція и Коминія, еще въ землѣ вольсковъ оказываетъ Марцію величайшія почести.

Мы не дадимъ тебѣ твои заслуги
Въ молчаньѣ погребсти: узнаетъ Римъ,
Какія дѣти у него. Кто смѣетъ
Отъ родины скрывать такую славу—
Тотъ воръ и сокровенный клеветникъ.

Ему устраиваютъ торжественныя овацiи передъ всѣмъ войскомъ, съ музыкою, съ громкими кликами солдатъ. Ему представляется десятая часть отнятой у враговъ добычи, лучшій конь въ войскѣ, на него возлагаютъ дубовый вѣнокъ, ему даютъ прозвище Коріолана. Глядя на эти торжественныя почести, не одно юное сердце билось въ чаяніи того момента, когда и на его долю выпадетъ такое счастье, и всѣ мечты умиленныхъ этимъ зрѣлищемъ людей направлялись къ virtus, живымъ воплощеніемъ которой являлся предъ ними Марцій. Но Марцій, хотя знаетъ, что заслужилъ все это, и Риму необходима для воспитательныхъ цѣлей эта пышная демонстрація добродѣтели—все-же протестуетъ противъ „напыщеннаго“, какъ онъ выражается, „привѣта“. „Какъ будто бы я не вспомнилъ безъ того своихъ заслугъ

неважныхъ!“ восклицаетъ онъ. Но это условная ложь смиренія, которую Марцій принимаетъ лишь потому, что научился думать, что послѣ храбрости и любви къ отечеству ближайшая добродѣтель—скромность. Онъ цѣнитъ высоко свои заслуги, можетъ быть, гораздо выше, чѣмъ полководцы и солдаты. Но не считаетъ, что скрывать—въ данномъ случаѣ—свои истинныя чувства подъ принятыми словами приличія—почему либо предосудительно. Эту ложь онъ, правдивый Марцій, безъ труда произноситъ:

Пойду, умоюсь я, а тамъ глядите—
Я покраснѣлъ иль нѣтъ. Спасибо всѣмъ!
Я стану ѣздить на конѣ, а также
Стараться, чтобъ привѣтное прозванье
Съ достоинствомъ носить.

А межъ тѣмъ, хоть онъ не любитъ, чтобы „его ничтожество питали похвалами, политыми ложью“,—а межъ тѣмъ изъ-за того, что не признаютъ его заслугъ, у него завяжется начало великой трагедіи.

Пока Марцій воюетъ съ вольсками, въ Римѣ мать его, Волумнія, мечтаетъ о подвигахъ сына. Ея мечты вслухъ и разговоры съ Виргиліей—только варіанты той сцены, которую мы наблюдали въ лагерѣ римлянъ послѣ пораженія вольсковъ. Нѣтъ трубъ, солдатъ, вѣнковъ, плѣнныхъ—но, слушая Волумнію, все это видишь передъ собой: „Если бы Марцій былъ мнѣ мужемъ, мнѣ радостнѣе было бы его отсутствіе, нежели самые жаркіе брачные поцѣлуи“, начинаетъ она свою бесѣду съ невѣсткой. А кончаетъ такимъ военнымъ гимномъ, какого Шекспиръ не вкладывалъ въ уста ни одного изъ своихъ героевъ-солдатъ. Мы выпишемъ всю ея рѣчь, чтобъ читатель представилъ себѣ ясно эту „римскую волчицу“ и умѣнье Шекспира проникнуть въ душу римской матроны.

Мнѣ кажется—я слышу барабаны,
Отсюда вижу Марція, какъ онъ,
Въ честномъ бою Авфидія хватаетъ
За волосы и въ прахѣ передъ войскомъ

Его влечетъ. Какъ дѣти отъ медвѣдя,
Бѣгутъ враги отъ Марція. Гляди,
Какъ онъ впередъ идетъ, какъ возбуждаетъ
Свои войска: вы трусы, дѣти Рима,
Зачатыя въ часъ робости позорной!
Вотъ онъ! Рукой, закованною въ сталь,
Онъ кровь съ лица отеръ и снова въ сѣчу
Идетъ, какъ будто жнецъ, который взялся
Обжать все поле.

Это говоритъ не Отелло, съ семи лѣтъ „работавшій“ на лагерныхъ поляхъ, не Ричардъ III, выросшій среди ужасовъ войны бѣлой и алой розы, а женщина, благородная римлянка“. Вы понимаете, какимъ „желѣзнымъ молокомъ“ кормился Марцій, и какая кровь должна была течь въ его жилахъ. „Слава солдата“—это то, выше чего для Марція не было на свѣтѣ ничего. Теперь ясно, почему онъ говоритъ, что, если бы Авфидій былъ съ нимъ въ одномъ войскѣ, онъ поднялъ бы бунтъ—чтобы имѣть его своимъ врагомъ. Съ одной стороны—внѣ дома—Римъ съ его „virtus“, съ другой стороны—дома—мать, умѣющая говорить эти солдатскія слова: „вы трусы, дѣти Рима, зачатыя въ часъ робости позорной“,—чѣмъ могъ выйти Марцій, если не страшнымъ тараномъ, человѣкомъ, на котораго съ завистью и благоговѣніемъ взирали римляне. Но это ли полубогъ? И такія ли матери, такія ли государства создаютъ людей, близкихъ къ богамъ? Марцій огромная, величественная скала, которая вызываетъ, вмѣстѣ съ удивленіемъ, и ужасъ: неужели же нѣтъ въ немъ ничего человѣческаго, и весь онъ, все его величіе начинается и кончается его непроницаемостью, и Риму вмѣстѣ съ матерью-волчицей удалось обратить въ окаменѣлость человѣческую душу?! Плутархъ говоритъ, что Марцій былъ чуждъ общенія съ музами, и вслѣдствіе этого у него было много антиобщественныхъ недостатковъ. У Шекспира—иная задача. Онъ спрашиваетъ себя: есть ли подъ этой броней солдата человѣкъ? Удалось ли Риму и Волумніи обратить Марція въ орудіе, послушное ихъ случайнымъ, историческимъ надобностямъ, или та геройская сила,

которую они развили въ немъ, найдетъ себѣ иное, болѣе достойное приложеніе? И въ этомъ смыслѣ трагедія Коріолана полна захватывающаго интереса. Съ перваго же дѣйствія предъ вами раскрыты всѣ условія жизни Марція и самъ герой, грубый, безсердечный, ужасный въ своемъ нелѣпомъ могуществѣ. Вы ждете, чѣмъ онъ кончитъ: неужели онъ уйдетъ такимъ же? Неужели колоссальная сила этого человѣка такъ и останется дикой стихіей надъ которой будутъ властвовать лишь военныя нужды Рима и честолюбивыя мечты Волумніи? Когда Марцій возвращается въ Римъ, онъ привѣтствуетъ свою жену такими словами:

Ты вся въ слезахъ? О милая моя,
Въ Коріоли такъ плачутъ вдовы падшихъ
И матери бездѣтныя.

Другого привѣта этотъ человѣкъ не нашелъ: бездѣтныя матери и вдовы падшихъ, точно скальпы для индѣйца-дикаря, побѣдные трофеи для Коріолана. Такъ учатъ Римъ и Волумнія.

Но здѣсь же мы слышимъ собственныя слова Коріолана—не тѣ, которымъ онъ научился у матери и Рима. Когда Волумнія упоминаетъ при немъ о консульствѣ, онъ отвѣчаетъ:

Нѣтъ, родная,
Пусть лучше римлянамъ служить я буду
По моему, чѣмъ править ихъ дѣлами—
По ихнему.

Вы слышите уже диссонансъ, которому суждено разрастись въ великую борьбу одного человѣка со всѣми. И въ этой борьбѣ лишь скажется настоящій Марцій, тотъ Марцій, который вдохновилъ поэта и котораго Брандесъ въ поискахъ за тѣмъ, что „толкало“ Шекспира, благополучно не замѣтилъ.

XIX.

Въ Римѣ, въ сенатѣ Коріолану приготовляются новыя почести. Коминій при сенаторахъ и трибунахъ собирается произнести торжественную рѣчь о подвигахъ Марція, кандидата въ консулы. Но Марцій не хочетъ выслушивать похвалы:

Скорѣе въ часъ тревоги
Безъ дѣла стану я сидѣть
И голову почесывать, чѣмъ слушать
Дѣламъ моимъ ничтожнымъ похвалу,

говоритъ онъ, какъ въ лагерѣ, и оставляетъ сенатъ. Два раза уже назвалъ онъ свои дѣла ничтожными, полагая, что этимъ онъ отдаетъ всю дань скромности, какую эта добродѣтель можетъ себѣ требовать, подобно тому, какъ ему кажется, что, расточая удары врагамъ предъ стѣнами Коріоли, онъ честно разсчитывается съ „любовью“, къ отечеству. Но какъ мало для скромности скромныхъ рѣчей, такъ для патріотизма не достаточно военной храбрости. У Марція обѣ эти его „добродѣтели“ подвергаются испытанію, и ни одна изъ нихъ, какъ мы увидимъ, не выдерживаетъ пробы.

Марцій удаляется изъ сената;—Коминій произноситъ торжественное слово о его заслугахъ, и сенатъ избираетъ его консуломъ. Когда Коріоланъ возвращается, Агриппа возвозвѣщаетъ ему принятое рѣшеніе. Но это не все еще. Нужно еще утвержденіе народа. Марцій долженъ явиться на площадь и въ одеждѣ просителя добыть себѣ „голоса“ плебеевъ. Это ему кажется униженіемъ, и онъ желалъ бы миновать этотъ обрядъ. „Не въ силахъ я стать полунагимъ передъ толпою, указывать ей раны и за нихъ униженно просить избранія“. Однако, онъ преодолѣваетъ себя и является на площадь. Здѣсь происходитъ поразительная сцена, которая и самому Шекспиру дѣлаетъ честь. Коріоланъ разговариваетъ съ народомъ—и не бранится. Иначе говоря, онъ съ мучительными усиліями вырываетъ изъ себя подходящія

къ случаю слова. И какія это слова! При Мененіи, еще до выхода на площадь, онъ дѣлаетъ репетицію, и вотъ что у него выходитъ послѣ проклятій и неслыханнаго душевнаго напряженія: „взгляни, достойный мужъ, на эти раны; я добылъ ихъ въ бою въ тотъ самый часъ, когда иные изъ твоихъ собратій бѣжали съ ревомъ“. Мененій, понятно, приходитъ въ ужасъ отъ этой формы рѣчи. „Боги, восклицаетъ онъ, не надо имъ говорить про это!“ Надо другое, надо чувствовать униженіе только тогда и постолько, посколько это согласно съ видами внутренней и внѣшней политики Рима. Но Коріоланъ въ своемъ просительскомъ нарядѣ— точно левъ въ клѣткѣ, и если бы онъ не чувствовалъ устремленными на себя взоры своей укротительницы, Волумніи, то, конечно, никакія опасности или почести не удержали бы его въ неволѣ. Но матери нуженъ консульскій санъ, и Марцій разговариваетъ съ народомъ—почти своимъ обычнымъ языкомъ, лишь пропуская бранныя и вставляя заготовленныя просительныя слова. „Объяви ты мнѣ“,—говоритъ онъ одному гражданину, „что можетъ стоить консульство?“— Одной радушной просьбы,-получается отвѣтъ. „Просьбы? хорошо. Такъ дай же мнѣ свой голосъ. На мнѣ есть раны; я покажу тебѣ ихъ, если хочешь, когда-нибудь наединѣ“. Вы чувствуете, чего стоитъ ему это униженіе. Но особенно поразителенъ конецъ сцены, послѣднія слова Коріолана, изъ которыхъ видно, что тамъ, гдѣ римляне разсчитывали взрастить свои добродѣтели, выросло нѣчто совсѣмъ иное:

О какъ мнѣ сладки эти голоса!
Нѣтъ, лучше умереть голодной смертью,
Чѣмъ нами жъ заслуженную награду
Выпрашивать! Зачѣмъ стою я здѣсь
Въ одеждѣ жалкой и у Дика съ Гобомъ
Я голосовъ прошу? Таковъ обычай.
Но если бы обычаю во всемъ
Повиновались мы, никто не смѣлъ бы
Пыль старины сметать, а правдѣ вѣкъ
Сидѣть бы за горами заблужденій.
Зачѣмъ себя позорю я? Не лучше-ль

Другому предоставить честь и мѣсто?
Нѣтъ, я ужъ много вытерпѣлъ, осталось
Стерпѣть и остальную часть. Идутъ (входятъ еще три гражданина)
Другіе голоса: граждане Рима,
Прошу я вашихъ голосовъ. Для нихъ я бился,
Для вашихъ голосовъ ночей не спалъ,
Для вашихъ голосовъ ношу на тѣлѣ
Ранъ боевыхъ двѣ дюжины; я видѣлъ
И слышалъ восемнадцать битвъ тяжелыхъ;
Для вашихъ голосовъ свершилъ я много
И важныхъ и не очень важныхъ дѣлъ.
Давайте жъ голоса; я въ самомъ дѣлѣ
Хочу быть вашимъ консуломъ, граждане.

Слушая эти рѣчи, въ которыхъ есть всѣ обычныя просительныя слова и даже въ должной комбинаціи, но въ которыхъ звучитъ презрѣніе и къ самому себѣ и къ плебеямъ, граждане слегка недоумѣваютъ, но все-же отдаютъ ему свои „голоса“. Онъ избранъ, осталось лишь утвердить его; но утвержденія ему не даютъ. Плебеи подъ вліяніемъ трибуновъ одумываются и берутъ назадъ свои голоса. Тутъ-то разыгрывается страшная сцена. Марцій и прежде всей душой возмущался уступчивостью сената и патриціевъ. Онъ хотѣлъ смести пыль старины, уничтожить унизительный обрядъ выпрашиванія голосовъ. Если патриціи такъ же, какъ и онъ, презираютъ плебеевъ, то уступать народу значитъ бояться, трусить. Марцію сказки Агриппы противны до глубины души, ибо что онѣ въ сущности такое, какъ не литературный способъ выпрашиванія у народа права не открывать амбары?! Одно изъ двухъ: либо амбары для всѣхъ—тогда отдайте ихъ плебеямъ, какъ Марцій отдавалъ свою десятую долю добычи. Либо амбары принадлежатъ богатымъ, но въ такомъ случаѣ, зачѣмъ эти унизительныя формы защиты „права“? И все, что скопилось у него на душѣ, Коріоланъ высказываетъ предъ патриціями и народомъ; обижается народъ, но патриціатъ съ сенатомъ напрасно не обидѣлся, хотя Коріоланъ и называетъ ихъ собраніемъ доблестныхъ мужей, какого и у грековъ не бывало. „Вашъ соб-

ственный позоръ лишаетъ власть единства и свободы: вы на добро безсильны—нѣту хода ему отъ зла, опутавшаго васъ",—говоритъ онъ гордымъ аристократамъ. И Марцій—глубоко правъ: его слова протестъ правдиваго человѣка противъ того возмутительнаго характера, который носила на себѣ двухсотлѣтняя борьба патриціевъ съ плебеями. Плебеи добивались своихъ правъ не постольку, поскольку выяснялась справедливость ихъ притязаній а поскольку патриціи теряли возможность удерживать эти права за собой. Плебеи силой вырывали у своихъ противниковъ—патриціевъ, право торговли (jus commercii), право родниться съ патриціями (jus connubii), право занимать общественныя должности (jus honorum) и т. д. И до тѣхъ поръ пока плебеи не заносили руку, патриціи не уступали. Коріоланъ правъ, когда, возмущенный такимъ способомъ улаживанья дѣлъ, восклицаетъ:

Всѣ дѣла плебеевъ
Намъ говорятъ яснѣе словъ: „насъ больше!
Мы захотѣли хлѣба—и отъ страху
Они намъ дали хлѣба".

Несомнѣнно, патриціи уступали исключительно подъ давленіемъ необходимости, а не изъ сознанія справедливости требованій плебеевъ. Коріоланъ продолжаетъ:

Для чего
Народу эти лысые трибуны?
Чтобъ опершись на нихъ, пытался онъ
Тягаться съ высшей властью?

И это—правда. Лысыхъ трибуновъ патриціи признали лишь тогда, когда плебеи удалились на священную гору:

Ихъ избрали
При бунтѣ, въ смутный часъ, когда была
Закономъ сила; нынче часъ другой:
Пусть право будетъ правомъ: сбросьте въ прахъ
Вы эту власть.

Пусть право будетъ правомъ: вотъ о чемъ тутъ идетъ рѣчь, Коріоланъ иначе не могъ говорить. Своей рѣчью онъ бросилъ вызовъ всему патриціату, который оберегалъ свои права и отказывался отъ нихъ не во имя справедливости, а по соображенію съ возможностью. Марцію и въ голову не можетъ притти, что плебеи вырывали у патриціевъ то справедливое равенство положенія, котораго за ними не хотѣли признавать добровольно. Ибо, если бы онъ такъ думалъ, то принялъ бы сторону плебеевъ. Но онъ не знаетъ, зачѣмъ плебеямъ права, и совершенно искренне убѣжденъ, что, если они смѣютъ требовать хлѣба, то единственно потому, что хотятъ бунтовать. Откуда знать Коріолану, что можетъ быть вопросъ о хлѣбѣ, Коріолану, о которомъ судьба въ этомъ смыслѣ печется съ самаго дѣтства? Очевидно, что плебеи бунтуютъ, ибо они вѣдь и существуютъ, по его мнѣнію, единственно затѣмъ, чтобы воевать подъ начальствомъ патриція. И его гнѣвъ, его негодованіе такъ же естественны, какъ позорна хваленая уступчивость римскаго патриціата, уступчивость, несомнѣнно основанная на страхѣ, который назывался „политическою дальновидностью“. Риму все это нужно было, повторяемъ, и типическій римлянинъ былъ дома такимъ же хорошимъ юристомъ, какъ и на войнѣ—солдатомъ. Мы это увидимъ сейчасъ изъ увѣщанія, съ которымъ обратится къ сыну Волумнія. Но Марцій уже пересталъ быть орудіемъ своего отечества. Какъ сильная натура, онъ разбилъ всѣ искусственныя преграды, и потому-то въ немъ проявились истинные запросы человѣческаго духа, а не тѣ свойства, которыя мы пріобрѣтаемъ, чтобъ угодить внѣшнимъ обстоятельствамъ. Брандесъ говоритъ, что Шекспиръ не могъ имѣть понятія о той роли, которую суждено было сыграть плебеямъ, и потому въ „Коріоланѣ“ является поборникомъ аристократіи. Но мы видимъ обратное: Шекспиръ съ необыкновенной чуткостью подмѣтилъ основную черту борьбы римскихъ партій, и трагедія Коріолана имѣетъ своимъ источникомъ не его вражду къ плебеямъ, а его неприспособленность къ политикѣ патриціата. Это становится еще яснѣе изъ его бесѣды съ

матерью. Послѣ схватки въ сенатѣ, въ которой патриціямъ удалось отбить у плебеевъ Коріолана, онъ возвращается домой. За нимъ слѣдуютъ патриціи. Всѣ признаютъ его правымъ въ его негодованіи и заявляютъ ему, что „онъ говорилъ благородно“, но все-же требуютъ, чтобъ онъ поправилъ дѣло. На сцену является Волумнія—укрощать сына. Вотъ отрывокъ изъ начала ихъ бесѣды.

Коріоланъ (Волумніи).
Рѣчь про тебя идетъ. Зачѣмъ ты хочешь,
Чтобъ уступилъ я имъ? Неужто я
Тебѣ въ угодность долженъ измѣнить
Своей природѣ? Лучше я останусь
Тѣмъ, чѣмъ я созданъ. Такъ-ли?

Волумнія.
Сынъ мой, сынъ мой!
Ты прежде облекись во власть, а тамъ ужъ
Изнашивай ее!

Коріоланъ.
Пускай она
Износится!

Волумнія.
И безъ тревогъ всѣхъ этихъ
Ты бъ могъ всегда остаться тѣмъ, чѣмъ созданъ.
Зачѣмъ, не выждавши своей минуты,
Ты высказался весь передъ врагомъ?

Коріоланъ.
Пускай ихъ перевѣшаютъ!

Волумнія.
И даже
Сожгутъ потомъ.

Волумнія, истинный глашатай Рима и его добродѣтелей, готова сжечь и перевѣшать всѣхъ плебеевъ. Никто не можетъ укорить Марція. Мененій Агриппа пытается заговорить въ своемъ посредническомъ тонѣ, что Марцій былъ грубъ съ народомъ, но скоро оставляетъ свое намѣреніе, ибо для Коріолана найденъ иной способъ увѣщанія. Нужно притворяться и лгать, объясняетъ „дивная жена“ Волумнія, ибо

„иначе нѣтъ спасенья: смуты вспыхнутъ въ родной землѣ и пропадетъ нашъ городъ". Мененій Агриппа, услышавъ, что можно такъ убѣждать, оставляетъ прежній способъ и съ жаромъ заявляетъ:

Когда бъ не польза общая, когда бъ
Не тягостный недугъ временъ тяжелыхъ,
Не сталъ бы я къ уступкамъ подлой черни
Его склонять

А затѣмъ Волумнія поясняетъ Коріолану:

Слыхала я, что мужество и хитрость—
Подруги неразлучныя—вдвоемъ
Взросли на полѣ брани? Если такъ,
То для чего ты рознишь ихъ при мирѣ?

Коріоланъ въ ужасѣ восклицаетъ: „молчи, молчи!" Но Агриппа понимаетъ все: „разуменъ твой вопросъ" говоритъ онъ Волумніи, и она продолжаетъ:

Коль на войнѣ скрывать не стыдно намъ
Намѣренья свои отъ супостата,
Коль на войнѣ обманывать врага
Полезно и спасительно, зачѣмъ же
И безъ войны, въ опасный часъ и трудный,
Передъ врагомъ хитрить не можешь ты?

Волумнія „умѣетъ" примирить гордость съ униженіемъ и не чувствуетъ всего ужаса того противорѣчія, которое разрываетъ сердце Марція; она даже и не подозрѣваетъ, что Коріоланъ своей ложью прикрылъ бы ложь всего патриціата, что она учитъ его выманивать у бѣдняковъ, которыхъ онъ презираетъ, право спокойно пользоваться прерогативами аристократіи. Она говоритъ съ рѣшительностью глубоко убѣжденнаго человѣка. У нея есть правила, въ которыя она вѣритъ и противъ которыхъ ей и не приходитъ въ голову возмущаться, несмотря на то, что они рекомендуютъ столь явную и коварную подлость. Эти правила ей продиктовалъ Римъ—тотъ папа, въ завѣдываніи котораго находится ея совѣсть—и она повторяетъ ихъ, какъ символъ вѣры, уча сына обманывать народъ.

Мой сынъ,
Иди, прошу тебя. Передъ народомъ
Смиренно, съ непокрытой головою,
Съ ужимками униженными стань.
Коль нужно то—склони свои колѣни:
Движенія краснорѣчивѣй слова,
Глаза невѣждъ смышленнѣй, чѣмъ ихъ уши.
Смири свой гордый духъ, твори поклоны—
И сердце пусть смягчится у тебя,
Какъ спѣлый плодъ. Иди, скажи плебеямъ,
Что ты ихъ воинъ, что въ бояхъ ты взросъ
И кротостью не могъ обогатиться;
Что этимъ недостаткомъ ты теперь
Народу неугоденъ показался,
Но что, любя народъ, намѣренъ ты
Перемѣнить себя и стать такимъ,
Какъ граждане желаютъ справедливо.

Всѣ присоединяются къ просьбѣ Волумніи, каждый на свой манеръ. Агриппа вставляетъ среднія слова, изъ которыхъ особенно характерна эта маленькая реплика аристократа: „одна бы рѣчь покорная!“ (only fair speech!) на которую Коминій, только что вернувшійся съ площади и возвѣстившій, что „все возстало“, отвѣчаетъ:

Конечно,
Она поможетъ, если онъ согласенъ
Сказать ее.

Мужчины патриціи чувствуютъ, что ихъ дѣло — нечистое, и у нихъ не хватаетъ паѳоса для убѣдительныхъ рѣчей: отъ нихъ не скрыта трещина ихъ „нравственной“ системы. Но Волумнія читаетъ по катехизису. Вооруженная двойнымъ авторитетомъ, матери и матроны, она твердо заявляетъ:

Онъ долженъ—стало быть,
Ее онъ скажетъ.

Коріоланъ протестуетъ, но видитъ, что ему не справиться со всѣми и соглашается итти на площадь и произнести эту „fair speech“. Мать оставляетъ свое строгое „долженъ“ и ласково обѣщаетъ сыну за этотъ подвигъ хвалить

его больше, чѣмъ всегда, но Коріоланъ не чувствуетъ ея ласки, которой онъ всегда такъ дорожилъ. Всѣ окружающіе робко слушаютъ его: чуя, что онъ, прежде чѣмъ пойти, долженъ высказать все, чѣмъ полно сердце, и что онъ скажетъ теперь патриціямъ то, чего еще не говорилъ плебеямъ никогда. И онъ сказалъ—со всей мощью своего стихійнаго краснорѣчія, и гордые патриціи молчаливо выслушали его:

Такъ рѣшено!
Прочь гордость честная: пусть поселится
Въ меня душа развратницы! Пусть голосъ,
Когда то покрывавшій звуки трубъ,
Поспоритъ съ рѣчью евнуха пискливой
Иль съ колыбельной пѣсенкой дѣвчонки!
Зову себѣ холопскую улыбку
Я на уста, и пусть изъ глазъ моихъ
Польются слезы школьниковъ! Добуду
Себѣ языкъ у нищаго: какъ нищій
Я стану гнуть колѣна, тѣ колѣна,
Которыя лишь гнулись въ стременахъ.
Все сдѣлаю. Нѣтъ, не могу, не въ силахъ
Я предъ собою лгать. Подобнымъ дѣломъ
Себя пріучишь къ подлости на вѣкъ.

Одна Волумнія рѣшается отвѣчать на эти страшныя обвиненія. Всѣ знаютъ, что онъ не о себѣ, а о патриціяхъ говоритъ, и что если бы шла рѣчь о немъ, то онъ скорѣе далъ бы стереть въ прахъ и разбросать по вѣтру форму Марція, чѣмъ позволилъ бы себѣ выманивать ложью прощеніе у бѣдняковъ, которыхъ онъ презираетъ. Но Волумнія вѣритъ въ принципы патриціанскаго Рима, какъ набожная католичка въ проповѣди своего духовника, и въ невинности своей вѣры можетъ гордо отвѣтить сыну и назвать его непокорность—упрямствомъ. Сила авторитета матери—побѣждаетъ, и Коріоланъ съ патриціями идетъ на площадь. Мененій напоминаетъ ему, что рѣчь должна быть „кроткая“.

Да, кротко. Да, я имъ отвѣчу кротко.

произноситъ Коріоланъ—и всѣ удаляются.

Теперь вернемся къ Брандесу, „не имѣющему никакого

интереса коверкать Шекспира", и потому всего „Коріолана" объясняющему аристократическими тенденціями поэта и его враждой къ народу, который „воняетъ". „Слишкомъ часто чувствуешь, что устами Коріолана, котораго никто не опровергаетъ и которому никто не возражаетъ, говоритъ самъ Шекспиръ" *). Такъ самъ поэтъ произнесъ такой урокъ патриціямъ? Гдѣ же аристократическая тенденція? Если бы Шекспиръ хотѣлъ своимъ „Коріоланомъ" ославить толпу за ея нечистоплотность и превознести quand même аристократію, то образъ Марція носилъ бы на себѣ слѣды побужденій автора, и трагедія имѣла бы приблизительно ту же поэтическую цѣнность, какъ и настроенія, которыя вызвали ее къ жизни. Тогда на призывъ матери и аристократовъ Коріоланъ метнулъ бы еще десяткомъ, другимъ лестныхъ эпитетовъ по адресу толпы—и этимъ исчерпалась бы вся послѣдняя сцена. Агриппа съ Коминіемъ и патриціями привели бы его затѣмъ на площадь, гдѣ онъ бы произнесъ требуемую кроткую рѣчь—и, слѣдовательно, до конца остался бы тараномъ, по волѣ патриціевъ то стоящимъ неподвижно, то разрушающимъ стѣны. Но смыслъ трагедіи не въ борьбѣ одного большого кулака противъ многихъ малыхъ, и пока Марцій остается кулакомъ, пока мы не чувствуемъ въ немъ внутренней потребности къ протесту, той потребности, которая вытекаетъ не изъ общности сословныхъ или иныхъ интересовъ, но которая, какъ лучшій запросъ души, пренебрегаетъ всѣмъ, что въ обыденной жизни считается важнымъ и значительнымъ—мы не знаемъ, къ чему писать трагедіи; ибо, когда рѣчь идетъ о столкновеніи двухъ механическихъ силъ—намъ все равно, какая побѣдитъ. Да, наконецъ, въ такомъ случаѣ достаточно было бы разсказать о подвигахъ Марція предъ Коріолами. Но не храбрость, не геройство на полѣ битвы и не умѣнье колотить руками кого бы то ни было и что бы то ни было привлекли къ Марцію вниманіе Шекспира. Испытанность въ бояхъ и храбрость Лепида вызываетъ у Антонія въ „Юліи Цезарѣ" такое замѣчаніе:

*) Brandes, 777.

Но вѣдь таковъ и конь мой—и за это
Я кормъ даю ему и пріучаю
Его къ боямъ, къ внезапнымъ поворотамъ
И къ быстрому, стремительному бѣгу.
Тѣлесными движеньями его
Мой умъ руководитъ.

Таковъ былъ бы и Коріоланъ, если бы все въ немъ сводилось къ безстрашію въ бояхъ и къ умѣнью безусловно повиноваться тому своему всаднику, Риму, который даетъ за это почести и вѣнки. Но иная сила выработалась въ Коріоланѣ, которой не искали его воспитататели и которая возстала противъ нихъ во всемъ могуществѣ своей одухотворенной красоты.

XX.

Въ третьей и послѣдней сценѣ третьяго акта напряженіе дѣйствія, которое, казалось, уже достигло крайнихъ предѣловъ въ бесѣдѣ Коріолана съ матерью и патриціями, еще возрастаетъ. Трибуны подготовили цѣлую кучу обвиненій противъ Марція, изъ которыхъ и одного достаточно, чтобъ совершенно лишить его самообладанія. Коріоланъ, глубоко убѣжденный въ подлости трибуновъ и ничтожности черни, принужденъ отдать себя на судъ многоголоваго чудовища—толпы, и патриціи, раздѣляющіе его взглядъ, ничего позорнаго въ этомъ не видятъ. Несомнѣнно, что если бы ладъ между двумя партіями опредѣлялся не случайнымъ равновѣсіемъ силъ и не подмазывался ложью сказокъ Агриппы, то трагедіи Коріолана не было бы. Произошло бы одно изъ двухъ: либо патриціи поняли бы, что плебеи правы и сознательно расширили ихъ права, либо бились бы изъ за песчинки, когда задѣта честь, и сложили бы оружіе не раньше, чѣмъ истратили бы всѣ свои силы. Т. е. они либо перестали бы презирать плебеевъ, либо подчинили бы себѣ „бунтовщиковъ“, какъ того требуетъ Марцій, либо всѣ погибли бы—но не существовали бы въ рабскомъ страхѣ передъ тѣми, которыхъ презираютъ отъ всей души. Если

плебеи—это тѣ, которыхъ нужно „сжечь“, „перевѣшать“ — то высшій позоръ подчиняться имъ. На форумѣ, въ сценѣ суда надъ Коріоланомъ, эта лживость принципа единенія патриціевъ съ плебеями сразу сказывается. Трибуны объявляютъ Марція за умыселъ „уничтожить всѣ мудрыя постановленія Рима“ (онъ предлагалъ отнять у народа трибуновъ и т. д.)—измѣнникомъ отечеству. Очевидно, что, если плебеи—римляне, то трибуны—правы. Но, для патриціевъ и Коріолана, плебеи—сволочь: какимъ же образомъ лучшій полководецъ изъ-за того, что онъ посягнулъ на права ничтожной кучки вонючихъ оборванцевъ, можетъ быть названъ измѣнникомъ?! Коріоланъ, услышавъ это самое обидное изъ всѣхъ бранныхъ словъ, какія знали римляне, почувствовавъ, что его, столько сдѣлавшаго для Рима, здѣсь же въ Римѣ лысый трибунъ, котораго борода годится лишь для набивки сѣделъ, смѣетъ такъ оскорблять—не можетъ и не считаетъ нужнымъ долѣе сдерживаться. Зачѣмъ такъ жить, въ рабскомъ страхѣ, и угодничать предъ стаей подлыхъ сукъ?! Друзья еще на нѣсколько мгновеній сдерживаютъ его напоминаніемъ о данномъ имъ матери обѣщаніи. Но невозможность примиренія—очевидна. Мененій останется въ Римѣ, будетъ браниться съ трибунами и укрощать ласковыми словами толпу; Коминій тоже останется и будетъ сдержанно молчать. Но Марцій—хотя бы ему грозила Тарпейская скала, хотя бы онъ зналъ, что съ него, живого, станутъ сдирать кожу, что его пошлютъ въ изгнаніе, посадятъ въ тюрьму и будутъ давать на пропитаніе по одному зерну въ сутки — онъ не склонится предъ подлой силой, если бы отъ него требовали всего только сказать мерзавцамъ плебеямъ: „день добрый!“

Вотъ гдѣ величіе Марція! Не въ томъ, что онъ, какъ и всѣ римляне, не боится вольсковъ, не въ томъ, что онъ убилъ больше враговъ, чѣмъ другіе, и въ силахъ побѣдить самого Авфидія, а въ томъ, что онъ умѣетъ найти прямой путь для чести, для человѣческаго достоинства тамъ, гдѣ всѣ—не только вонючіе плебеи, но и ароматическіе

патриціи—сбились на ложную дорогу безчестныхъ компромиссовъ, которыми опредѣлилась знаменитая борьба римскихъ партій. Въ огромномъ горнилѣ Коріолановой души Шекспиръ слѣдитъ не за безсмысленнымъ кипѣніемъ расплавленнаго металла, а за тѣмъ, какъ формируется тамъ великій идеалъ человѣческаго достоинства и чести, наперекоръ стремленіямъ всего и всѣхъ заинтересованныхъ въ томъ, чтобъ не дать выйти на свѣтъ неспокойному дѣтищу правды. Плебеи грозятъ казнью, патриціи—гибелью Рима, мать катехизисомъ всѣхъ преданій и собственной, столь дорогой для сына любовью—но все это разлетается въ прахъ передъ потребностью вольно дышать въ вольной странѣ. Марцій не польститъ Нептуну за трезубецъ и Юпитеру—за его громы; онъ своей чистой и прямой душой порветъ сѣти удобной и приспособленной традиціонной морали. Онъ изгнанъ—но уходитъ, презирая враговъ своихъ, которые не исторгли изъ его гордыхъ устъ ни одного ложнаго признанія, и въ правѣ оставшимся въ городѣ—всѣмъ не только плебеямъ, какъ полагаетъ Брандесъ—сказать эту страшную рѣчь свою, звучащую, какъ проклятіе пророка „I banish you"! Онъ ихъ изгналъ, а не они его:

Вы—стая подлыхъ сукъ! Дыханье ваше
Противнѣй мнѣ, чѣмъ вонь гнилыхъ болотъ!
Любовью вашей дорожу я столько жъ,
Какъ смрадными, раскиданными въ полѣ
Остатками враговъ непогребенныхъ!
Я изгоняю васъ: живите здѣсь
Съ безуміемъ и малодушіемъ вашимъ!
Пусть тѣнь бѣды васъ въ дрожь и страхъ кидаетъ.
Пускай враги, встряхнувши гривой шлемовъ,
Шлютъ бурей вамъ отчаянья въ сердца!
Храните дольше вашу власть и право—
Въ изгнанье слать защитниковъ своихъ,
Покуда, наконецъ, глупцы, придется
Вамъ на себѣ извѣдать слишкомъ поздно,
Что врагъ вашъ—сами вы. И пусть тогда
Чужой народъ придетъ на васъ, безумцевъ,
И въ рабство васъ, рабовъ, возьметъ безъ боя!

Я презираю васъ и городъ вашъ!
Я прочь иду—есть міръ и кромѣ Рима.

Вотъ какъ уходитъ Марцій! Не какъ врагъ плебеевъ возставшій противъ ихъ желанія получить хлѣбъ изъ амбаровъ богачей для утоленія голода. До всей своекорыстной политики патриціевъ ему нѣтъ дѣла. Онъ не видѣлъ ихъ лжи, какъ не видѣлъ правды плебеевъ, онъ возросшій въ привычкахъ богатства и не знавшій нужды бѣдняковъ. Но не сословные предразсудки привели Коріолана къ той великой борьбѣ, которую съ такимъ дивнымъ искусствомъ изобразилъ Шекспиръ. Геніальный поэтъ съ почти непостижимой чуткостью къ исторической правдѣ изобразилъ общественный строй республиканскаго Рима, съ его нуждами и стремленіями, съ его идеалами, приспособленными къ этимъ нуждамъ, и его Марціями, находящими свои пути, вопреки традиціи и всѣмъ средствамъ, которыми она пользуется, чтобъ принудить къ повиновенію непокорныхъ. Вся римская добродѣтель, съ вѣнками, почестями, овціями, должностями и исторической славой—не устояла противъ правдивости Марція, котораго ждалъ позоръ изгнанія. Болѣе того - мы увидимъ ниже, что вѣнчанныя добродѣтели римлянина, коренившіяся въ наградахъ и похвалахъ, т. е. смиреніе и патріотизмъ, не выдержали серьезнаго испытанія и не только не остались вѣрными Риму, но обратились со всей своей силой противъ своего же духовнаго отца.

Теперь мы переходимъ ко второй части трагедіи. Изгнанный Коріоланъ, весь пылая гнѣвомъ, думаетъ только объ отмщеніи; пренебрегая опасностями, онъ идетъ къ злѣйшему врагу своему, Авфидію въ Анціумъ, тотъ городъ, который онъ наполнилъ вдовами. Если бы его тамъ узнали, говоритъ онъ, то жены и младенцы сбѣжались бы и забросали его камнями. Такъ размышляетъ Коріоланъ, еще недавно говорившій своей женѣ, что въ Коріоли плачутъ матери и жены убитыхъ имъ вольсковъ! Его самого поражаетъ происшедшая съ нимъ перемѣна: прежніе друзья стали ему врагами, враги, не знавшіе отъ бѣшенства и кро-

вавыхъ промысловъ и ночью покоя—скоро станутъ друзьями:

Я Римъ возненавидѣлъ,
Я этотъ вражій городъ полюбилъ!

Возненавидѣлъ Римъ—ибо онъ не вознаградилъ „ничтожныхъ дѣлъ“! Полюбилъ Анціумъ, ибо здѣсь тѣ, которые помогутъ наказать ненавистное отечество! Но гдѣ же та скромность, которая не хотѣла ни въ сенатѣ, ни на полѣ брани слушать похвалу себѣ, гдѣ та любовь къ отчизнѣ, которая такъ глубоко оскорбилась, когда трибуны произнесли слово „измѣнникъ“? Такъ эти двѣ добродѣтели питались вѣнками, и когда сняты съ головы символы наградъ и почестей, то вырваны изъ сердца и скромность и патріотизмъ? Изъ сердца этого великаго Марція, въ которомъ какъ мы видѣли, любовь къ свободѣ и ненависть ко лжи умѣли пустить столь глубокіе корни, что угроза позора и смерти не могли даже поселить въ немъ и мысли объ отступленіи! Что же значили скромность и патріотизмъ въ устахъ другихъ римлянъ, если лучшій изъ нихъ не могъ выдержать перваго серьезнаго испытанія и далъ гордости и мщенію руководить той силой, которой до сихъ поръ правилъ Римъ? Плутархъ все это относитъ на счетъ того, что Коріоланъ недостаточно былъ близокъ къ музамъ, т. е. недостаточно отшлифовался. Но поэтъ глубже заглянулъ въ душу человѣка, чѣмъ историкъ. Алмазъ и нешлифованный цѣненъ. У Шекспира Коріоланъ въ своемъ столкновеніи съ патриціями и плебеями дивно прекрасенъ. Вы чувствуете въ каждомъ словѣ его тотъ источникъ, изъ котораго вытекло оно, и нечеловѣческая сила его краснорѣчія, незнавшаго искусной руки учителя, плѣняетъ васъ тѣмъ больше, чѣмъ рѣзче онъ расходится со всѣми. Вы видите, что эта сила—осмысленна, что стихія во всемъ своемъ безбрежномъ могуществѣ, служитъ лучшему человѣческому чувству, которое возстаетъ противъ лжи и духовнаго рабства—и вы преклоняетесь предъ Марціемъ героемъ—не тѣмъ, который вбѣжалъ одинъ въ городъ вольсковъ, чтобы изъ за дубо-

ваго вѣнка убивать людей,—а тѣмъ, который одинъ изгналъ всѣхъ римлянъ, чтобъ отстоять права человѣческаго достоинства. Все третье дѣйствіе—центръ трагедіи—поражаетъ насъ титанической своей силой, ибо въ немъ выясняется Коріоланъ—не слуга Рима, а герой человѣчества. Какъ прежде, когда онъ громилъ плебеевъ рѣчами и рубилъ вольсковъ мечемъ, мы глядѣли съ недоумѣніемъ на эту грозную движущуюся скалу, такъ теперь, когда мы чувствуемъ, что нелѣпая сила получила осмысленное направленіе, восторгъ смѣняетъ холодное удивленіе. Въ незнавшемъ музъ Коріоланѣ Шекспиръ видитъ ищущаго своихъ путей человѣка. Римскимъ идеаломъ Марцій могъ служить лишь до тѣхъ поръ, пока его чтили и награждали за службу. Ибо Римъ не понималъ невознагражденныхъ добродѣтелей. Скромность Коріолана не была тѣмъ чувствомъ внутренняго удовлетворенія, которое не требуетъ себѣ никакихъ почестей. Его патріотизмъ не былъ той любовью къ отчизнѣ, которая въ себѣ самой находитъ высшую награду. Римъ, вѣчно демонстрировавшій доблести, Римъ, возведшій virtus въ высшую добродѣтель, проповѣдывавшій силу и хитрость, какъ лучшія средства внутренней и внѣшней политики, создавалъ Цезарей, Суллъ, Помпеевъ—для которыхъ добродѣтель, не вознагражденная, хотя бы славой, не имѣла цѣны. И поскольку Марцій походилъ на Цезаря, постольку онъ могъ служить Шекспиру лишь для первыхъ дѣйствій, гдѣ онъ ищетъ лишь дубоваго вѣнка. Но въ Марціи выросло чувство, питавшееся не римской пищей—наградами, имѣвшее иной, скрывшійся отъ Плутарха источникъ—и оно сдѣлало Коріолана героемъ. Это чувство до конца жизни не измѣнило великому римлянину, ему не страшны были никакія испытанія.

Къ Авфидію Марцій входитъ мрачный и гнѣвный. Въ немногихъ словахъ объясняетъ онъ ему свое положеніе:

Народъ прозвалъ меня
Коріоланомъ. Трудныя заслуги
И смертныя опасности и кровь,

Пролитая за Римъ неблагодарный,
Награждены однимъ прозваньемъ этимъ,
Залогомъ гнѣва и вражды твоей.
Оно одно при мнѣ—все остальное
Изъ зависти сожрала злая чернь,
И предъ лицомъ патриціевъ трусливыхъ
Безсмысленными криками враговъ
Изъ Рима изгнанъ я.

Если бы онъ чувствовалъ, что virtus—высшая добродѣтель, то прозваніе „Коріоланъ“ удовлетворило бы его и въ изгнаніи, котораго онъ не побоялся, когда нужно было пойти противъ злой черни и трусливыхъ патриціевъ во имя той правды, которую сама Волумнія—для него высшій земной судія—осудила, какъ упрямство и гордость. Тогда онъ и въ изгнаніи повторилъ бы свое: „I banish'you“. Но этого ему мало. Римъ пріучилъ его давать просторъ своей силѣ и не научилъ его, чему должна служить она. Онъ самъ понялъ глубокій смыслъ и значеніе свободы, и ради нея онъ пошелъ противъ всѣхъ. А изъ Рима онъ унесъ понятія о патріотизмѣ и скромности, которыя вознаграждаются публичными почестями и высокимъ общественнымъ мнѣніемъ. Могли ли эти „добродѣтели“, когда у нихъ была отнята санкція—награда, сдержать чувство мести? И вся сила Марція обратилась противъ Рима. Теперь римляне будутъ дрожать передъ грознымъ героемъ, а вольски съ восторгомъ упиваться его славой и разсказывать о его военныхъ подвигахъ.

XXI.

Въ пятомъ и послѣднемъ дѣйствіи Коріоланъ подъ стѣнами Рима. Всѣ граждане—и патриціи, и плебеи—перетрусили и совершенно потеряли голову. Коминій ходилъ къ Коріолану, но тотъ даже не отозвался на свое прежнее имя и лишь сказалъ, что для него нѣтъ никакого имени, пока не выкуетъ себѣ новаго прозванья въ горящемъ Римѣ. На площади собрался совѣтъ: обсуждаютъ, что дѣлать, но больше препираются другъ съ другомъ. Патриціи валятъ

вину на народъ, народъ—на трибуновъ. Никто не произнесъ ни одного негодующаго слова по адресу Марція, словно такъ оно и должно быть, словно такъ и слѣдуетъ, чтобы патріотизмъ и скромность, не получившіе вознагражденія, обращались въ непримиримую вражду къ отчизнѣ. Особенно отличается Мененій Агриппа, который находитъ образъ дѣйствія Марція совершенно правильнымъ и, слушая разсказъ Коминія объ угрозахъ Коріолана, то поддакиваетъ отсутствующему герою, то объясняетъ подробно его слова. Но, въ концѣ концовъ, Мененій самъ же отправляется къ Коріолану заступничать за „гнилую, мякинную кучу“, какъ называетъ Марцій свой Римъ. Его ходатайство не приноситъ никакого результата, и римляне рѣшаются на послѣднее средство: посылаютъ къ нему Волумнію и Виргилію съ маленькимъ Марціемъ и свитой римскихъ матронъ. И чего не сдѣлалъ Римъ, къ чему не подвигнулъ Марція патріотизмъ—то сдѣлали мать и жена. Одно появленіе семьи приводитъ Коріолана въ умиленіе. Шекспиръ сразу снимаетъ въ этотъ моментъ съ Марція ту страшную броню, которая, казалось всѣмъ, составляетъ самую сущность этого человѣка, и обнажаетъ предъ нами его душу. Этотъ суровый вождь, готовившійся испепелить родной городъ, умѣетъ любить и отдавать всю свою силу своей любви. Ему слаще мести поцѣлуй его жены, ему дороже жизни его мать. Риму онъ не уступилъ бы, ибо съ Римомъ его ничего не связываетъ съ тѣхъ поръ, какъ тамъ отказались цѣнить его заслуги; а любви къ отечеству ему негдѣ было научиться. Волумнія вѣритъ въ незыблемость и безусловность преданій. Какъ и всѣ почти женщины, она всегда ищетъ нравственной опоры внѣ себя: въ любимомъ мужчинѣ, въ завѣтѣ, въ правилѣ. Ей нужно прежде всего какое-нибудь начало—и она даже не всматривается въ смыслъ и содержаніе его. Душевныхъ противорѣчій у нея нѣтъ и быть не можетъ: „онъ долженъ—стало быть, онъ скажетъ“. Но Марцій умѣетъ и не такія „долженъ“, какъ обязанности къ Риму, вырывать изъ своего сердца. Онъ знаетъ, что если во всемъ повино-

ваться обычаю, то никогда не сметешь пыли старины, и правдѣ вѣчно придется сидѣть за горами заблужденія. Для сильныхъ натуръ это „долженъ“, если оно не коренится въ ихъ природѣ—не преграда, какъ деревянная клѣтка для льва. Онѣ сламываютъ его при первомъ противорѣчіи и руководятся не обычаемъ, а велѣніемъ собственной души. Когда материнское „долженъ“ столкнулось съ необходимостью подличать и лгать предъ плебеями, Коріоланъ опрокинулъ его. Теперь мать, Коминій и Агриппа приносятъ новое „долженъ“—и Марцій отказывается говорить съ ними. Какъ римлянинъ можетъ быть долженъ своему врагу? И, если этотъ врагъ—отчизна, то какъ можетъ быть онъ ей что-нибудь долженъ, особенно, послѣ того, какъ она почтила его заслуги изгнаніемъ. На мѣстѣ Марція болѣе слабый человѣкъ давно бы уже спасовалъ предъ этимъ рядомъ возникшихъ предъ нимъ „долженъ“, какъ и предъ опасностью быть растерзаннымъ толпой. И потому-то, качество такихъ „долженъ“ провѣряется въ ихъ примѣнимости къ большимъ людямъ. Совсѣмъ слабые тоже нарушаютъ эти „долженъ“, но стыдливо, въ тиши, скрывая отъ другихъ и часто отъ самихъ себя. Волумнія выше завѣта Рима ничего не знаетъ. Но у Коріолана его сила глубже. Если бы онъ умѣлъ цѣнить отчизну, если бы Римъ воспиталъ въ немъ такую любовь къ родинѣ, какая была у него къ свободѣ и чести, если бы въ римлянахъ Марцій не привыкъ видѣть двѣ кучи несправедливыхъ и трусливыхъ людей, то онъ никогда бы не сталъ въ противорѣчіе съ этимъ „долженъ“. Разъ же противорѣчіе явилось—Марцій умѣлъ восторжествовать надъ привычкой.

Истинный патріотизмъ коренится въ глубокой нравственной связи съ родиной, а этого у Марція не могло быть. Съ того момента, когда Коріоланъ вынужденъ былъ назвать своихъ согражданъ стаей подлыхъ сукъ, что могло влечь его къ Риму? Солдаты и у вольсковъ есть, а юристы—погубили его. И этотъ Марцій, который далъ бы себя заморить въ тюрьмѣ за тотъ Римъ, который онъ бы могъ

любить и уважать, теперь пришелъ выковывать себѣ въ горящемъ Римѣ новое прозванье. Солдатъ, хвалившійся въ часъ встрѣчи съ женой тѣмъ, что въ Коріолахъ плачутъ вдовы и матери по убитымъ имъ людямъ, иначе не можетъ поступить, если въ немъ есть достаточно рѣшимости, чтобъ не быть рабомъ предразсудка. И поэтому римскій патріотизмъ, сковывавшій своимъ нравственнымъ гнетомъ среднихъ людей и направлявшій ихъ такимъ способомъ на тотъ путь, который нуженъ былъ отчизнѣ, не имѣлъ власти надъ Марціемъ, какъ и традиціонная политика патриціевъ, рекомендовавшая въ трудныя минуты лживые компромиссы. Коріоланъ и отъ нея отказался и порвалъ цѣпи пустого—для него—патріотизма. Если „бить“ можно, если нужно уничтожать вольсковъ, если нужно морить голодомъ плебеевъ, то почему же нельзя при случаѣ бить всѣхъ римлянъ, не исключая и трусливыхъ патриціевъ? Такое „почему“ не возникло бы предъ Агриппой и даже честнымъ, но ограниченнымъ Коминіемъ или женщиной Волумніей. Но Марцій умѣлъ задать себѣ такой вопросъ, и когда не нашелъ на него отвѣта, когда убѣдился, что нужно бить стаю подлыхъ сукъ, сжечь гнилую кучу—пошелъ на Римъ. Это преступленіе не Марція, а Рима, который хотѣлъ воспитать поколѣнія людей, искавшихъ посредствомъ патріотизма добыть себѣ безсмертіе въ исторіи. Въ Марціи это сказалось еще въ ту отдаленную эпоху суровыхъ нравовъ, ибо онъ сталъ въ столь исключительное положеніе, при которомъ патріотизмъ мѣшалъ мести; но потомъ всѣ римляне, при первыхъ соблазнахъ, смѣнили патріотизмъ болѣе удобными для новаго времени чувствами, и при Цезарѣ Катонъ уже былъ предметомъ насмѣшекъ.

Поэтому-то у Шекспира Марцій уступаетъ не предъ „долженъ“, принесеннымъ матерью, не предъ Римомъ, а предъ своею семьею. Эта семья, которую онъ такъ глубоко чтитъ и нѣжно любитъ, заставляетъ его отказаться отъ мести, чтобъ самому пойти на смерть. Всѣ ссылки матери на завѣты отцовъ, на судъ исторіи—не дѣйствуютъ на

Марція. „Развалины родныя“, которыми Волумнія хочетъ разжалобить сына, ничего ему не говорятъ. Ибо развалины сами по себѣ ему не страшны, ему, который столько разъ удостоивался высшихъ похвалъ за свои разрушительные подвиги. А „родные“ римляне—для него стая подлыхъ сукъ. Плутарховскія музы тутъ не помогли бы, ибо какимъ образомъ онѣ превратили бы стаю сукъ въ людей и научили бы Марція страшиться развалинъ? Тутъ задача несравненно глубже—и Шекспиръ умѣлъ ее выдвинуть. Марцій-римлянинъ, впитавшій въ себя римскія понятія, оказался бы слабымъ, недостойнымъ человѣкомъ, если бы поступилъ иначе. Онъ не могъ склониться предъ пустымъ „долженъ“ и еще менѣе было у него возможности наполнить это „долженъ“ какимъ-нибудь содержаніемъ. И онъ—не уступившій Риму—уступаетъ матери и семьѣ.

„Мать!“—восклицаетъ онъ:

О мать моя, что сдѣлала ты съ нами?
Взгляни: разверзлось небо, сами боги
На эту небывалую картину
Глядятъ съ великимъ смѣхомъ. О, родная!
Для счастья Рима побѣдила ты,
Для сына же, повѣрь мнѣ, о повѣрь мнѣ,
Ужасна та побѣда—можетъ быть,
Въ ней скрыта смерть.

Тутъ опять предъ нами тотъ Марцій, котораго мы видѣли въ 3-мъ дѣйствіи: онъ вѣренъ самому себѣ. То, что онъ чувствуетъ, то, чѣмъ онъ дорожитъ, что цѣнитъ—то подвигаетъ его на самыя страшныя рѣшенія. Если бы онъ уступилъ Риму изъ боязни суда исторіи, если бы въ немъ, какъ въ Волумніи, было бы слѣпое преклоненіе предъ Римомъ, въ силу котораго онъ не смѣлъ бы возстать противъ родины даже и тогда, когда считалъ ее гнилой кучей, то онъ не умѣлъ бы возстать и противъ всѣхъ, когда его учили возмутительной политикѣ выманиванія у плебеевъ прощенія, политикѣ, освященной всѣми преданіями. Если-бъ

Марцій воспитался иначе, если бы онъ любилъ Римъ не за награды и хвалы, ему такъ же не пришло бы въ голову соединиться съ вольсками противъ отечества, какъ не пришло бы въ голову мстить матери, если бы даже она была къ нему въ такой же степени несправедлива, какъ и римская чернь. Но между Римомъ и его сыновьями связь была чисто внѣшняя. Она была достаточно сильна, чтобъ при обычныхъ условіяхъ давать ему воиновъ, готовыхъ въ виду славы, хвалы современниковъ и исторіи, итти на подвиги. Но эти же воины, когда перспективы почестей исчезали—обращались противъ Рима, хотя умѣли забывать мщеніе и итти на смерть—для матерей своихъ. Подъ грубой внѣшней оболочкой, въ незнавшемъ музъ Марціи, Плутархъ не умѣлъ найти творческой, человѣческой души. Для него вся трагедія Коріолана обратилась въ исторію тарана, рушившаго стѣны до тѣхъ поръ, пока не разрушили его самого. У Шекспира же Коріоланъ, сквозь ложь предразсудковъ, обычаевъ и общественнаго мнѣнія, пробиваетъ себѣ свой путь—и потому онъ становится героемъ. Его преступленіе, его возмущеніе противъ родины не свидѣтельствуетъ о случайности человѣческаго жребія, а о непрерывномъ стремленіи людей къ отысканію новыхъ путей. Коріоланъ—не жертва, а побѣдитель. Побѣдитель даже въ ту минуту, когда онъ произноситъ предъ матерью эти слова: „можетъ быть, въ ней скрыта смерть“. У Шекспира обстоятельства пробиваютъ брешь въ огромномъ панцырѣ этого броненосца-человѣка лишь потому и затѣмъ, чтобы Коріоланъ служилъ Риму не руками, а всѣмъ существомъ своимъ, чтобъ онъ побѣждалъ не вольсковъ, а римскую ложь. И, если сравнить Марція въ первомъ дѣйствіи, когда онъ именемъ римской лжи рвется навалить кучу плебеевъ вышиной въ свое копье, или того же Марція, убивающаго вольсковъ и работающаго на лагерныхъ поляхъ—съ Коріоланомъ послѣднихъ дѣйствій, возстающимъ противъ патриціата за его гнусную, своекорыстную политику, отказывающимся отъ мщенія ради матери и затѣмъ погибающимъ

подъ мечами вольсковъ—опять лишь потому, что онъ не захотѣлъ покориться грубой силѣ—смыслъ трагедіи становится ясенъ, и смерть Коріолана, вся его судьба не гнететъ насъ, какъ она ни ужасна. Наоборотъ, смерть, какъ заключеніе осмысленнаго, творческаго душевнаго процесса, на нашихъ глазахъ превратившаго нелѣпый таранъ—въ героя, вѣщающаго Риму и всему человѣчеству, какъ нужно жить, чего нужно искать въ жизни,—такая смерть примиряетъ насъ, какъ откровеніе свыше. Ошибочно думать, что Шекспиръ привноситъ этотъ примиряющій элементъ во исполненіе эстетическихъ законовъ о дозволенномъ и обязательномъ въ драмѣ. Подобно тому, какъ Аристотелевская поэтика была неизвѣстна геніальному поэту, такъ и всѣ теоретическія разсужденія о возвышенномъ, патетическомъ и т. д. были чужды Шекспиру. Его пьесы построены не въ угоду теоретическимъ требованіямъ. Наоборотъ, эти требованія могутъ и должны строиться на основаніи результатовъ поэтическаго творчества. Если Шекспиръ осмысливаетъ трагедію—то не затѣмъ, чтобы примирять зрителей, а потому, что онъ видѣлъ смыслъ въ трагедіи. Плутархъ, слѣдя за жизнью Коріолана, можетъ вынести лишь нравственный урокъ и принужденъ признать, что боги, создавшіе Коріолана тараномъ, потомъ казнили его за то, что онъ не былъ Аристидомъ. Но Шекспиръ, вдумываясь въ трагедію Коріолана, видѣлъ, что она пробудила въ немъ лучшія чувства, что она является для него не наказаніемъ за преступленіе,—совершенное имъ лишь потому, что онъ не былъ съ рожденія столь же всеобъемлющъ духовно, какъ могучъ физически,—а необходимымъ процессомъ развитія. Мы подчеркиваемъ слово „видѣлъ“, чтобы уже теперь указать источникъ Шекспировскаго міропониманія. Это не самодовлѣющій идеализмъ, не считающійся съ дѣйствительностью. Это не принятый на вѣру предразсудокъ о міровой гармоніи. Это законъ, порядокъ, скрытый отъ насъ и отъ „научной критики“, вѣрующей, что „случай ведетъ людей къ безумію, преступленію, смерти“. Мы видимъ лишь поверхность

явленій и не въ силахъ проникнуть до той глубины, гдѣ таятся корни, изъ которыхъ вырастаетъ человѣческая судьба. Шекспиръ же видѣлъ ихъ, и безсмысленная, жестокая трагедія Коріолана получаетъ для него человѣчески понятный смыслъ. На мѣсто „случая“, который является для современнаго ученаго кореллативомъ „причины и слѣдствія“ у Шекспира является законъ нашего внутренняго міра. И этотъ законъ вызванъ не эстетической потребностью въ нравственномъ наркозѣ, не желаніемъ посредствомъ лжи въ поэзіи заставить людей забыть ту правду, которая ужасаетъ ихъ въ жизни, а глубокимъ, вынесеннымъ изъ доступной лишь величайшему генію сферы наблюденія убѣжденіемъ, что такъ именно и происходитъ въ дѣйствительности. Все то, что разсказываетъ Брандесъ о пессимизмѣ Шекспира, который будто бы только и стремился къ тому, чтобъ хорошенько выругаться въ своихъ драмахъ, о его сплинѣ, о ненависти къ толпѣ, аристократическихъ тенденціяхъ, скверныхъ запахахъ, поклоненіи полубогамъ и т. д.,— всѣ эти „научныя соображенія“ показываютъ лишь, какъ много хлопоталъ критикъ о томъ, чтобъ собрать побольше догадокъ изъ разныхъ книгъ о Шекспирѣ и какъ мало хотѣлъ онъ учиться у великаго поэта. Ибо всѣ почти соображенія Брандеса высказывались уже несчетное число разъ другими критиками. Даже гипотеза объ отвращеніи къ „скверному запаху“ не новость. Но обыкновенно критики всѣ такого рода соображенія высказываютъ мелькомъ, мимоходомъ, отдавая должное традиціи, требующей и нѣкотораго проникновенія „въ душу“ поэта. Все ихъ вниманіе было обращено на самыя пьесы, въ которыхъ они умѣли видѣть независимо отъ того, какіе мотивы, по ихъ мнѣнію, подвигли Шекспира къ творчеству. Брандесъ же заранѣе увѣренъ, что кромѣ лирики, обусловленной ясными „причинами“—въ сущности дешевыми настроеніями—онъ въ Шекспирѣ ничего не найдетъ, и полагаетъ, что онъ такъ судитъ оттого, что больше понимаетъ, а не оттого, что ему въ удѣлъ досталась незавидная работа—разрисовывать блѣдными кра-

сками унаслѣдованный отъ Тэна „случай“. Но къ этому—мы еще вернемся; теперь же перейдемъ къ величайшему изъ всѣхъ, когда-либо написанныхъ, художественныхъ произведеній: „королю Лиру“.

XXII.

Ни разу, при разборѣ другихъ пьесъ Шекспира—даже „Гамлета“ — критика Брандеса не оказывалась столь слабой, какъ при его попыткѣ объяснить „короля Лира“. И это—не случайность. Чѣмъ глубже и многостороннѣе поэтическое произведеніе, чѣмъ полнѣе оно захватываетъ жизнь, тѣмъ меньше пригодны для его объясненія тѣ пріемы, которыми пользуется „научная критика“ вообще. Тэнъ „Лира“ почти совсѣмъ минуетъ и спѣшитъ къ комедіямъ, гдѣ „яркое и ароматическое цвѣтеніе“ не смущаетъ душу критика: инстинктъ истиннаго ученаго правильно подсказалъ ему самый удобный способъ разрѣшенія труднаго вопроса. Брандесъ же, въ качествѣ прозелита, не чувствуетъ трудности; онъ надѣется, что для всякаго рода „цвѣтенія“ можно найти подходящія слова и сравненія и исполнить такимъ образомъ всю взятую на себя задачу. Въ „Лирѣ“, говоритъ онъ, „глазъ Шекспира измѣрилъ всю бездну ужаснаго и при этомъ зрѣлищѣ у него не закружилась голова, и духъ его не испыталъ ни страха, ни слабости. Когда стоишь на порогѣ этого произведенія, тебя охватываетъ нѣчто въ родѣ благоговѣнія—то чувство, которое испытываетъ человѣкъ, когда онъ переступаетъ черезъ порогъ Сикстинской капеллы съ плафонной живописью Микель-Анджело. Только здѣсь чувства болѣе рѣзкія, призывъ горя болѣе дикій, гармонія красоты совершенно иначе прерывается диссонирующими звуками отчаянія“ *). Это въ критикѣ художникъ „дополняетъ и исправляетъ ученаго“. Всѣ эти слова давно уже сказаны другими писателями по поводу „Лира“ или иныхъ великихъ

*) Brandes, стр. 633.

поэтическихъ произведеній, и Брандесъ добылъ ихъ лишь затѣмъ, чтобы разрисовать заимствованный имъ у Тэна „случай“. До самаго конца разбора „Лира“ у него все идутъ жалкія и торжественныя слова, въ родѣ тѣхъ, которыми пестритъ приведенный отрывокъ—и все это лишь нарядъ для того же неизмѣннаго случая. Но прежде, чѣмъ прослѣдить цѣпь этихъ словъ, мы обратимъ вниманіе читателя на тѣ соображенія, которыми Брандесъ объясняетъ появленіе на свѣтъ „короля Лира“. Безъ этого критикъ, конечно, обойтись не можетъ и ему „драма достаточно ясно говоритъ о томъ“. Для него очевидно, что Шекспиръ былъ очень щедрымъ человѣкомъ, былъ „подобно облаку у Шелли, ein ewiges Geben“ и кто можетъ сомнѣваться, что ему за его щедрость платили „самой черной неблагодарностью“? „Ein ewiges Geben“ не очень гармонируетъ съ процентами, откупами, закупками земель и т. п., которые скорѣе напоминаютъ „ein ewiges Nehmen“, если высокій слогъ уже такъ необходимъ. Но для гипотезы о томъ, что „толкнуло“ поэта, можно забыть проценты, ибо, если гипотеза будетъ, то, какъ помнитъ читатель, все остальное станетъ само собою ясно. „Мы видимъ, напримѣръ, разсуждаетъ критикъ, что„ Гамлетъ“, его величайшее до этой поры произведеніе, былъ встрѣченъ нападками или, какъ мѣтко выражается Swinburne, насмѣшками, криками, шиканьемъ, свистомъ, страшнымъ, скрытымъ неодобреніемъ со стороны меньшихъ поэтовъ. Мы можемъ угадать, если и не знаемъ, что товарищи его, которымъ онъ помогалъ, театральные поэты, которые удивлялись и завидовали ему, актеры, которыхъ онъ воспиталъ и для которыхъ онъ былъ духовнымъ отцомъ—старые, которымъ онъ протягивалъ руку помощи, молодые, за которыхъ онъ вступался—частью отвернулись отъ него, частью измѣнили ему. И каждая новая неблагодарность была ударомъ для его души. Цѣлые годы онъ замалчивалъ свое раздраженіе, сдерживалъ его, замыкалъ его въ своей душѣ. Но изъ всѣхъ пороковъ онъ болѣе всего не навидѣлъ небла-

годарность, ибо она дѣлала его духовно бѣднѣе“ *). Очень тонкая догадка! Чтобы подкрѣпить „гипотезу“ о томъ, что пьеса, имѣющая своимъ сюжетомъ неблагодарность дѣтей, написана „по поводу“ неблагодарности, Брандесъ „угадываетъ“, что Шекспиръ испыталъ неблагодарность и молчалъ о ней—пока не разсказалъ. Но не въ этомъ, конечно, дѣло. Наши замѣчанія имѣютъ лишь въ виду показать, какъ ненужны эти догадки, которыя въ общемъ сами собой разумѣются. Кто не испытывалъ неблагодарности? И имѣетъ ли смыслъ, говоря о пьесѣ писателя, напоминать, что ему въ свое время приходилось на себѣ испытать, что значитъ получать за добро—зломъ? Приводить же эти соображенія по поводу „короля Лира“, значитъ рѣшительно не понимать значенія этой пьесы, значитъ, что приведенныя выше замѣчанія Брандеса, что въ „Лирѣ“ Шекспиръ измѣрилъ „всю бездну ужаснаго“ написано имъ лишь потому, что всѣ такъ писали, и что ему самому оно ничего не говоритъ. Ибо, что такое неблагодарность сравнительно со „всѣми ужасами жизни“? Самъ Лиръ изгналъ Кента, который много лѣтъ честно служилъ ему, и за то только, что Кентъ сказалъ ему правду. И тѣмъ не менѣе честный слуга, переодѣвшись простолюдиномъ, возвращается къ своему королю! Но для Брандеса „ужасы жизни“ и ея вопросы, несмотря на то, что онъ знаетъ много словъ, которыми ихъ обрисовываютъ, много предикатовъ для этого субъекта, рѣшительно ничего не значатъ. Для него это не вопросы, подлежащіе отвѣту, а виды и роды, требующіе лишь описанія. „Лиръ“, говоритъ онъ, „необъятная трагедія человѣческой жизни; изъ нея доносится къ намъ хоръ страстныхъ, насмѣшливыхъ, дико требующихъ и отчаянно жалующихся голосовъ“ **). И вызвана у Шекспира эта трагедія неблагодарностью и завистью актеровъ, которымъ между прочимъ, по Брандесу, поэтъ много денегъ не давалъ: „Шекспиръ навѣрное не принадлежалъ

*) Ib. стр. 635.
**) Ib. стр. 638.

къ тѣмъ художественнымъ натурамъ, которыя, если у нихъ есть что-нибудь, щедро раздаютъ деньги и въ безпечномъ легкомыслiи благодѣтельствуютъ людей. Энергичный и способный дѣлецъ, онъ сберегалъ и копилъ". *) Если бы Брандесъ на этотъ разъ прочно держался біографическихъ данныхъ—это избавило бы его отъ плоской и ненужной догадки. Ибо, если въ „королѣ Лирѣ" авторъ „измѣрялъ и взвѣшивалъ то, что дѣлаетъ жизнь хуже смерти, и то, изъ-за чего жизнь получаетъ цѣну", **) т. е. если предъ нимъ, говоря словами Крейссига, возсталъ „самый серьезный и трудный изъ всѣхъ существующихъ вопросовъ", то можно ли говорить о „черной (!) неблагодарности", какъ импульсѣ къ творчеству? Но этотъ „серьезный и трудный" вопросъ на самомъ дѣлѣ не существуетъ для Брандеса. Ужасы жизни, о которыхъ онъ говоритъ столь тщательно подобранными словами, какъ и весь Шекспиръ, для него—„только литература", задача которой сводится къ тому, чтобы подыскать болѣе или менѣе разнообразные эпитеты для классификаціи явленій. „Случай" самъ собою разумѣется; задача же критика состоитъ въ томъ, чтобы наряжать его, смотря по обстоятельствамъ, то въ траурныя, то въ праздничныя, то просто въ будничныя одежды. Повторяемъ—Брандесу отлично извѣстно, какіе вопросы возникали предъ Шекспиромъ, когда онъ писалъ своего „Лира": объ этомъ вся Шекспировская критика непрерывно толкуетъ, стараясь выяснить смыслъ этого величественнаго произведенія. Онъ знаетъ, что „поэтъ наполняетъ свою драму такими ужасами, какихъ онъ не рисовалъ со временъ своей первой юности („Титъ Андроникъ") и не боится даже допустить на сценѣ вырываніе глазъ ***). Но что значитъ это? Отчего ужасы „Тита Андроника" кажутся намъ ненужными и тягостными, а попытки актеровъ смягчить развязку „Лира" (спасти Корделію отъ

*) Ib. стр. 635.
**) Ib. стр. 634.
***) Ib. стр. 641.

случайной смерти) вызываютъ въ насъ самые энергичные протесты, хотя ничего не можетъ быть ужаснѣе, чѣмъ эта случайная, неожиданная, — ненужная, повидимому — смерть лучшей изъ женщинъ на глазахъ у старика-отца, и безъ того вынесшаго столь нечеловѣческія пытки. Брандесъ „понимаетъ“ цѣли Шекспира; „безъ сожалѣнія хочетъ онъ показать, какова жизнь. Такъ все идетъ на свѣтѣ, говоритъ вамъ пьеса. Никогда еще Шекспиръ не противоставлялъ другъ другу добро и зло, добрыхъ и злыхъ людей, нигдѣ еще не рисовалъ онъ такъ ихъ взаимную борьбу, какъ въ „Лирѣ“, и нигдѣ еще не проявилъ онъ такого отвращенія къ обычной, принятой въ театральныхъ представленіяхъ развязкѣ: побѣдѣ добра надъ зломъ. Слѣпая и жестокая судьба уничтожаетъ въ концѣ концовъ какъ добрыхъ, такъ и злыхъ“ *). Такое значеніе и такой смыслъ придаетъ Брандесъ „королю Лиру“. „Слѣпая судьба“ господствуетъ надъ людьми и „такъ все идетъ на свѣтѣ“. И говоря это—Шекспиръ не дрогнулъ, его душа не испытала страха. И душа Брандеса тоже выслѣживаетъ всю бездну ужасовъ и тоже держится крѣпко.

Мы уже говорили по поводу „Гамлета“, что значитъ эта похвальба геройствамъ, что это за люди, которые разсказываютъ, что видѣли голову Медузы—и не окаменѣли, а только ограничились тѣмъ, что записали ея примѣты, чтобъ имѣть матеріалъ для литературы. Теперь скажемъ еще разъ. Всѣ страшныя выраженія, которыя собралъ критикъ въ главахъ о „Лирѣ“—наборъ словъ, не имѣющихъ въ глазахъ ихъ автора никакого значенія. И это единственное, наиболѣе примиряющее насъ съ такимъ видомъ литературной лжи объясненіе. Критикъ хочетъ писать, какъ всѣ и какъ можно новѣе. Вслѣдствіе этого онъ говоритъ такія вещи, о реальномъ значеніи которыхъ онъ не имѣетъ ни малѣйшаго представленія. Онъ, очевидно, убѣжденъ, что задача писателя комбинировать принятыя теоріи и гипотезы.

*) Ib. стр. 641.

Представьте себѣ слова Брандеса не въ книгѣ и по поводу книги, а въ жизни. Къ вамъ приходитъ человѣкъ и заявляетъ, что онъ присутствовалъ при томъ, какъ на глазахъ у 80-лѣтняго старика повѣсили его любимую дочь, благороднѣйшее и невиннѣйшее существо, и затѣмъ добавляетъ: „что до меня, такъ я и не дрогнулъ; слѣпая судьба и т. д.“. Что подумаете вы про такого человѣка? Вы не повѣрите ему, не повѣрите тому, что онъ видѣлъ эту сцену, или скажете вмѣстѣ съ Лиромъ, что нужно вскрыть ему сердце и посмотрѣть, не кроется ли причина жестокости въ природѣ. Но вѣрнѣе всего будетъ, если вы скажете, что все это—выдумка, что онъ ничего не видѣлъ и разсказываетъ вамъ только сказку, смысла которой онъ не понимаетъ. Это мы говоримъ о Брандесѣ, Тэнѣ и всей „научной“ критикѣ, „понимающей“, что случай (онъ же „слѣпая судьба“) владычествуетъ надъ человѣкомъ. Корделіи эти люди не знали. Ужасы жизни, равно какъ ея свѣтлыя стороны извѣстны имъ, какъ нѣчто соотвѣтствующее принятымъ въ книгахъ словамъ. Медузы они не видѣли, а по картинамъ кузнеца Вакулы, на которыя они глядѣли, не смущаясь—они судятъ о своей храбрости и силѣ.

Нѣмецкая критика, не только Ульрици и Гервинусъ, но даже Крейссигъ, говоритъ о „винѣ“ Лира. Онъ прогналъ, изъ-за пустяковъ свою дочь, изгналъ лучшаго слугу и поэтому заслужилъ свое наказаніе. Крейссигъ даже вмѣняетъ въ вину Лиру и то обстоятельство, что онъ пріучилъ ко лжи и лицемѣрію старшихъ дочерей своихъ, Регану и Гонерилью, и слѣдовательно долженъ отвѣчать за ихъ преступленіе. „Возмездіе“, по мнѣнію нѣмецкихъ критиковъ есть то, что миритъ насъ съ „виною“ людей и поэтому-то основнымъ закономъ поэтическаго творчества должно быть торжество добра надъ зломъ. Наказанная вина знаменуетъ собою недремлющее око Провидѣнія, уже здѣсь, на отмели временъ, подводящаго итоги человѣческимъ поступкамъ. Такой взглядъ приписывается Гервинусомъ и Ульрици Шекспиру. Несомнѣнно, что насколько

эта теорія далека отъ Шекспировскаго міропониманія, настолько же она выше теоріи „случая“, развиваемой Тэномъ и Брандесомъ. Она представляетъ собою первый шагъ въ стремленіи людей вырваться изъ безаппелляціонной власти мертвой природы надъ живымъ человѣкомъ. Критики знаютъ, что на самомъ дѣлѣ въ нашихъ глазахъ торжествуютъ злые, а добрые „плетутся подъ тяжестью своего креста, окровавленные и несчастные“. Но поэтому-то они и требуютъ отъ поэзіи идеализма; по ихъ мнѣнію изъ области искусства должно быть исключено все то, что греки называли miaron, т. е. все, возмущающее душу, все несправедливое и случайное—какъ ненаказанное преступленіе, гибель невиннаго существа и т. д. Причина, вызвавшая такое эстетическое требованіе коренится въ убѣжденіи, что искусство не имѣетъ иныхъ средствъ примирить насъ съ этимъ miaron, кромѣ вѣры въ „идею“ о торжествѣ правды и, что, слѣдовательно, та драма, которая не будетъ проникнута такой идеей, то художественное произведеніе, въ которомъ не будетъ соблюденъ этотъ принципъ трагическаго, не можетъ дать намъ эстетическаго наслажденія. Поэтому-то смерть Корделіи въ „королѣ Лирѣ“ доставляетъ столько хлопотъ нѣмецкой критикѣ и такое удовольствіе Брандесу. Нѣмцы, какъ это имъ ни тяжело, принуждены составлять обвинительные акты лучшей, самой обаятельной, чистой и поэтической изъ Шекспировскихъ женщинъ, а Брандесъ торжествуетъ: если Корделія погибаетъ, то очевидно, что miaron не можетъ быть исключенъ изъ области художественнаго творчества и искусство, въ лицѣ величайшаго изъ своихъ представителей, Шекспира, признало господство случая—закономъ для человѣка. Крейссигъ по-своему рѣшаетъ этотъ вопросъ. Хотя онъ Лира и признаетъ „виновнымъ“ и принимаетъ его трагедію, какъ заслуженное наказаніе, но о „винѣ“ Корделіи онъ уже не говоритъ. Правда, она проявила нѣкоторое упрямство въ бесѣдѣ съ отцомъ, она привела въ Англію французскія войска. Но, очевидно, все время побудительныя причины ея чисты и невинны: она не хотѣла лгать, и затѣмъ

пришла на защиту оттолкнувшаго ее отца, когда его такъ обидѣли сестры.

Замѣтимъ, между прочимъ, что въ до-шекспировской обработкѣ фабулы „Лира", Корделія вездѣ спасается отъ смерти, возвращаетъ власть отцу, выходитъ замужъ за Эдгара и такимъ образомъ зло оказывается побѣжденнымъ. Шекспиръ, очевидно, умышленно измѣнилъ развязку и сдѣлалъ Корделію жертвой случая. И, тѣмъ не менѣе, Крейссигъ, который съ такимъ глубокимъ напряженіемъ слѣдитъ за выводимыми Шекспиромъ на сцену ужасами, принужденъ сказать, что вся трагедія заключаетъ въ себѣ примирительное начало, что Шекспиръ, слѣдовательно, не ставитъ вопросъ, а разрѣшаетъ его. И поэтому, говоритъ онъ, „трагедія въ высшей мѣрѣ заслуживаетъ названія „возвышенной" въ Шиллеровскомъ смыслѣ, поскольку она съ особой рѣзкостью подчеркиваетъ независимость нравственнаго міра отъ міра чувственнаго: истинная трагедія категорическаго императива во всемъ его величіи, но также во всей его суровости". Брандесъ же, нерѣдко пользующійся Крейссигомъ, какъ источникомъ для своихъ главъ о „Лирѣ" и другихъ трагедіяхъ Шекспира, этотъ выводъ нѣмецкаго критика игнорируетъ, ибо категорическій императивъ противенъ его душѣ, не самъ по себѣ, а какъ нѣкій протестъ противъ господства случая, который даетъ возможность писать жалобныя слова. Несомнѣнно, что формулировка Крейссига, несмотря на то, что въ нее входитъ категорическій императивъ *), свидѣтельствуетъ о томъ, какъ глубоко понялъ нѣмецкій критикъ цѣль, „короля Лира". Онъ говоритъ далѣе, что въ этой трагедіи поэтъ, рѣшавшій до сихъ поръ „другія проблемы духовной и нравственной жизни, счелъ возможнымъ представить и эту труднѣйшую и серьезнѣйшую проблему въ драматической формѣ". Критикъ понимаетъ, что если Шекспиръ, изображая ужасы жизни,

*) Между прочимъ, Крейссигъ напрасно отождествляетъ «категорическій императивъ» съ «возвышеннымъ» Шиллера. Шиллеру категорическій императивъ былъ непонятенъ, и онъ очень остроумно иронизировалъ по поводу «чистаго» долга.

„не дрогнулъ“—то лишь потому, что рѣшилъ поставленный себѣ вопросъ, т. е. понялъ смыслъ этихъ ужасовъ. Брандесъ же, повторяя вслѣдъ за Крейссигомъ первую часть его формулировки, опредѣляющую собою задачу „Лира“,—вторую часть ея, т. е. разрѣшеніе задачи, отвѣтъ на вопросъ—заимствуетъ уже у Метерлинка. Правда, категорическій императивъ врядъ ли нашелъ бы въ Шекспирѣ своего поборника, какъ мы это увидимъ при разборѣ „Макбета“, но тѣмъ не менѣе для Крейссига, который въ немъ видитъ единственную возможность освободиться отъ „miaron“, такое разрѣшеніе кажется и можетъ казаться, по понятнымъ человѣческимъ соображеніямъ, соотвѣтствующимъ тому примирительному настроенію, той ясности духа, которая господствуетъ въ „королѣ Лирѣ“ и которую, какъ мы помнимъ, вслѣдъ за Крейссигомъ отмѣчаетъ и Брандесъ, когда говоритъ, что у Шекспира, въ виду изображаемыхъ имъ ужасовъ жизни, не закружилась голова. Крейссигъ понимаетъ, что существенно въ „королѣ Лирѣ“ не то, что тамъ изображены страхи, а то, что эти страхи не смутили поэта и не смущаютъ насъ, когда мы читаемъ или видимъ на сценѣ его трагедію. Поэтому онъ, подобно Ульрици и Гервинусу, ищетъ прежде всего объяснить себѣ, вдумываясь въ пьесу, что примиряло Шекспира съ жизнью. И приписываетъ Шекспиру категорическій императивъ, такъ какъ объясненія Ульрици и Гервинуса не удовлетворяютъ его. Критикъ знаетъ, что „предразсудокъ думать, будто правому дѣлу всегда обезпечена побѣда“, знаетъ, что и Шекспиру это было извѣстно, и старается вывѣдать у поэта, какъ онъ примирялся съ торжествомъ неправды. Поэтому, если онъ привѣтствуетъ Шекспира, дерзнувшаго преступить эстетическій принципъ и вывести на сцену „miaron“,—то это понятно. Но чего торжествуетъ Брандесъ? Онъ, который вычиталъ въ „Лирѣ“ только одни ужасы, какъ и въ „Титѣ Андроникѣ“,—который вынесъ изъ этой трагедіи лишь сознаніе безпомощности человѣка предъ дьявольскими силами? Какое у него основаніе сохранить ясность духа? „Потеря Корделіи знаменуетъ собой гибель

(Untergang). Всѣ люди теряютъ своихъ Корделій или чувствуютъ, что имъ грозитъ такая потеря. Потерять самое дорогое и лучшее, что даетъ цѣну жизни — вотъ трагедія жизни. Отсюда вопросъ: это обѣщанный конецъ? Да, это такъ. У каждаго свой міръ, и каждому грозитъ пережить гибель этого міра. Шекспиръ въ 1606 году былъ въ такомъ настроеніи, что могъ лишь писать драмы о свѣтопреставленіи" *). Затѣмъ слѣдуетъ перечень всѣхъ ужасовъ „Лира" и—заключеніе: „ночью, сидя у своего камина, Шекспиръ прислушивался къ дребезжанію оконъ подъ ударами вѣтра и къ вою бури въ трубѣ и въ этихъ страшныхъ голосахъ, настигающихъ другъ друга, точно въ построенной по правиламъ контрапункта фугѣ, онъ узналъ крикъ горя страждущаго человѣчества" **). Это меланхолическое заключеніе интересно, между, прочимъ потому еще, что для него понадобилась „гипотеза", которую критикъ предусмотрительно „обосновалъ" въ началѣ той главы, которая такъ печально кончается. Вѣроятно, говоритъ Брандесъ, Шекспиръ работалъ по утрамъ. Обычное распредѣленіе дня принуждало его къ этому. Но едва-ли въ свѣтлый утренній часъ, едва-ли даже днемъ создалъ Шекспиръ своего „Лира". „Нѣтъ, достаточно ясно, что написалъ онъ его ночью, въ бурю, въ страшную грозу, въ одну изъ тѣхъ ночей, когда думаешь"—о томъ, „что въ настоящее время называютъ скучнымъ именемъ соціальнаго вопроса" ***). Всѣ эти слова, словечки и сравненія въ высшей степени характерны, для Брандеса и подобныхъ ему писателей. Они, эти писатели и ихъ читатели, все знаютъ и обо всемъ умѣютъ говорить. И фуги, и соціальный вопросъ, и контрапунктъ, и плафонная живопись, и страшные голоса бури, и свѣтопреставленіе—что хотите отыщите вы у нихъ, и вся эта притязательная и самодовольная „художественность" замѣняетъ отвѣты на возникающіе вопросы. „Лиръ" написанъ, и Шек-

*) Brandes, стр. 647.

**) Ib. стр. 648.

***) Ib стр. 639.

спиръ не дрогнулъ, а Брандесъ занимается изысканной болтовней, которую называетъ критикой „Лира“, т. е. объясненіемъ этого произведенія. И читатели вслѣдъ за нимъ пойдутъ такимъ же способомъ разговаривать и будутъ убѣждены, что исполнили святую обязанность самыхъ культурныхъ людей—стучались въ дверь тайны. Когда Тэнъ говорилъ о Шекспирѣ — онъ, по крайней мѣрѣ, не гримасничалъ, а произносилъ краснорѣчивыя диссертаціи по поводу „причины и слѣдствія“. Брандесу же этого мало; онъ не хочетъ быть одностороннимъ, ему еще нужно быть „художественнымъ“, и онъ, дѣлая мрачное лицо, разсказываетъ о всякихъ ужасахъ, о томъ, что жизнь хуже смерти, что всѣ мы теряемъ Корделій, и не забываетъ при этомъ ни фугъ, ни бури, ни прочихъ словечекъ своихъ. „Брось свою негодную мимику“, хочется сказать ему, вмѣстѣ съ Гамлетомъ, и приступи къ дѣлу. Но мимика — это все его дѣло.

Прослѣдимъ же теперь за трагедіей Лира и посмотримъ, можно ли не дрогнуть, если она дѣло „слѣпой судьбы“.

XXIII.

Первая сцена перваго дѣйствія „короля Лира“ вызывала наиболѣе всего нападокъ со стороны критиковъ. Гете назвалъ ее „безсмысленной“. Брандесъ присоединяется къ тѣмъ, которые считаютъ эту сцену неудачной. „Въ введеніи нѣтъ никакой разумной мотивировки образа дѣйствія короля, но Шекспиръ принялъ его цѣликомъ изъ прежней драмы со свойственнымъ ему суверенным пренебреженіемъ и равнодушіемъ ко всему несущественному“ *). Это „суверенное пренебреженіе“, какъ и всѣ другія суверенныя свойства Шекспира уже давно служатъ критикамъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ болѣе подходящаго къ дѣлу объясненія, и Брандесъ могъ со спокойной совѣстью повто-

*) Ib. стр. 640.

рить, вслѣдъ за другими, свои слова. Но намъ кажется, что „король Лиръ“ въ такого рода оправданіяхъ не нуждается. Первая сцена, какъ и всѣ сцены этого великаго произведенія, полна глубокаго смысла. Въ ней, какъ она ни коротка, предъ нами сразу обрисовывается Лиръ во всей полнотѣ своего могучаго и необузданнаго характера. Ему 80 лѣтъ, онъ усталъ отъ заботъ трудной царской власти, хочетъ безъ ноши на плечахъ плестись къ гробу и поэтому рѣшился осуществить свой давнишній замыселъ: раздѣлить межъ дочерьми свое царство. Но прежде, чѣмъ „вознаграждать“—Лиръ полагаетъ, что онъ награждаетъ, хотя самъ сейчасъ сказалъ, что онъ лишь снимаетъ съ себя ношу—но прежде, чѣмъ награждать, онъ желаетъ услышать отъ дѣтей своихъ, насколько они его любятъ, ибо, очевидно, ему награда должна соотвѣтствовать степени любви. Конечно, для него это чисто формальный вопросъ. Онъ слишкомъ убѣжденъ, что его, Лира, съ настроеніями котораго и стихіи не смѣли спорить, всѣ должны любить и почитать, какъ перваго изъ людей. Если онъ спрашиваетъ дочерей своихъ, то это потому лишь, почему онъ слушалъ столько лѣтъ лесть придворныхъ — не затѣмъ, чтобы убѣдиться въ своемъ величіи, а чтобъ лишній разъ мелькомъ, мимоходомъ взглянуть, какъ оно отразится въ зеркалѣ похвальныхъ словъ. И, несомнѣнно, изображеніе всегда ему казалось ничтожнымъ въ сравненіи съ дѣйствительностью. На что уже мастерица Гонерилья подыскивать „знаки своей любви“! Она Лира любитъ больше, чѣмъ свѣтъ очей, пространство, свободу, красоту, богатство, честь—даже больше, чѣмъ жизнь. Лира это не трогаетъ. Онъ разсѣянно слушаетъ до конца и затѣмъ „награждаетъ“ — отдаетъ ей ту часть, которая уже заранѣе была ей предназначена. Затѣмъ и Регана разливается въ сладкихъ словахъ. Она одной породы съ сестрой и все сказанное Гонерильей подтверждаетъ—съ однимъ лишь добавленьемъ, что считаетъ себя врагомъ всѣхъ радостей земныхъ и видитъ счастье жизни лишь въ любви къ своему высокому отцу. Во всей этой

великолѣпной лжи Лиръ не чувствуетъ и тѣни преувеличенія. Иного языка, когда рѣчь идетъ о любви къ нему онъ и не допускаетъ, онъ—столько лѣтъ бывшій королемъ и предметомъ поклоненія всѣхъ. И вдругъ, когда доходитъ очередь до Корделіи, она, которая умѣетъ только любить и молчать и которая, несмотря на то, что выросла въ атмосферѣ дворца, не научилась условной лжи, ставшей второй правдой для Лира, отвѣчаетъ ему двумя словами: „государь—ничего“. Лиръ еще не сразу выходитъ изъ себя. Онъ предлагаетъ ей подумать и сказать. И Корделія говоритъ ему, что она его такъ любитъ, какъ того требуетъ долгъ, и что, если бы она одного отца любила, какъ сестры, то никогда не вышла бы замужъ и что также и сестрамъ не зачѣмъ было бы жить съ мужьями. Лиръ, слушая эти правдивыя и нѣжныя слова, не вѣритъ себѣ. Они кажутся ему слабыми, безсодержательными, ничтожными. Развѣ его, Лира, нужно любить какъ долгъ повелѣваетъ любить отца?! И онъ, въ искреннемъ негодованіи, восклицаетъ: „такъ молода и такъ черства ты сердцемъ“! На это Корделія отвѣчаетъ ему: „я молода—но правды не боюсь“. И тутъ только Лира взрываетъ. Есть какая-то правда, источникъ закона. Правда, которая старше, могущественнѣе его. Это—то, чего онъ не умѣетъ понять. Опираться на правду и не бояться, не чтить его, Лира! Большаго оскорбленія король, конечно, не слышалъ во всю жизнь свою, которая была рядомъ блестящихъ свидѣтельствъ того, что онъ, Лиръ, даетъ всему начало: что вся жизнь, все живое существуетъ для него. Послѣ, когда французскій король удивился, что Корделія за столь малую вину такъ жестоко наказана, Лиръ восклицаетъ, „лучше-бъ ей не родиться, чѣмъ мнѣ не угодить“... И такъ именно понималъ король—всѣ 80 лѣтъ, которые онъ провелъ на свѣтѣ,—жизнь и людей. Всѣ существуютъ, чтобъ ему угождать и, въ той мѣрѣ, въ какой ему угождаютъ или противятся, люди заслуживаютъ награды или наказанія. Кентъ пытается остановить короля — но Лиръ его не слушаетъ. „Молчать!“ кричитъ онъ ему: „не смѣй соваться межъ

змѣемъ и его губительной яростью.“ Кентъ не слушается, Лиръ снова повторяетъ угрозу: „натянутъ лукъ — не стой передъ стрѣлой!“ Кента это не только не удерживаетъ, но, напротивъ, заставляетъ еще болѣе повысить голосъ. Этого уже вполнѣ достаточно, чтобы сдѣлать его „крамольникомъ“ въ глазахъ Лира, и чѣмъ энергичнѣе протестуетъ честный слуга, тѣмъ сильнѣе растетъ негодованіе короля. Сперва Лиръ лишь гонитъ Кента, но подъ конецъ онъ хватается за мечъ, и только вмѣшательство Альбани и Корнвалля предупреждаетъ кровавую развязку, и Кентъ платится за свою правду, которая представляется Лиру измѣной—изгнаніемъ. Въ немилость Лира попадаетъ и французскій король, который ему кажется крамольникомъ только потому, что онъ за одно съ Корделіей и Кентомъ. Лиръ гонитъ его вмѣстѣ со своей отверженной дочерью и зоветъ за собою бургундскаго герцога, забывъ, что у этого любовь неразлучна съ расчетомъ. Онъ такъ глубоко чтилъ свой королевскій санъ и себя, короля, что высшаго преступленія, чѣмъ оскорбленіе величества—для него нѣтъ. И эта черта создаетъ въ его душѣ великую трагедію, ибо благодаря ей — онъ сталъ великимъ человѣкомъ. Поэтому онъ снимаетъ съ себя корону, онъ отдаетъ дочерямъ всю власть свою—и оставляетъ за собою лишь честь и королевскій титулъ, которыхъ ничто не охраняетъ. Вся расправа, всѣ владѣнья, всѣ доходы—у дочерей. Лиръ остается только королемъ отъ головы до ногъ. И этотъ настоящій король безъ короны, король душой, пойдетъ войной противъ другихъ земныхъ королей, съ ихъ могуществомъ, солдатами и придворными, ничего не имѣя за собой, кромѣ безсильной жалости Глостера, да еще болѣе безсильной поддержки философствующаго шута и неспокойнаго Кента. Одинъ противъ всѣхъ! И не Брутъ, молодой, полный жизни, не Коріоланъ, герой, поднявшій всѣхъ вольсковъ, а хилый, слабый старикъ возстанетъ противъ людей и стихіи за оскорбленное величіе человѣческаго достоинства.

Такимъ образомъ, первая сцена оказывается не только

достаточно мотивированной, но, болѣе того, заключающей въ себѣ мотивировку всѣхъ дальнѣйшихъ поступковъ Лира. „Когда я дрожалъ отъ студенаго вѣтра, когда громъ не захотѣлъ умолкнуть по моему приказу, тутъ-то я ихъ хорошо понялъ! Нѣтъ, льстивымъ рѣчамъ не нужно вѣрить. Мнѣ говорятъ, что я всесиленъ: лихорадка сильнѣе меня". Эти слова произноситъ въ концѣ четвертаго дѣйствія тотъ Лиръ, который въ первомъ дѣйствіи прогоняетъ Корделію, отдавая ей въ приданое ея правду, который говоритъ, что лучше бы его дочери не родиться, чѣмъ не угодить ему, королю. Сопоставьте только эти два момента—начала и конца трагедіи — и осмысленность, необходимость вступительной сцены станетъ для васъ совершенно ясна. Если Лиръ не зналъ, а онъ именно не зналъ, что громъ не умолкнетъ по его приказу, что лихорадка сильнѣе его, то какъ же могъ допустить онъ, что Корделія не дастъ ему тѣхъ нѣсколькихъ словъ острой лести, которую всѣ, безъ его просьбы, не затруднялись преподносить ему въ такомъ неслыханно гиперболическомъ количествѣ, что убѣдили его и въ подвластности стихій. Онъ, въ которомъ „every inch a king"—каждый вершокъ—король, не подозрѣвалъ и не могъ подозрѣвать, что власть его покоится на грубой силѣ солдатъ. Онъ всѣмъ существомъ своимъ чувствовалъ верховныя права своей личности, человѣческой личности — а не короны, ему принадлежавшей. Придворные лгали ему, разсчитывая на подачки и, не подозрѣвая того, разсказали ему великую правду—но лишь на половину. Другую половину онъ узналъ отъ дочерей своихъ, которыя прежде льстили ему вмѣстѣ съ придворными лгунами, а послѣ—вмѣстѣ съ новыми своими „угодниками"—дождемъ, громомъ и бурей—пошли войной противъ старой и сѣдой головы. Въ первой сценѣ вы сразу видите предъ собою короля, every inch a king—ту великую духовную силу, которая не измѣняетъ Лиру никогда, даже тогда, когда онъ, самъ того не вѣдая, казнитъ лучшихъ и правыхъ. Слабый человѣкъ, ищущій лишь удобствъ и покоя, не прогналъ бы ни Кента, ни Кор-

деліи и не оскорбился бы тѣмъ, что ему предпочли правду, хотя бы и считалъ, что такъ не должно быть. Но „король отъ головы до ногъ“ вырываетъ изъ своего сердца Корделію, любимѣйшую дочь, предметъ похвалъ и подпору въ старости, когда она показалась ему не такой, какой она должна быть. Смѣшно говорить о „болѣзни его возраста“, о „сумасбродствѣ“, о чемъ разсказываютъ Гонерилья и Регана, а вслѣдъ за ними и нѣкоторые критики. Дочерямъ хочется скорѣе проявить свои „причуды“, и онѣ еще прежде чѣмъ вступить во владѣніе короной, сговариваются о томъ, какъ отдѣлаться отъ отца. Для Шекспира Лиръ въ первомъ дѣйствіи не капризный старикъ, а могучій король. Ибо капризный человѣкъ, не имѣющій внутренней опоры, всегда готовъ уступить, если иначе нельзя уладить свои дѣла. И для капризныхъ людей трагедія—невозможна. Они могутъ быть несчастны, но станутъ терпѣть лишь обязательное горе—въ родѣ болѣзни; принять же на себя, какъ это сдѣлалъ Лиръ—отчаяніе, безуміе и смерть—они не захотятъ и, не сумѣютъ.

XXIV.

Въ четвертой сценѣ перваго же дѣйствія первое столкновеніе Лира съ Гонерильей. Онъ возвращается съ охоты и неожиданно замѣчаетъ, что съ нимъ начинаютъ обходиться безъ прежняго почтенія. „Мнѣ кажется, что міръ спитъ!“ восклицаетъ онъ, и въ сердцѣ его шевелится недоброе предчувствіе.

Дворецкій, котораго прежде колотила лихорадка при видѣ короля, уходитъ, не выслушавши Лира; потомъ на его вопросъ: „кто я такой, сэръ?“ отвѣчаетъ: „отецъ государыни“. Немного нужно догадливости, чтобы понять, что дворецкій не дерзнулъ бы такъ говорить, если-бъ его не поощрили свыше. А тутъ и рыцарь изъ свиты, и переодѣтый Кентъ, принятый Лиромъ въ услуженіе, и шутъ—вмѣсто того, чтобы успокаивать короля, всѣми рѣчами и

поступками своими еще болѣе оттѣняютъ его положеніе. Кентъ бьетъ и выталкиваетъ дворецкаго, рыцарь изъ свиты докладываетъ Лиру, что „вся прислуга, самъ герцогъ и дочь теперь не такъ вѣжливы, какъ всегда бывали“, дуракъ отпускаетъ горькія шутки, сводящіяся къ тому, что Лиръ далъ дочерямъ розгу и сталъ отстегивать подтяжки. Гервинусъ находитъ въ словахъ и дѣйствіяхъ этихъ лицъ необдуманность. Все это лишь „способствуетъ обостренію отношеній между Лиромъ и дочерьми“. Почти тоже говоритъ и Крейссигъ. По Гервинусу шутки дурака имѣютъ лишь чисто эстетическое назначеніе, чтобъ зрителю не слишкомъ тяжело было слѣдить за вспышками гнѣва Лира. Намъ кажется, что это эстетическое объясненіе здѣсь излишне. Шекспиръ даетъ намъ въ словахъ рыцаря лучшее объясненіе: „долгъ мой, говоритъ рыцарь Лиру, не велитъ мнѣ молчать, когда я предполагаю оскорбленіе вашему величеству“. Вѣдь вся трагедія Лира основана на томъ, что дочери и ихъ угодливые рабы съ того момента, когда Лиръ лишился прежней власти, отказываютъ ему и въ „прежнемъ почтеніи“. Задача близкихъ къ Лиру людей менѣе всего могла сводиться къ тому, чтобъ какъ-нибудь уладить возникавшія недоразумѣнія. Они потому такъ и преданы королю безъ короны, что одного съ нимъ чекана. Они льнутъ къ тому, кто не въ милости, такъ станутъ ли они учить его смиренію передъ силой? Ихъ образъ дѣйствій не результатъ случайности или необдуманности. Прямота Кента далеко не свидѣтельствуетъ о томъ, что въ немъ „больше мужества, чѣмъ ума“, какъ согласно повторяютъ и Гервинусъ, и Крейссигъ, и его поступки не являютъ собой опыта пробиванія стѣны лбомъ, какъ полагаетъ Крейссигъ. Наоборотъ, всѣ эти лица, и рыцарь, и шутъ, и Кентъ не хотятъ примиренія и сознательно не допускаютъ Лира унижаться передъ дочерьми. Лиръ потому и милъ ихъ сердцу, потому и находитъ въ нихъ столь преданныхъ слугъ, что они вѣрятъ въ его достоинство, что цѣнятъ въ немъ не владѣльца короны, а человѣка, въ которомъ „every inch a king“.

На первое же замѣчаніе Гонерильи Лиръ реагируетъ съ страшной силой. Онъ чувствуетъ сразу, что онъ не Лиръ, а тѣнь Лира. „Лиръ такъ ходитъ? Лиръ такъ говоритъ? Или умъ его разслабъ? Спитъ онъ, что-ли?“ восклицаетъ онъ. Еще такъ недавно эта самая Гонерилья и всѣ люди, съ которыми встрѣчался Лиръ, трепетали передъ нимъ, говорили ему ласковыя и льстивыя слова, въ которыхъ онъ не умѣлъ открыть лжи, и онъ убѣдился, что одно его имя даетъ ему право на уваженіе, почетъ, власть. До того убѣдился, что не побоялся, при жизни, снять съ себя всѣ внѣшніе аттрибуты власти и остаться такимъ, какимъ человѣкъ является на свѣтъ Божій, какимъ былъ древній мудрецъ, носившій все свое съ собою. Несомнѣнно, что глубокое довѣріе, которое проявилъ Лиръ къ людямъ, ко всей жизни—основывалось исключительно на томъ, что онъ, не давая даже себѣ отчета, всѣмъ существомъ своимъ чувствовалъ неприкосновенность и святость своихъ человѣческихъ правъ. Онъ привыкъ думать, что не корона охраняетъ его, а то, что выше короны. И когда вдругъ, въ теченіе нѣсколькихъ минутъ это убѣжденіе, которымъ онъ жилъ, вырываютъ изъ его груди—не теоретическими выкладками, а грубыми и жесткими оскорбленіями безсердечной дочери, не мудрено, что вмѣстѣ съ нимъ вырываютъ и сердце у бѣднаго старца. Это уже начало страшной трагедіи: король узнаетъ, что онъ человѣкъ и ничего больше, т. е. бѣдное, голое, двуногое животное. Грубыя рѣчи дочери, пѣсни и остроты шута, не желающаго даже на мгновеніе скрасить ужасъ сдѣланнаго Лиромъ открытія, словно рядъ ударовъ тяжелаго молота, обрушаются на голову того, кто еще недавно повелѣвалъ стихіями, а теперь сталъ только человѣкомъ, и въ этомъ причина тѣхъ страшныхъ, внезапно вырывающихся у Лира, проклятій, которыя гнѣвъ –что бы ни говорили критики—не въ силахъ породить. Одно лишь безсильное отчаяніе полнаго жизни и сильнаго душой человѣка способно внушить тѣ слова, съ которыми Лиръ обращается къ дочери. Онъ не дочь про-

клинаетъ, хотя онъ и на нее обрушается, какъ на видимую причину своего несчастія. Она могла только оскорбить его— но кто отнялъ у него силы отвѣтить на эти оскорбленія? Кто извратилъ настолько его природу, что онъ отвергъ Корделію? Это приводитъ его въ отчаяніе, поэтому онъ бьетъ себя въ голову—стучится въ ту дверь, откуда онъ выпустилъ разумъ. „Лиръ, Лиръ, Лиръ!“ восклицаетъ онъ, и отъ этого восклицанія у зрителя волосы становятся дыбомъ на головѣ. Вотъ когда распадается связь временъ. Исхода—нѣтъ. Нѣтъ злодѣя, котораго нужно было бы, можно было бы наказать. Чѣмъ уврачевать эту страшную рану? Какъ отвѣтить на этотъ вызовъ судьбы? Если бы было, что дѣлать, Лиръ сдѣлалъ бы все: для него нѣтъ такого страшнаго подвига, на который онъ не отважился бы, нѣтъ такого тяжелаго дѣла, предъ которымъ онъ отступилъ бы, чтобъ только связать распавшуюся связь временъ, чтобъ только снова убѣдиться, что онъ король, а не бѣдное, голое, двуногое животное. Но что можетъ сдѣлать старикъ? Проклинать? Гонерильѣ не страшны проклятья. Пускай дурачится старикъ, не надо ему мѣшать, говоритъ она. Плакать? Лиръ, король Лиръ плачетъ, но ему стыдно своей слабости, ему стыдно, что Гонерилья еще можетъ извлекать у него слезы, которыя невольно текутъ изъ его глазъ, когда онъ стоитъ предъ дочерью волчицей. И онъ спѣшитъ къ Реганѣ. Регана добра и ласкова, она издеретъ лицо Гонерильи, услышавъ про ея дѣла, и вернетъ ему, на казнь сестрѣ, его прежнюю власть. Шутъ говоритъ ему, что Регана похожа на Гонерилью, какъ одно дикое яблоко на другое дикое яблоко. И Лиръ знаетъ это—и мчится ко второй дочери.

О силы неба! Дайте мнѣ терпѣнья!
Я не хочу безумнымъ быть. Спасите
Меня вы отъ безумія.

восклицаетъ онъ и уѣзжаетъ къ Реганѣ, т. е. простираетъ руку къ той соломинкѣ, которая всегда выплываетъ предъ утопающимъ, словно затѣмъ, чтобъ лишній разъ посмѣяться

надъ его надеждами. Гонерилья тоже не теряетъ времени. Она отправляетъ къ сестрѣ посла съ письмомъ, и вслѣдъ за посломъ ѣдетъ сама. Эти предосторожности излишни. Регана съ Корнваллемъ не изъ тѣхъ, которые стыдятся итти войной противъ старой, сѣдой головы. Еще до пріѣзда Лира они жестоко оскорбляютъ своего отца въ лицѣ его слуги, переодѣтаго Кента. Его сажаютъ въ колодки, хотя Глостеръ напоминаетъ имъ, что такому позорному наказанію подвергаютъ лишь однихъ презрѣнныхъ рабовъ за низкія вины и воровство. И первое, что увидѣлъ старикъ-король, прибывшій ко второй своей дочери — это былъ его слуга, сидящій въ колодкахъ. Онъ не вѣритъ своимъ глазамъ: вѣдь еще мѣсяца не прошло съ тѣхъ поръ, какъ онъ снялъ съ себя корону, чтобъ отдать ее дочерямъ—и онъ уже безправный, ничтожный человѣкъ. Два дня тому назадъ Гонерилья грозила ему, Лиру, розгой и увѣщевала его, какъ ребенка—теперь Регана еще страшнѣе оскорбила его санъ. Вина такая кажется ему ужаснѣе, чѣмъ убійство. Если бы Кентъ былъ его собакой, Реганѣ слѣдовало бы почтительнѣй обращаться съ нимъ. „Видно, зима не прошла, когда гуси летятъ въ ту сторону. У отцовъ богатыхъ—ласкова семья, у отцовъ въ лохмотьяхъ—дочка, что змѣя. Для слѣпого року въ голякахъ нѣтъ проку“, говоритъ вслухъ шутъ тайныя мысли короля. А бѣдный старикъ, голякъ—король въ лохмотьяхъ только и можетъ, что произнести эти слова:

О, какъ тоскуетъ сердце! Какъ кручина
Восходитъ выше все.

И все больше будетъ тосковать сердце, и все выше станетъ восходить кручина. Нѣтъ предѣловъ, нѣтъ конца человѣческому горю. Страшный призракъ все ближе подходитъ къ Лиру. Нѣтъ спасенья, некуда уйти. Да Лиръ и не ушелъ бы. „Гдѣ эта дочь?“ спрашиваетъ онъ. И на отвѣтъ, что она въ замкѣ, приказываетъ всѣмъ остаться и идетъ одинъ объясняться съ ней. Но Глостеръ говоритъ

ему, что герцогъ съ женой не могутъ принять его, что они больны, и, когда Лиръ продолжаетъ требовать, чтобъ ему вызвали Регану, замѣчаетъ, что „герцогъ вспыльчивъ нравомъ“. Гонерилья хмурилась, Регана посадила въ колодки Кента, а герцогъ не можетъ принять его, и Глостеръ предостережительно говоритъ о его вспыльчивости. Эти слова „вспыльчивый герцогъ“ гвоздемъ засѣли въ голову Лира:

Онъ вспыльчивъ? Герцогъ вспыльчивъ? Такъ
Скажи ты вспыльчивому герцогу...

Все ясно для Лира. Онъ слишкомъ хорошо понимаетъ то, о чемъ говоритъ шутъ, который все время является эхомъ его собственныхъ мыслей. Лиръ идетъ къ Реганѣ не съ тѣмъ, чтобъ она вернула ему душевный покой. Если бы вторая дочь оказалась и менѣе похожей на дикое яблоко, это не излѣчило бы сердечной раны старика короля. Онъ уже почувствовалъ, что Лиръ только „голое, бѣдное, двуногое животное“; и это сознаніе гнететъ его, какъ страшная тяжесть, и у обѣихъ дочерей нѣтъ теперь силъ сдѣлать своего отца прежнимъ, гордымъ, радостнымъ, безпечно довѣряющимъ жизни человѣкомъ. Предъ глазами его упала завѣса, скрывавшая отъ него до сихъ поръ ужасы человѣческаго существованія. И ему осталось только проклинать. Но ни Корнвалль, ни Регана о Лирѣ не думаютъ. Когда онъ заявляетъ, что, если они не выйдутъ къ нему, то онъ прикажетъ бить въ барабанъ подъ окнами ихъ спальни, они являются и съ холодной вѣжливостью привѣтствуютъ непрошеннаго гостя. „Государь, я рада, что вижу васъ“, говоритъ Регана Лиру. Онъ отвѣчаетъ ей:

Я вѣрю, что ты рада,
Я думаю, что рада ты. Когда-бъ
Ты не была мнѣ рада, оскорбленье
Я-бъ гробу матери твоей нанесъ,
Какъ непотребной твари.

И затѣмъ начинаетъ изливаться въ жалобахъ на Гонерилью:

Сестра твоя—злодѣйка гнусная. Она подъ сердце,
Сюда мнѣ лютую змѣю вложила!
Она обидѣла меня, Регана!
Какъ высказать тебѣ обиду эту,
Чтобъ ты повѣрила?

Но Регена полагаетъ, что скорѣе Лиръ способенъ обидѣть Гонерилью, и король только и можетъ въ отвѣтъ на это спросить: „скажи мнѣ, какъ-же это?“ Онъ не понимаетъ, не можетъ постичь, что это значитъ, что съ каждой минутой почва все болѣе и болѣе уходитъ изъ подъ его ногъ и, что всѣ, до одного человѣка, спокойно и холодно глядятъ на его муки и не только не протягиваютъ ему руки помощи, но еще отталкиваютъ его, торопятъ его гибель. И онъ снова разражается проклятьями по адресу старшей дочери. Корнвалль, слушая его, отплевывается—но Лиръ не замѣчаетъ этого и продолжаетъ проклинать, пока Регана не прерываетъ его: „о боги! говоритъ она, и мнѣ вы будете того-жъ желать въ минуту злую“. Ему кажется, что въ этихъ словахъ звучитъ ласка, и снова бросается онъ къ своей соломинкѣ-надеждѣ:

Нѣтъ, моя Регана!
За что я сталъ бы проклинать тебя?
Твой нравъ привѣтливъ, кротокъ и незлобенъ;
У ней свирѣпый взглядъ, твои-жъ глаза
Мнѣ сердце услаждаютъ, а не жгутся.
Не станешь ты мѣшать моимъ забавамъ,
Сгонять моихъ людей и дерзкой рѣчью
Меня язвить, и напослѣдокъ даже
Отъ моего прихода запираться.
Ты лучше разумѣешь долгъ природы,
Признательность и дѣтское почтенье;
Ты не забудешь, что тебѣ я отдалъ
Полцарства.

Звѣрь безъ разума безъ слова смягчился бы отъ этихъ словъ. Но ни дѣти, ни судьба не внемлютъ старику. Люди стоятъ, точно истуканы, холодные, чуждые ему, нетерпѣливо лишь ожидая того момента, когда это ненужное суще-

ство спрячется куда-нибудь далеко, за толстыя стѣны, скрывающія отъ всѣхъ назойливыя жалобы. Регана спрашиваетъ лишь: „государь, что-жъ дальше?“—Что дальше?! Что можетъ быть еще дальше? Дальше—слышны трубы, возвѣщающія новый ударъ для Лира: пріѣздъ Гонерильи. Судьбѣ все мало: она сводитъ вмѣстѣ обѣихъ сестеръ, чтобъ имъ было легче сговориться, какъ отдѣлаться отъ отца. Намъ казалось, что чаша скорби переполнена, что то, что уже испыталъ Лиръ, выше человѣческихъ силъ—но это лишь начало. Самое ужасное впереди.

Входитъ Гонерилья. Лиръ въ ужасѣ:

Кто тамъ? Кто? Вы, боги всеблагіе,
Когда вы старцевъ любите, когда
Покорности хотите вы въ подвластныхъ,
Когда вы сами стары—заступитесь
Вы за меня всей силою своей! (Гонерильѣ)
На эту бороду глядѣть ты можешь
Безъ тяжкаго стыда? И неужели,
Моя Регана, ты подашь ей руку?

„А почему-жъ и не подать?“ спокойно и развязно говоритъ Гонерилья. „Не все то зло, что кажется виной для сумасбродовъ“.

Лиръ: Чего не можетъ сердце снесть? Ужель
Я и теперь все вынесу? Въ колодки
Кто моего слугу сажалъ?

И на это получается спокойный, исполненный достоинства отвѣтъ Корнвалля: онъ посадилъ Кента, хотя слѣдовало бы наказать строже.

Тутъ начинается неслыханно мучительная сцена. Лиръ почти обезумѣлъ: онъ не знаетъ, что говоритъ, и чувствуетъ лишь, что сталъ добычей какой-то нелѣпой, но ужасной силы. Дочери-волчицы торгуются съ нимъ изъ-за количества прислуги, вычисляютъ ему, что ему нужно, и чѣмъ онъ долженъ ограничиться, и убѣждаютъ его, Лира—не

выпуская изъ рукъ розги, смириться и слушаться ихъ, какъ и полагается старому и слабому „человѣку“, т. е. ненужному существу. Изъ приличія онѣ готовы его содержать въ теплѣ, поить и кормить, пока не придетъ смерть. И ни одного искренняго, сочувственнаго, ласковаго слова, въ которомъ Лиръ теперь нуждается больше, чѣмъ въ теплѣ, пищѣ, той свитѣ, о которой идетъ рѣчь. Развѣ ему нужно что-нибудь изъ того, чѣмъ такъ дорожатъ люди? Развѣ ему страшны вѣтеръ, голодъ, холодъ? Все это страшно для тѣхъ, кто не видалъ болѣе страшнаго. Но для того, кто былъ королемъ и сталъ „только человѣкомъ“, кто былъ возведенъ на недосягаемую высоту, чтобы потомъ быть низвергнутымъ въ бездну,—всѣ обыкновенныя человѣческія блага и страданія ничтожны. Ему кажется безмѣрно обидными и унизительными, уничтожающими разсужденія его дочерей о томъ, что ему „нужно“:

Лишь то, что точно нужно! О! мнѣ нужно
Терпѣнье лишь! Терпѣнья дай мнѣ небо!
О боги, здѣсь предъ вами старецъ бѣдный,
Исполненный жестокою тоскою!
Коль вы озлобили моихъ дѣтей
Противъ отца—отцу вы дайте силу:
Зажгите гордый гнѣвъ во мнѣ, не дайте
Мнѣ обезумѣть передъ оскорбленьемъ,
Не дайте проливать мнѣ женскихъ слезъ,
Постыдныхъ для мужчины! Нѣтъ, волчицы,
Я отплачу вамъ такъ, что цѣлый свѣтъ...
Я накажу васъ... самъ не знаю какъ,
Но ужасну я міръ ужаснымъ дѣломъ!
Вы думаете, плакать стану я?
О нѣтъ, я не заплачу—никогда!
Мнѣ есть о чемъ рыдать—но прежде сердце
Въ груди моей на тысячу кусковъ
Порвется! Шутъ мой, я съ ума сойду!...

Съ этими страшными словами Лиръ уходитъ отъ дочерей, которыя спѣшатъ укрыться въ домѣ отъ надвигающейся грозы и приказываютъ запереть ворота замка,

чтобъ отецъ не вернулся и не обезпокоилъ ихъ. А ночь близка. Кругомъ въ степи ни куста, ни одной теплой искры. Но что за дѣло до этого Корнваллю, Реганѣ и Гонерильѣ? Имъ нужно дать урокъ упрямому человѣку, а въ постеляхъ имъ тепло будетъ: они вѣдь пока еще властители, а не только люди. Спасайся кто можетъ, и не думай о гибнущихъ: своя рубашка ближе къ тѣлу. „Нужно дать урокъ упрямому человѣку".

И старикъ отецъ, все отдавшій своимъ дочерямъ, остается одинъ въ безлюдной степи, съ своимъ нечеловѣческимъ горемъ, чтобы искупить—что искупить? Что искупается такими адскими муками? То, что онъ выпустилъ изъ своей головы разумъ или что прогналъ Корделію?

Вотъ она—голова Медузы, которая преслѣдовала Шекспира. А Брандесъ говоритъ, что „такова жизнь", и что онъ не дрогнулъ отъ такого зрѣлища, и въ доказательство этого разсуждаетъ о Сикстинской капеллѣ, контрапунктѣ и фугахъ.

XXV.

Когда Лиръ убѣгаетъ отъ дочерей своихъ съ страшнымъ восклицаніемъ: „шутъ мой, я съ ума сойду!" намъ во второй разъ кажется, что трагедія достигла крайняго своего напряженія. Что еще можно придумать, чтобы истерзать одинокую человѣческую душу? До чего еще можетъ дойти отчаяніе? Намъ кажется, что здѣсь должны притти безуміе или смерть, чтобъ развязать эту страшную завязку, превративъ нелѣпый и ужасный кошмаръ жизни въ пустое небытіе или въ несознательное существованіе сумасшедшаго. Развѣ можно еще жить послѣ того, что увидалъ Лиръ? А между тѣмъ—самое ужасное еще впереди. Лиру предстоитъ провести подъ открытымъ небомъ такую ночь, когда тощій волкъ и левъ съ медвѣдемъ прячутся отъ стихій, и рвать съ головы своей сѣдины, и итти противъ грома, дождя и вѣтра, и глядѣть прямо въ глаза возставшему предъ нимъ призраку жизненныхъ ужасовъ. Но онъ ищетъ бури,

онъ хочетъ одинъ противостоять дождю и вихрю. Все это не пугаетъ его, всего этого онъ не замѣчаетъ — онъ, котораго до сей поры не смѣли касаться неукротимые вѣтры небесъ. Брандесъ говоритъ, что, когда Шекспиръ писалъ „Лира“ на дворѣ бушевала непогода. Нѣтъ! „Лира“ могъ написать лишь тотъ человѣкъ, въ чьей душѣ была такая непогода, кто подсмотрѣлъ страданія всего человѣчества и умѣлъ найти въ своемъ сердцѣ отзывъ на людскую скорбь. Въ „Лирѣ“, рыдаетъ вмѣстѣ съ обездоленнымъ старикомъ весь міръ, всѣ тѣ, кому не удалось неожиданной смертью закончить спокойную жизнь, кого выгоняло изъ тихой пристани благополучія въ бушующее и безбрежное море человѣческаго горя. И не неблагодарность, какъ полагаетъ Брандесъ, и не дочерей своихъ, какъ думаетъ самъ Лиръ, проклинаетъ въ эту ночь великій старецъ. Что неблагодарность? Она жила и живетъ вездѣ, и съ ней мирятся люди. Что неблагодарныя дочери? На свѣтѣ есть Корделіи! И одна Корделія примиряетъ насъ съ сотнями Гонерилій и Реганъ. Но кто примиритъ насъ съ жизнью, уготовившей такія пытки для безпомощнаго старика? Съ жизнью, которая сперва баловала и лелѣяла цѣлыхъ 80 лѣтъ несчастнаго короля, пріучила его думать и чувствовать, что весь міръ созданъ для него и живетъ имъ однимъ, внушила ему убѣжденіе, что не только люди, но и стихіи обязаны служить ему, довела его до гордаго сознанія, что онъ—король отъ головы до ногъ, и все затѣмъ, чтобы потомъ опозореннаго, обманутаго, уничтоженнаго, преступнаго въ собственныхъ глазахъ и въ глазахъ окружающихъ—выгнать подъ открытое небо и отдать на поруганіе дикимъ силамъ природы? Кто примиритъ насъ съ жизнью, которая такъ ругается надъ человѣкомъ?

Реви всѣмъ животомъ, дуй, лей, греми и жги!
Чего щадить меня? Огонь и вѣтеръ,
И громъ, и дождь—не дочери мои!
Въ жестокости я васъ не укоряю:
Я царства вамъ не отдавалъ при жизни,
Дѣтьми моими васъ не называлъ.

Вы не подвластны мнѣ: такъ тѣшьтесь смѣло
Вы надо мной, стоящимъ въ вашей власти,
Презрѣннымъ, хилымъ, бѣднымъ старикомъ!

Эти слова, повидимому, на мгновеніе доставляютъ Лиру горькое утѣшеніе. Онъ готовъ принять вызовъ отъ тѣхъ, кто ничѣмъ ему не обязанъ, кто не принималъ отъ него благодѣяній. Сознаніе, что равнодушныя силы природы губятъ насъ, можетъ, кажется намъ, принести въ душу немного покоя, какъ сознаніе, что гибнешь по собственной „винѣ". Изнемогающій подъ бременемъ невыносимаго горя человѣкъ на мгновеніе ищетъ такой философской отрады, которую совсѣмъ не знавшіе жизни люди возводили въ принципъ и систему. Но „истерзанное сердце еще никогда не излѣчивалось тѣмъ, что ему подсказываетъ ухо". Лиръ только на мгновеніе произноситъ эти слова, подъ которыми таится слишкомъ глубокое и тяжелое чувство оскорбленнаго во всемъ, святомъ для него, человѣка—и тутъ же, понявъ ничтожность этихъ словъ, онъ восклицаетъ:

Такъ тѣшьтесь въ волю, подлые рабы,
Угодники двухъ дочерей преступныхъ,
Когда не стыдно вамъ итти войною
Противу головы сѣдой и старой,
Какъ эта голова! О, о, позоръ!

Слушая Лира, вы не можете не повторить за нимъ его грознаго обвиненія жизни. Вы должны признать, что огонь, вѣтеръ, громъ, и дождь—не мертвыя силы, а подлые рабы, угодники двухъ дочерей преступныхъ, если они могутъ итти войною противъ этой старой и сѣдой головы; они подлые рабы, они служатъ преступленію, если они не обратили своей могучей силы противъ „этихъ дочерей", спокойно спящихъ въ теплыхъ комнатахъ, въ то время, когда одинъ въ полѣ, подъ грозой бродитъ съ разрывающимся на части отъ мукъ сердцемъ ихъ старикъ отецъ. Въ тотъ моментъ, когда Лиръ проклинаетъ жизнь, вы всей силой своей души присоединяетесь къ нему—не затѣмъ, чтобы повторять его слова,

а затѣмъ, чтобы сказать себѣ, что если преступныя дочери и преступныя стихіи не найдутъ себѣ оправданія—то нельзя жить; если вы почувствовали, поняли Лира, вы сами вслѣдъ за нимъ пойдете навстрѣчу огню и вихрю, будете себѣ искать всѣхъ ужасовъ жизни, ибо, если существуетъ на свѣтѣ горе Лира, то не быть его братомъ по страданію, забыть о немъ хоть на мгновеніе—значитъ перестать быть человѣкомъ; радоваться—пока не оправданы муки Лира въ эту ночь, значитъ потерять образъ и подобіе Божіе, значитъ имѣть уши и не слышать, имѣть глаза—и не видѣть. Вдумайтесь только въ безконечно страшное содержаніе переживаній несчастнаго старика. И вспомните, что хотя ихъ изображалъ самъ Шекспиръ, хотя вы видите „короля Лира“ на лучшей сценѣ, гдѣ все приспособлено къ тому, чтобы усилить впечатлѣніе, гдѣ талантливѣйшій артистъ вкладываетъ всю душу въ свою игру,—вспомните, что ваша фантазія, какъ бы жива она ни была, не въ силахъ себѣ представить дѣйствительности, если только вамъ самому не пришлось переживать трагедіи Лира. Тогда лишь поймете вы, что выраженія—„волосы становятся дыбомъ“, „руки опускаются“—не метафоры, а истинная правда,—то, что бываетъ въ жизни, что разсказы о томъ, какъ въ одну ночь сѣдѣютъ люди—не выдумка. И, если вы это поймете, то тогда лишь вамъ станетъ ясно, зачѣмъ писалъ поэтъ „Лира“. И вмѣстѣ съ тѣмъ, вы поймете другое—еще прежде, чѣмъ дочитаете трагедію до конца: что не задать вопросъ хотѣлъ Шекспиръ, а р а з р ѣ ш и т ь его предъ вами. Ибо тотъ, кому этотъ вопросъ такъ предсталъ, въ видѣ такого ужаснаго образа — тотъ могъ еще жить, тотъ могъ не окаменѣть, только въ томъ случаѣ, если онъ разрѣшилъ его себѣ съ той ясностью, которой требуетъ человѣческая душа.

Осмысленность трагедіи Лира начинаетъ выясняться для зрителя уже въ тѣхъ сценахъ, гдѣ онъ борется съ бурей. Отчаяніе не убиваетъ Лира и не сламываетъ его. Его могучей душѣ по силамъ та ноша, которая взвалилась на него. Онъ проклинаетъ природу и дочерей, онъ

безумно рыдаетъ, онъ рветъ въ отчаяніи свои сѣдые волосы, и мы за всѣмъ этимъ ничего, кромѣ безмѣрнаго горя, придавившаго царственнаго старца, не видимъ, какъ и въ первомъ дѣйствіи, когда Лиръ отвергъ Корделію и изгналъ Кента, мы видѣли только капризъ вздорнаго человѣка. Но уже тогда предъ нами былъ „король отъ головы до ногъ". За всю свою долгую жизнь онъ успѣлъ лишь научиться чувствовать себя королемъ. Лесть придворныхъ, преслѣдовавшихъ иныя цѣли, привела его къ этому. Но ему осталось еще понять, что и всѣ другіе люди — короли. Не только Корделія, но и шутъ, и Эдгаръ и всѣ бѣдные, нагіе несчастливцы—это тѣ же Лиры, предъ которыми можно преклонить колѣни, если за ихъ спинами и не стоятъ солдаты съ оружіемъ. Тотъ Лиръ, который отказался уступить Гонерильѣ и Реганѣ, со всѣми ихъ угодливыми рабами—людьми и стихіями—будетъ просить прощенія у слабой Корделіи. Этотъ переломъ происходитъ въ теченіе самаго короткаго времени—и въ немъ смыслъ трагедіи. Лиръ въ послѣднемъ дѣйствіи такъ безмѣрно прекрасенъ въ своемъ трогательномъ величіи и могучей кротости—даже по сравненіи съ Лиромъ-королемъ, безпечно снимающимъ съ себя корону, въ убѣжденіи, что королевскій титулъ, и человѣческія права достаточно охраняютъ его,—что всѣ вынесенныя имъ муки не только перестаютъ казаться намъ нелѣпыми, ненужными, но получаютъ въ нашихъ глазахъ глубокій смыслъ. И внутренняя работа души, приведшая его къ просвѣтленію, уже происходитъ въ ту ночь, когда онъ споритъ съ бурей и проклинаетъ жизнь. Самъ Лиръ лишь чувствуетъ великую несправедливость судьбы и призываетъ боговъ, держащихъ надъ людьми громы, къ справедливому суду. Ему кажется только, что онъ человѣкъ, терпящій больше зла, чѣмъ сдѣлалъ самъ. Ничего больше онъ въ своемъ горѣ не видитъ. Предъ нимъ лишь бездна, въ которой таятся безнадежность и отчаяніе. Но зритель, руководимый Шекспиромъ, уже въ этомъ дѣйствіи испытываетъ облегченіе. Сознаніе Лира по временамъ и теперь уже отрывается отъ созерцанія собственнаго несчастія и на-

правляется къ инымъ предметамъ. Сперва онъ размышляетъ о преступленіи вообще. И образъ зла возстаетъ предъ нимъ во всей своей отвратительной и безобразной формѣ:

Трепещи,
Злодѣй, себя укрывшій отъ закона!
Убійца ближняго съ рукой кровавой,
Клятвопреступникъ и прелюбодѣй,
Отъ всѣхъ сокрытый! Злобный лицемѣръ,
Исподтишка злодѣйства замышлявшій,
Дрожи теперь жестокой смертной дрожью!
Откройте скрытые свои грѣхи,
Развейте тайные изгибы сердца
И съ плачемъ умоляйте громъ небесный
Васъ пощадить.

Зналъ онъ и прежде о господствѣ зла. Но это было для него пустымъ словомъ. Поступокъ Корделіи или Кента вызвалъ въ немъ припадокъ бѣшенства, а существованіе преступниковъ и злодѣевъ, бѣжавшихъ отъ закона, не мѣшало ему прожить 80 лѣтъ въ безмятежномъ покоѣ. Знаніе—т. е. слова, которыя были ему извѣстны еще съ дѣтства, начинаютъ наполняться содержаніемъ, впервые придающимъ имъ глубокое и серьезное значеніе. Силы у Лира могучія. То, что онъ умѣлъ любить и цѣнить, умѣлъ онъ и защищать: для него препятствій не существовало. Но эти преступники, это зло, отъ котораго терпятъ другіе люди, были фикціями для него, какъ и гордость дочери. Всѣ жили только для него. Теперь онъ дѣлаетъ открытіе: всѣ люди—Лиры. Кентъ зоветъ его въ шалашъ, онъ отвѣчаетъ:

Мѣшается мой умъ;
Пойдемъ, мой другъ. Что холодно тебѣ?
Я самъ озябъ. Товарищъ, гдѣ-жъ солома?
Нужда вещь чудная: пустой предметъ
Безцѣннымъ дѣлаетъ она. Ну, что же?
Гдѣ твой шалашъ? Иди, дуракъ мой бѣдный,
Иди за мной. Я чувствую, что въ сердцѣ
Моемъ есть жалость: я тебя жалѣю.

У Лира мѣшается умъ, — а онъ жалѣетъ шута, какъ человѣка такого же, какъ и самъ король. Ихъ обоихъ сравняла лихорадка, дождь и вѣтеръ—полная внѣшняя безпомощность. Когда у Лира умъ не „мѣшался“, когда ему достаточно было топнуть ногою—и десятки головъ отсѣкались отъ плечъ, когда къ услугамъ его желаній было столько паръ рукъ, сколько подданныхъ въ царствѣ, онъ цѣнилъ только себя, и до бѣдняка шута ему не было дѣла. Шутъ при дворѣ нуженъ былъ для увеселенія короля, какъ собаченка, какъ придворные. Кого Лиръ любилъ, кто доставлялъ ему удовольствіе своимъ существованіемъ или талантами,—того онъ жаловалъ. Онъ былъ справедливъ, т. е. привычка и предразсудки считать то или иное хорошимъ часто опредѣляли его поступки, если они не очень расходились съ его желаніями. Всѣмъ дочерямъ онъ далъ поровну, хотя Корделію любилъ больше. Онъ отдалъ этимъ дань справедливости, власть которой онъ съ удовольствіемъ признавалъ надъ собой, пока она не слишкомъ тяготила его. Но и справедливость была для него лишь царственной одеждой, которую онъ носилъ на себѣ лишь потому, что она, какъ и другія добродѣтели, украшаетъ величіе. Она не справилась и съ легкимъ оскорбленіемъ—и Кентъ съ Корделіей пострадали. Теперь дѣло иное. Онъ забылъ всѣ условныя правила, которыя связывали его съ людьми. Теперь онъ связанъ съ ближними уже не правилами, которыя обыкновенно исполняются людьми лишь затѣмъ, чтобы чувствовать пріятность добра. Повидимому, Лиръ ни о чемъ, кромѣ неблагодарности Гонерильи и Реганы, не думаетъ; повидимому, всѣ помыслы его сосредоточены на томъ, какъ отомстить злодѣйкамъ дочерямъ. Кентъ зоветъ его въ шалашъ—но онъ нейдетъ:

Ты думаешь, промокнуть до костей
Бѣда большая? Ты и правъ отчасти;
Но тамъ, гдѣ насъ грызетъ недугъ великій,
Мы меньшаго не слышимъ. Отъ медвѣдя
Ты побѣжишь, но встрѣтивъ на пути
Бушующее море—къ пасти звѣря

Пойдешь назадъ. Когда спокоенъ разумъ,
Чувствительно и тѣло: буря въ сердцѣ
Моемъ всѣ боли тѣла заглушаетъ—
И боль одну я знаю. Эта боль—
Дѣтей неблагодарность. Что же это?
Не то же-ль, что уста терзаютъ руку,
Что пищу имъ даетъ? Нѣтъ, нѣтъ, я плакать
Не стану больше. Отплачу я страшно!
Въ такую ночь не дать мнѣ крова! Лей—
Снесу я все! Регана, Гонерилья!
Въ такую ночь!.. Сѣдого старика,
Отца, отдавшаго вамъ все на свѣтѣ
Изъ доброты своей... Нѣтъ, замолчу,
Чтобъ разумъ не померкнулъ.

Лиру кажется, что кромѣ собственнаго горя, ничего больше не можетъ интересовать его. А между тѣмъ, онъ тутъ-же высказываетъ новыя размышленія свои, свидѣтельствующія о глубокомъ внутреннемъ процессѣ перерожденія человѣка. Очевидно, что въ то время, когда онъ рыдаетъ и проклинаетъ, въ немъ происходитъ невидимая душевная работа. И этотъ процессъ внутренняго развитія человѣка мы менѣе всего умѣемъ наблюдать въ жизни.

Когда мы видимъ, что человѣку больно, что его преслѣдуютъ неудачи, мы въ лучшемъ случаѣ умѣемъ только сострадать ему. И, такъ какъ состраданіе—тяжелое чувство, то обыкновенно, мы стараемся возможно скорѣе изгнать его изъ своего сердца. Поможемъ несчастному, чѣмъ Богъ пошлетъ—и спѣшимъ уйти куда-нибудь, куда насъ манитъ сила житейской суеты. „Все равно облегчить страдальца невозможно“, разсуждаемъ мы и спѣшимъ забыться за развлеченіями. Оттого-то подъ слезами и отчаяніемъ мы, обыкновенные люди, не умѣемъ видѣть никакого содержанія и привыкли думать, что горе — это то въ нашемъ существованіи, что не имѣетъ и не можетъ имѣть никакого смысла. Его нужно удалять, а — если удалить нельзя — о немъ нужно забыть. Представленіе „о нелѣпомъ трагизмѣ“ явилось у насъ лишь вслѣдствіе нашей душевной слабости. Мы бѣжимъ отъ страдальцевъ, отъ

отчаивающихся, отъ умирающихъ—до тѣхъ поръ, пока отчаяніе, страданіе или смерть не настигнутъ насъ самихъ. Поэта же влечетъ къ нимъ та сила, которая связываетъ насъ съ повседневными радостями. Онъ живетъ съ Лирами, онъ добровольно перенимаетъ на себя ихъ жизненную ношу, и потому ему дано постигнуть смыслъ и значеніе ихъ горя.

Не „чрезмѣрно обремененный падаетъ“ — содержаніе трагедіи Лира, какъ возвѣщаетъ намъ Брандесъ, который этими словами изобличаетъ въ себѣ человѣка, не понимающаго ни того, что значитъ „чрезмѣрно обремененный“, ни того, что значитъ „падать“. Шекспиръ показалъ намъ иное: подъ видимымъ всѣмъ горемъ короля происходитъ невидимый ростъ его души.

Лиръ говоритъ:

Вы, бѣдные, нагіе несчастливцы,
Гдѣ-бъ эту бурю не встрѣчали вы,
Какъ вы перенесете ночь такую
Съ пустымъ желудкомъ, въ рубищѣ дырявомъ,
Безъ крова надъ бездомной головой?
Кто пріютитъ васъ, бѣдные? Какъ мало
Объ этомъ думалъ я! Учись, богачъ,
Учись на дѣлѣ нуждамъ меньшихъ братьевъ,
Горюй ихъ горемъ и избытокъ свой
Имъ отдавай, чтобъ оправдать тѣмъ Небо.

Вдумайтесь въ смыслъ этихъ немногихъ словъ. Это—цѣлая нравственная философія, это нагорная проповѣдь родилась въ душѣ великаго страдальца. Онъ мало объ этомъ думалъ прежде, ему не было дѣла до оправданія Неба, а теперь, въ эту ночь, когда отъ горя мѣшается его умъ, когда онъ знаетъ одну только боль—неблагодарность дѣтей, когда онъ стоитъ межъ разъяреннымъ медвѣдемъ и бушующимъ моремъ, его душевныя силы не только не падаютъ, но испытываютъ тотъ страшный подъемъ, при которомъ ему раскрывается величайшая въ мірѣ истина. И это называется „паденіемъ чрезмѣрно обремененнаго!„

XXVI.

Прослѣдимъ далѣе за развитіемъ трагедіи.

На мгновеніе послѣднія слова Лира какъ будто бы разсѣиваютъ мракъ, сгустившійся надъ зрителемъ. Но вотъ изъ шалаша, къ которому подвели короля, выбѣгаетъ Эдгаръ, нагой, бормочащій непонятныя рѣчи, и снова все застилается страшнымъ, безпросвѣтнымъ мракомъ. Лиромъ опять овладѣваетъ безуміе отчаянія.

Ты отдалъ все двумъ дочерямъ своимъ
И до того дошелъ?

спрашиваетъ онъ Эдгара. Эдгаръ отвѣчаетъ потокомъ словъ, которыя Лиръ толкуетъ по-своему:

Какъ! все ты роздалъ дочерямъ своимъ?
Ты что себѣ сберегъ? Ты все имъ отдалъ?

И затѣмъ разражается проклятьями по адресу несуществующихъ дочерей Эдгара. Кентъ замѣчаетъ, что у Эдгара нѣтъ дочерей. Лиръ кричитъ ему:

Лжешь, рабъ! Однѣ лишь дочери злодѣйки
До бѣдствій могутъ довести такихъ.
Иль нынче выгоняютъ всѣ отцовъ?
Иль надо, чтобъ они страдали больше?
Казнь дѣльная: они на свѣтъ родили
Чудовищъ дочерей.

Все теряетъ видимый смыслъ. Шутъ говоритъ—и мы готовы ему вѣрить—„всѣ мы, видно, одурѣемъ за эту холодную ночь“. Эдгаръ продолжаетъ свои нелѣпыя и безсмысленныя рѣчи, громъ грохочетъ, вѣтеръ воетъ, кругомъ ни одной теплой искры, отчаяніе Лира растетъ до того, что онъ разрываетъ на себѣ одежды. „Что ты тутъ, кумъ, затѣялъ? Не раздѣвайся, здѣсь негдѣ плавать“, говоритъ шутъ королю... Больше нечего говорить. Пока продолжается эта неслыханная трагедія, разумныя слова зами-

раютъ на устахъ. Друзья, явившіеся навѣстить Іова, семь дней молчали, прежде чѣмъ рѣшились разомкнуть уста. Словъ утѣшенія нѣтъ и быть не можетъ, пока предъ нами это царство хаоса.

На сцену является Глостеръ и уводитъ Лира. И вотъ Лиръ въ теплой комнатѣ, на фермѣ. Но нелѣпость безумія не проходитъ, а точно возрастаетъ, если только послѣ того, что происходило въ полѣ, еще возможно что-нибудь болѣе ужасное. Лиръ, Эдгаръ и шутъ устраиваютъ воображаемый судъ надъ Гонерильей и Реганой. Эта сцена, вмѣстѣ съ послѣдней сценой въ полѣ, самое рѣзкое и могучее изображеніе той видимой безсмысленности жизни, которая смущала людей отъ сотворенія міра. Горе безграничное, безпредѣльное, которое не въ силахъ постичь человѣческій разумъ, представляется полубезумнымъ Пиромъ, шутомъ и безумствующимъ Эдгаромъ. Присутствующіе не въ силахъ сдержать слезы. Эдгаръ боится, что выдастъ себя. Кентъ безсильно взываетъ къ твердости и терпѣнью Лира. И никто не смѣетъ имѣть надежду, спросить себя: „зачѣмъ?“

Въ этихъ сценахъ—вся новѣйшая литература нелѣпости судьбы и безсмысленности жизни. Если вы хотите понять пессимизмъ искренняго отчаянія—вдумайтесь въ эти сцены. Онѣ все объяснятъ вамъ. Тѣ люди, которые это видятъ въ жизни и за этимъ не видятъ ничего—не могутъ не притти къ философіи отчаянія, не могутъ не думать, что жизнь—проклятье, и что единственный исходъ, еще существующій для человѣка, — это забвенье, даваемое смертью.

Но этими сценами еще не кончаются ужасы трагедіи „Лира“. Немедленно вслѣдъ за ними Шекспиръ рисуетъ не менѣе ужасную по своей нелѣпой жестокости сцену. Корнвалль и Регана вырываютъ у Глостера глаза за то, что онъ сжалился надъ старикомъ-королемъ. Слуга убиваетъ герцога. Регана убиваетъ слугу. И еще не конецъ. Внѣшній кошмаръ тянется черезъ всю драму. Ослѣпленный Глостеръ встрѣчаетъ по пути переодѣтаго Эдгара, котораго прини-

маетъ за безумнаго и проситъ родного сына помочь ему покончить съ собой. Ужасы трагедіи все растутъ и, если Глостеръ говоритъ,—„для боговъ мы то же, что для ребятишекъ мухи! насъ мучитъ—имъ забава“, то этими словами, какъ и впослѣдствіи словами короля Лира: „родясь на свѣтъ—мы плачемъ: горько намъ къ комедіи дурацкой приступаться“—вполнѣ выражается впечатлѣніе, какое событія оставляютъ въ душахъ людей, когда выбившаяся изъ обычной колеи жизнь являетъ намъ ужасы человѣческаго существованія. Всѣ трепещутъ передъ судьбой, задавшей людямъ столь непосильную задачу. Событія иного объясненія, кромѣ адской игры дьявольскихъ силъ, не допускаютъ. И намъ, смотрящимъ на сценѣ „короля Лира“, кажется, что тотъ дьяволъ, который придумалъ столь изысканныя пытки для несчастнаго короля, долженъ былъ вызвать у своихъ товарищей упрекъ въ безсердечіи: медвѣдь ласкалъ бы сѣдины Лира.

Но весь рядъ этихъ сценъ съ ихъ все растущей нелѣпостью никому ненужныхъ ужасовъ, передаетъ собою не то, что видѣлъ Шекспиръ, но то, что видятъ люди, когда на ихъ глазахъ разыгрывается въ жизни тяжелая трагедія. Они возмущаются несправедливостью судьбы, проклинаютъ боговъ, подписываютъ приговоръ жизни. Сила и великое универсальное значеніе Шекспира именно въ томъ, что въ этой безпросвѣтной тьмѣ онъ нашелъ путь. Тамъ, гдѣ для насъ хаосъ, случай, безсмысленная борьба мертвой, равнодушной, но безконечно могучей силы съ живымъ чувствующимъ, но немощнымъ человѣкомъ (т. е. тамъ, гдѣ для насъ область нелѣпаго трагизма),—тамъ поэтъ видитъ осмысленный процессъ духовнаго развитія. Подъ видимыми всѣмъ людямъ муками, онъ открываетъ невидимую никому задачу жизни. Вотъ почему творенія Шекспира были названы Гете „необъятными книгами человѣческихъ судебъ“. Именно—„судебъ“. Шекспиръ объясняетъ намъ не характеръ, достоинства или недостатки человѣка,—а его судьбу, т. е. осмысли-

ваетъ его жизнь. Болѣе нелѣпаго трагизма, чѣмъ тотъ, который изображенъ въ „королѣ Лирѣ“, не выдумаетъ самая пылкая фантазія. Большихъ мукъ, чѣмъ тѣ, которыя вынесъ Шекспировскій царственный старецъ—нѣтъ на землѣ. И нѣтъ, сверхъ того, мукъ, которыя съ нашей точки зрѣнія, казались бы болѣе ненужными. Лиръ уже одной ногой въ гробу. Это—не юноша, который, укрѣпившись въ борьбѣ, потомъ снова со свѣжими силами отправится въ путь. Лиру 80 лѣтъ: онъ наканунѣ смерти. Зачѣмъ ему трагедія? Такъ поставленъ вопросъ великимъ поэтомъ и такой вопросъ онъ не побоялся поставить себѣ. Если трагедія наканунѣ смерти имѣетъ смыслъ, если она не оказывается насмѣшливою игрою адскихъ или—что еще хуже—равнодушныхъ силъ, если то, что пережилъ Лиръ, нужно было ему—то этимъ снимаются всѣ обвиненія съ жизни. Вмѣсто того, чтобы проклинать судьбу, мы, понявъ содержаніе ея „необъятныхъ книгъ“, т. е. Шекспира, благословимъ цѣлесообразность господствующаго надъ человѣкомъ закона. Въ „королѣ Лирѣ“ поэтъ вырвалъ самую нелѣпую, запутанную и безсмысленную страницу жизни. Если и она получила объясненіе, если и она понята—то можно быть увѣренными, что и всѣ прочія получатъ свое объясненіе. Вся трагедія Лира никому изъ окружающихъ не нужна. Она всѣхъ пугаетъ и смущаетъ, какъ грозныя явленія природы—землетрясенія, изверженія вулкановъ, затменія пугаютъ и смущаютъ непросвѣщенныхъ людей... Наука гордится, что опредѣлила посредствомъ спектральнаго анализа химическій составъ солнца. До дна человѣческой души дальше, чѣмъ до солнца—и въ эту бездну проникъ Шекспиръ. Съ того момента, когда Лиръ произноситъ свой монологъ: „вы, бѣдные, нагіе несчастливцы“—читатель начинаетъ понимать, зачѣмъ Лиру трагедія. Брандесъ увѣряетъ, что эти слова, какъ и всѣ протесты Лира—только лирика самого Шекспира, та же лирика, которую критикъ находитъ во всѣхъ произведеніяхъ поэта, которая была и въ „Гамлетѣ“. Въ „Гамлетѣ“ одинъ принцъ язвилъ. Въ „королѣ Лирѣ“—всѣ язвятъ: и Лиръ, и Гло-

стеръ, и шутъ, и Кентъ. Едва ли возможно придумать объясненіе, болѣе застилающее правильное пониманіе Шекспира. Вообще говоря, какъ мы уже не разъ указывали, вѣрнѣйшій способъ написать плохую драму—это внушать ея дѣйствующимъ лицамъ свои собственныя мысли, даже самыя умныя. Приписывать Шекспиру постоянное желаніе самому говорить „устами“ своихъ героевъ, значитъ совершенно обезцѣнивать его драмы. Какъ грубъ, какъ нечутокъ былъ бы поэтъ, если бы онъ вздумалъ заставлять Лира, въ тотъ моментъ, когда несчастный старикъ стоитъ межъ яростнымъ медвѣдемъ и бушующимъ моремъ, философствовать единственно затѣмъ, чтобъ дать исходъ и выраженіе своимъ собственнымъ мыслямъ. У Шекспира Лиръ говоритъ лишь за себя, лишь то, что зарождается въ его душѣ въ тотъ страшный моментъ. И этой способности поэта подслушать недоступный всѣмъ голосъ человѣческой души его драма обязана своими лучшими достоинствами. Передъ нами все время—самъ Лиръ, которому Шекспиръ не подсказываетъ ни одного слова—не только въ цѣляхъ проповѣдническихъ, но даже и чисто эстетическихъ. У поэта одинъ законъ: правдиво воспроизводить чувства и мысли своихъ героевъ. Онъ заноситъ на бумагу лишь то, что видитъ и слышитъ. Всякая попытка иначе толковать смыслъ рѣчей Лира, изобличитъ въ критикѣ лишь неумѣнье постичь и оцѣнить сущность Шекспировскаго творчества. Лиръ, въ бурную ночь, послѣ вынесенныхъ оскорбленій, послѣ того, какъ онъ внезапно увидѣлъ, что онъ—не король, а бѣдное, голое, двуногое животное, не только рыдаетъ, какъ намъ кажется. Даже въ тѣ моменты, когда имъ овладѣваетъ безуміе, въ немъ все время происходитъ усиленная внутренняя работа. Его безуміе—безуміе генія, и оно приводитъ Лира къ такимъ откровеніямъ, которыя прежде для него были безусловно невозможны. Никакія проповѣди, никакія книги, никакія зрѣлища не дали бы ему того, что принесъ съ собой ударъ судьбы. Когда въ шестой сценѣ четвертаго дѣйствія, предъ вами является причудливо убранный цвѣтами Лиръ, среди

такихъ безсмысленныхъ фразъ, какъ „дайте мнѣ аршинъ ткача“ и т. д., вы слышите непрерывно самыя глубокія и продуманныя мысли. По Брандесу это Шекспиръ „въ непрямой формѣ“ забавляется саркастическими вылазками, скрытыми подъ покровомъ безумія. На самомъ дѣлѣ, въ нихъ лишь сказывается, что̀ успѣлъ за столь короткое время передумать и перечувствовать Лиръ. Трагедія вызвала въ немъ необычайное напряженіе силъ. Всѣ вопросы жизни возникли предъ нимъ и съ той настойчивостью, которая исключаетъ всякую возможность отклоненія отвѣта. Душевныя струны Лира натягиваются до послѣднихъ предѣловъ. Намъ кажется, что онѣ должны порваться, что человѣку не дано взять тотъ аккордъ, за которымъ гонится несчастный король. Но Лиръ знаетъ, что нѣтъ иного выхода, что нужно отвѣтить. Мы видѣли, какъ умѣлъ онъ — прежде никого, кромѣ себя, никогда незнавшій, — обнять горе всего міра, спросить у Неба оправданія за тѣхъ людей, которыхъ онъ прежде не считалъ даже существами. И душа его продолжаетъ все время работать въ томъ же направленіи. Эдгаръ говоритъ о немъ:

Какъ правда свѣтлая слилася съ бредомъ,
Разсудокъ—съ помѣшательствомъ ума.

Откуда же взялась къ нему эта свѣтлая правда? Къ Лиру, который никогда о ней не думалъ, который считалъ человѣчество, состоящимъ изъ короля — и всѣхъ прочихъ людей, и былъ всегда убѣжденъ, что король—все, а прочіе ничто, лишь рамки для его величества? „Слышишь, какъ судья—мошенникъ издѣвается надъ убогимъ воромъ? Слушай, что я скажу теперь тебѣ на ухо: перемѣни мѣста—который изъ двухъ теперь воръ, который судья вора? Видѣлъ ли ты, какъ собака лаетъ на нищаго? И голякъ бѣжитъ со всѣхъ ногъ отъ собаки! Собаки онъ долженъ слушаться: она власть!“ Это говоритъ король Лиръ! Король, который никогда не зналъ ни нищаго, ни судьи, ни вора,

ни собаки иначе, какъ по тѣмъ оффиціальнымъ донесеніямъ, въ которыхъ все это, на ряду со стихіями, изображалось въ видѣ всепокорнѣйшихъ прислужниковъ его! Откуда же за столь короткое время пришла къ Лиру эта свѣтлая правда? И дальше:

Злой пономарь, ты весь въ крови! Прочь руки!
Зачѣмъ сѣчешь развратницу? Скорѣе
Свою подставь ты спину. По душѣ
Ты самъ развратенъ. Ростовщикъ повѣсилъ
Обманщика. Сквозь рубище худое
Порокъ ничтожный ясно виденъ глазу;
Подъ шубой парчевою нѣтъ порока!
Закуй злодѣя въ золото—стальное
Копье закона сломится—безвредно:
Одѣнь его въ лохмотья—и погибнетъ
Онъ отъ пустой соломинки пигмея.
Нѣтъ въ мірѣ виноватыхъ! нѣтъ! я знаю.
Я заступлюсь за всѣхъ—зажму я рты
Доносчикамъ.

Все это отголоски глубокихъ, потрясшихъ все существо старца, переживаній. Это—не ходячія фразы, это—не философская меланхолія Жака, это не самодовлѣющій пессимизмъ Брандеса,—это рѣчь великой души, узнавшей въ человѣкѣ брата. „Нѣтъ въ мірѣ виноватыхъ? нѣтъ! я знаю. Я заступлюсь за всѣхъ—зажму я рты доносчикамъ“! Вотъ величайшая изъ существующихъ истинъ. И это, повторяемъ, не Шекспиръ говоритъ, а Лиръ, предъ которымъ еще недавно были всѣ виноваты, даже французскій король, Корделія и Кентъ. Это та правда, которая всегда у всѣхъ на глазахъ и всѣми считается ложью, ибо всѣмъ она чужда, никому не нужна. Лиръ узнаетъ, что міръ населенъ Лирами, королями, что каждый человѣкъ можетъ и долженъ быть носителемъ всѣхъ тѣхъ человѣческихъ правъ, которыя принадлежали ему, Лиру, когда на его головѣ была золотая корона. Онъ не за себя рыдаетъ, а за всѣхъ людей. Онъ не можетъ принять жизнь въ томъ видѣ, въ

какомъ она предстала ему. Но онъ не отвергаетъ жизни, не ищетъ небытія. О смерти Лиръ ни разу во всей драмѣ не говоритъ. Глостеръ покушается на самоубійство. Онъ—не король отъ головы до ногъ. Онъ плачетъ, чуть чуть ропщетъ и пытается ускорить развязку—броситься со скалы въ море. Лиръ объ этомъ и не думаетъ. Смерть не удовлетворитъ его за жизнь. Онъ прямо глядитъ въ глаза всѣмъ ужасамъ, онъ принимаетъ всѣ страданія—и не отступаетъ, пока не пробуждается отъ тяжкаго кошмара.

XXVII.

Предъ нами послѣдняя сцена четвертаго дѣйствія. Лиръ просыпается и видитъ предъ собой Корделію. Безуміе прошло. Желѣзная натура короля справилась съ представшей предъ нимъ страшной задачей. Міръ со своими ужасами, Гонерилья и Регана съ ихъ оскорбленіями, бурная ночь, прошлая сила и безпомощность въ настоящемъ уже не волнуютъ его. Въ немъ уже заключилась, окончилась внутренняя работа, и она принесла ему умиротвореніе. Онъ не можетъ припомнить, что съ нимъ было, онъ спрашиваетъ окружающихъ, гдѣ онъ, падаетъ передъ Корделіей на колѣни. Онъ называетъ себя беззащитнымъ, глупымъ старикашкой, проситъ, чтобъ надъ нимъ не смѣялись, плачетъ. И при всемъ томъ вы чувствуете, что въ Лирѣ родился новый человѣкъ. Брандесъ, по поводу этой коротенькой, но удивительно глубоко задуманной и дивно, прекрасно выполненной сцены догадывается замѣтить, что въ чтеніи она производитъ большее впечатлѣніе, чѣмъ при представленіи въ театрѣ, ибо въ томъ обстоятельствѣ, что отецъ и дочь становятся на колѣни другъ передъ другомъ, заключается комическій элементъ, вызывающій, при наглядномъ изображеніи на сценѣ, невольный смѣхъ. Это „эстетическое“ соображеніе совсѣмъ подходитъ къ его критикѣ.

Поразительнѣй всего, что Шекспиръ нашелъ возможнымъ исцѣлить Лира отъ безумія. Послѣ всего, что вынесъ

король, ни одинъ поэтъ не осмѣлился бы возвратить сознаніе несчастному. И если бы возвратилъ, то лишь затѣмъ, чтобы показать намъ изуродованную, истерзанную неслыханными пытками душу. Но у Шекспира Лиръ возвращается къ сознанію не затѣмъ, чтобы пугать людей. Наоборотъ, страшный ураганъ, пронесшійся по его душѣ, укрѣпилъ и возвысилъ его. Прежняя сила не ушла отъ него. Но она уже служитъ ему иначе. Ни придворная лесть, ни внѣшній почетъ, ни сознаніе даваемой солдатами и ихъ штыками власти не нужно ему. Все это, чѣмъ онъ еще недавно жилъ, теперь— дѣтскія игрушки для него. Теперь онъ ихъ отбросилъ для тѣхъ, кто въ нихъ нуждается. Зачѣмъ онѣ? Зачѣмъ льстивыя рѣчи Реганы и Гонерильи, салюты войскъ, раболѣпные ряды вельможъ? Въ мірѣ есть многое, что несравненно цѣннѣе и выше, чѣмъ весь внѣшній блескъ величія. Одна искренняя, неподдѣльная любовь Корделіи все ему замѣнитъ. Этой любви ему достаточно, чтобы безъ короны чувствовать себя королемъ отъ головы до ногъ. Онъ не только не безумствуетъ, не ужасается болѣе своему положенію, но находитъ въ себѣ силы утѣшать Корделію, когда они (пятое дѣйствіе) попадаютъ въ плѣнъ къ „тѣмъ сестрамъ и дочерямъ“. Онъ говоритъ ей:

... Скорѣй уйдемъ въ темницу!
Мы станемъ пѣть въ ней, будто птицы въ клѣткѣ.
Когда попросишь ты, чтобъ я тебя
Благословилъ, я самъ, склонивъ колѣни,
Прощенья буду у тебя просить.
И такъ мы станемъ жить вдвоемъ и пѣть,
Молиться, сказки сказывать другъ другу,
Смѣяться надъ придворными и слушать
Отъ нихъ разсказы о мірскихъ дѣлахъ,
О томъ, кто силенъ, слабъ, кто плохъ, кто счастливъ,
И наблюдать мы будемъ сущность дѣлъ,
Какъ отъ боговъ посланники—и вмѣстѣ
Мы проживемъ весь вѣкъ въ стѣнахъ темницы,
Не вѣдая тревоги и тоски.

Конечно, только Шекспиръ могъ сказать такъ много въ столь немногихъ словахъ. Но тотъ, кто предположитъ въ нихъ лирическое отступленіе, тотъ потеряетъ ключъ къ пониманію трагедіи. Все это, хотя написано Шекспиромъ, всецѣло принадлежитъ Лиру. Тому Лиру, который въ первомъ дѣйствіи умѣетъ лишь охотиться, грозно окрикивать, дѣлить царства, гнать отъ себя лучшихъ людей. Буйная, дикая, могучая стихія, не потерявъ своей силы, получила осмысленное содержаніе. Этотъ результатъ, который былъ уже, какъ мы помнимъ, намѣченъ поэтомъ еще въ третьемъ дѣйствіи, объясняетъ все. Въ немъ смыслъ того, что мы называемъ трагической красотой. Если бы удары, обрушившіеся на бѣдную голову старца, были дѣломъ „слѣпой судьбы", „случая", ведущихъ людей къ страданію, безумію и смерти— то о трагической красотѣ не могло быть и рѣчи. Мы могли бы говорить лишь о трагическомъ безобразіи. Но для того чтобы постичь смыслъ и значеніе горя, нужно умѣть видѣть, что оно дѣлаетъ съ человѣкомъ. Поверхностное, доступное всѣмъ, наблюденіе отмѣчаетъ лишь внѣшніе результаты. Шекспиръ же въ хаосѣ безсмысленно и нелѣпо сваленныхъ въ одну кучу человѣческихъ страданій *увидѣлъ* ясный, доступный нашему пониманію смыслъ.

Вся жизнь Лира, счастливая и радостная, имѣла для него не больше смысла, чѣмъ мучительный конецъ. И эта геніальная проникновенность Шекспира поражаетъ насъ болѣе всего. Найти тамъ законъ, гдѣ всѣ видятъ нелѣпость, отыскать тамъ смыслъ, гдѣ, по общему мнѣнію, не можетъ не быть безсмыслицы, и не прибѣгнуть ко лжи, къ метафорамъ, къ натяжкамъ, а держаться все время правдиваго воспроизведенія дѣйствительности—это высшій подвигъ человѣческаго генія. А Шекспиръ именно такъ пишетъ. И ничто болѣе не вредитъ правильному пониманію Шекспира, чѣмъ его поэтическая слава. Мы обыкновенно противоставляемъ поэта—ученому. Мы полагаемъ, что задача поэта по существу состоитъ въ томъ, чтобы быть идеалистомъ, т. е. чтобы великодушно, красиво, изысканно лгать о жизни, въ то время

какъ задача ученаго—некрасиво, невеликодушно и неизыскано говорить правду о жизни. Внимательное изученіе Шекспира болѣе всего выясняетъ неосновательность этого, къ сожалѣнію, слишкомъ распространеннаго предразсудка. Шекспиръ правдивъ, какъ ни одинъ изъ ученыхъ не былъ правдивъ. Какой философъ не жертвовалъ дѣйствительностью ради системы?! Шекспира система—сама дѣйствительность. Если мы у него находимъ больше, чѣмъ видимъ въ жизни, то лишь потому, что онъ умѣлъ увидѣть больше, а не потому, что онъ присочинилъ что-либо отъ себя. Если онъ показываетъ намъ законъ тамъ, гдѣ мы считаемъ неизбѣжнымъ случай, то лишь потому, что тамъ есть этотъ законъ, который мы не въ силахъ различить. Если судьба Лира, казавшаяся всѣмъ судьбой человѣка, которому раздробилъ голову случайно оборвавшійся съ дома кирпичъ, оказывается осмысленнымъ ростомъ его души, то не фантазія Шекспира украсила кирпичъ, а зоркость поэта прослѣдила всѣ результаты дѣйствія удара. Въ „королѣ Лирѣ“ Шекспиръ возвѣщаетъ великій законъ осмысленности явленій нравственнаго міра: случая нѣтъ, если трагедія Лира не оказалась случаемъ.

Вотъ почему поэтъ не боится допустить на сценѣ вырываніе глазъ, случайную смерть Корделіи, словомъ тотъ miaron, который такъ строго воспрещаютъ эстетическіе законы. Шекспиръ не ищетъ идеализировать жизнь, очистивъ ее отъ всего случайнаго, несправедливаго, возмущающаго душу. Его поэзія не есть тотъ почему-то считающійся невиннымъ родъ лжи, который именуется идеализмомъ. И потому его задача—не изгнать „случай“, а объяснить его, не обмануть читателя сочиненной идеей, не обязать насъ вѣрить пріятной неправдѣ, а показать намъ правду. Тотъ, кто видѣлъ и зналъ Гамлета, Коріолана, Отелло, Макбета, Лира, тотъ не утѣшится самъ и другихъ утѣшать не станетъ грезами о возможной гармоніи. Шекспиръ даетъ мѣсто въ своей пьесѣ всѣмъ ужасамъ жизни, единственно потому, что исторія короля Лира освѣщаетъ всю жизнь. Даже судьба Глостера,

смерть Корделіи, въ той драмѣ, гдѣ такъ разъяснена трагедія Лира, не смущаетъ зрителя, который слишкомъ глубоко чувствуетъ, что такое человѣческая жизнь. Внѣшній міръ для Шекспира и его читателей не скалистый берегъ, о который разбиваются утлыя ладьи бѣдныхъ двуногихъ животныхъ, а форма, въ которой отливаются человѣческія души. Мы не слѣпые, которыхъ насмѣшливая или безсильная судьба загнала въ лѣсъ и оставила безъ проводника, а существа, сквозь мракъ и страданія идущія къ свѣту. Шекспиръ не утверждаетъ это, а демонстрируетъ намъ такимъ образомъ человѣческую жизнь, что и мы вслѣдъ за нимъ начинаемъ видѣть въ ней школу, гдѣ мы растемъ и совершенствуемся, а не тюрьму, гдѣ насъ подвергаютъ пыткамъ. А если жизнь такова—то miaron есть лишь необъясненный случай. Участь Глостера и Корделіи, погибшихъ за короля, уже не наполняетъ нашу душу фантастическимъ ужасомъ, какъ и неожиданное явленіе природы не смущаетъ человѣка, достаточно вышколеннаго, чтобъ понимать невозможность нарушенія закона причинности. Когда Лиръ является съ мертвой Корделіей на рукахъ, Кентъ съ ужасомъ восклицаетъ: „и это обѣщанный конецъ!“ *), самъ Лиръ рыдаетъ, какъ безумный, но зритель уходитъ изъ театра, не придавленный страшной трагедіей, а примиренный съ жизнью. Съ нимъ былъ все время Шекспиръ, великій проводникъ въ жизненномъ лабиринтѣ, и зритель не сбился съ пути.

XXVIII.

Крейссигъ, какъ помнитъ читатель, называлъ „короля Лира“ трагедіей категорическаго императива. Намъ кажется, что это названіе гораздо ближе подойдетъ къ „Макбету“. Въ Макбетѣ Шекспиръ касается того, что Кантъ назвалъ категорическимъ императивомъ, и въ то время, какъ философъ останавливается предъ этимъ явленіемъ нашего сознанія,

*) Is this the promised end!

какъ предъ чѣмъ-то конечнымъ, недоступнымъ человѣческому пониманію, поэтъ смѣло приступаетъ къ его анализу. Кантъ установилъ, что въ насъ есть „разумъ“, который приказываетъ намъ извѣстнымъ образомъ поступать, и „чувственность“—второй источникъ побужденій къ поступкамъ. Мы свободны выбирать между повелѣніями разума и стремленіями чувственности. Признаемъ мы разумъ верховнымъ своимъ повелителемъ—мы будемъ представителями добра. Признаемъ чувственность—мы будемъ представителями зла или въ томъ случаѣ, когда чувственныя побужденія не будутъ противорѣчить велѣніямъ разума (состраданіе, любовь къ труду, къ наукѣ, дружбѣ и т. д.)—представителями безразличнаго начала. Нравственный человѣкъ, по Канту, исполняетъ долгъ ради долга изъ уваженія къ закону, источникъ котораго не можетъ быть нами постигнутъ.

Такое пониманіе нравственности вполнѣ удовлетворяло Канта; въ независимости нравственныхъ правилъ отъ всѣхъ прочихъ человѣческихъ побужденій философъ видѣлъ „чистоту“ ея. Онъ совершенно не подозрѣвалъ, что, спасая чистоту нравственныхъ побужденій, отдѣляя ихъ отъ всѣхъ прочихъ стремленій, которыя присущи человѣку, онъ тѣмъ самымъ отрицаетъ всю человѣческую жизнь.

Любовь, дружба, жажда знанія, восторгъ предъ красотой и т. д. все это уже относилось Кантомъ къ области чувственности, которая сама по себѣ оказывается недостаточно высокимъ и чистымъ импульсомъ къ дѣятельности. Человѣку нуженъ еще какой-то трансцендентальный повелитель, категорическій императивъ, который одинъ оправдываетъ и санкціонируетъ всѣ человѣческіе поступки. Помогай ближнему не изъ любви къ нему, не изъ состраданія, не затѣмъ, чтобъ этому ближнему легче стало, а изъ сознанія своихъ обязанностей. Такая идея о долгѣ, какъ понятіи, совершенно не зависимо отъ всего, чѣмъ живетъ человѣкъ, могла притти въ голову только философу. Шиллеръ писалъ, по поводу категорическаго императива и ученія Канта о добродѣтели: „охотно служу я друзьямъ, но, къ сожалѣнію,

я дѣлаю это по склонности. И часто поэтому меня грызетъ мысль, что я не добродѣтеленъ. Нѣтъ иного выхода: ты долженъ постараться ихъ презирать и послѣ съ отвращеніемъ дѣлать то, что повелѣваетъ тебѣ долгъ". И вообще каждый разъ, когда выдающійся поэтъ подходилъ къ категорическому императиву, къ „чистой" идеѣ о долгѣ, это дѣлалось исключительно затѣмъ, чтобъ подорвать ихъ безусловное значеніе и отвести имъ скромное мѣсто временнаго регулятора человѣческихъ дѣйствій. Философу ничего не стоило отречься отъ всего, чѣмъ дорожитъ человѣкъ и подчинить жизнь идеѣ. Ему казалось, что чѣмъ прочнѣе будетъ установлено множество разныхъ „нельзя" надъ человѣкомъ, тѣмъ спокойнѣе будетъ житься на свѣтѣ. А для того, кто живетъ въ кабинетѣ „спокойно" и „лучше"—синонимы. Вѣдь выдумали же ученые „естественное право". А что такое естественное право? Естественный жандармъ, естественный городовой! Категорическій императивъ, по своему внутреннему смыслу, вполнѣ соотвѣтствуетъ естественному праву. Подъ этими двумя столь философскими терминами скрыта цѣлая тайная полиція, съ сыщиками, шпіонами и, главное, съ санкціей, т. е. съ правомъ казнить виноватыхъ. Несомнѣнно, что городовые и жандармы существовали и существуютъ. Несомнѣнно, что и категорическій императивъ не выдуманъ Кантомъ. Философу лишь принадлежитъ названіе „естественный" т. е. неизмѣнный, необходимый, вѣчный, порожденный самой природою, и имѣющій существовать въ теперешнемъ своемъ видѣ до скончанья временъ.

Глубоко любопытную попытку отдѣлаться отъ категорическаго императива мы встрѣчаемъ, между прочимъ, у Мольера. Его донъ-Жуанъ, сообразивши, что духовная полиція сильна только человѣческой слабостью, бросаетъ ей открытый вызовъ. Онъ вѣритъ только въ то, что дважды два —четыре, а дважды четыре—восемь. И отсюда у него никакъ не выходитъ, что не нужно лгать. Кстати онъ, какъ очень умный человѣкъ, подмѣчаетъ еще и то обстоятельство, что почти всѣ люди надуваютъ категорическіе импе-

ративы и расплачиваются съ ними фальшивой монетой — ханжествомъ. Хитрить не въ натурѣ Жуана. Какъ только онъ убѣждается, что категорическіе императивы выросли не на почвѣ его души—онъ тотчасъ же предлагаетъ имъ подать въ отставку. Все можно, говоритъ онъ, зачѣмъ же признавать разныя „нельзя?“

И онъ, донъ-Жуанъ, по природѣ прямой и открытый человѣкъ, начинаетъ лгать и лицемѣрить; и лжетъ не такъ, какъ Яго или Ричардъ III, а съ двойнымъ наслажденіемъ, чисто философскимъ. Ему доставляетъ безконечную радость сознаніе, что онъ одержалъ побѣду надъ категорическими императивами. Сганарель, слушая, какъ его господинъ увѣряетъ своего отца, что рѣшилъ исправиться и вѣрить въ Бога, приходитъ въ ужасъ, отлично понимая, что Жуанъ издѣвается надъ святынями. Онъ только и восклицаетъ: „это—человѣкъ, это—человѣкъ!“ А Жуанъ не измѣняетъ себѣ. Онъ лжетъ и брату своей жены, все ссылаясь на Бога, въ котораго не вѣритъ, и портному, явившемуся за долгомъ, и не можетъ достаточно нарадоваться тому, что теперь онъ уже побѣдилъ въ себѣ послѣдніе предразсудки. Прежде онъ губилъ женщинъ, убивалъ на дуэляхъ людей, богохульствовалъ. Но все-таки для него еще существовало много правилъ, которыя онъ считалъ обязательными для себя. Теперь онъ вырвался совершенно изъ власти нравственности. Законы ему почти не мѣшаютъ, ибо онъ знатенъ и богатъ, Бога онъ не боится, нравственность выброшена за бортъ. Жуанъ освободился отъ всѣхъ цѣпей, связывающихъ человѣка. Когда ему надоѣдаетъ лгать передъ братомъ жены, онъ вдругъ начинаетъ говорить своимъ настоящимъ языкомъ, принимаетъ его вызовъ и убиваетъ его. Но вотъ послѣднее испытаніе. Онъ зоветъ командора ужинать и командоръ приходитъ на зовъ. Передъ Жуаномъ является рядъ страшныхъ предостерегающихъ видѣній—и ихъ онъ вызываетъ. Наконецъ, командоръ предлагаетъ донъ-Жуану подать свою руку. — Жуанъ протягиваетъ руку. Онъ не

хочетъ признать надъ собою власти каменнаго гостя и проваливается вмѣстѣ съ нимъ.

Очевидно, Канту не представлялась возможность существованія донъ-Жуана. Онъ воображалъ себѣ человѣческій родъ состоящимъ изъ Сганарелей, для которыхъ категорическій императивъ, какъ и право, со своими воображаемыми и дѣйствительными санкціями, т. е. угрызеніями совѣсти и наказаніями, окажутся всегда надежной формальной уздой. Но что дѣлать съ Жуанами, подающими руку командорамъ? Объ этомъ кенигсбергскій профессоръ не подумалъ.

Въ связи съ категорическимъ императивомъ находится и наше представленіе о преступленіи. Если человѣкъ отказывается повиноваться императиву, то онъ „виноватъ“, то онъ—преступникъ, то онъ — представитель зла на землѣ. Въ концѣ концовъ ученіе Канта, если отбросить всѣ философскія украшенія, можетъ быть формулировано приведенными нами въ третьей главѣ словами Мезьера: добрые добры потому, что хотятъ быть хорошими, преступники злы потому, что хотятъ быть дурными. Это наиболѣе простое и вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе распространенное среди людей мнѣніе. Кантъ—учено, а Мезьеръ—наивно—повторили то, что думаютъ всѣ люди, не занимающіеся философіей и не изучающіе Шекспира. Ни философу, ни критику не предстало преступленіе, какъ одно изъ ужаснѣйшихъ явленій, которое требуетъ не опредѣленія, а объясненія. Они не спросили себя, что это значитъ, что человѣкъ такой же, какъ и они, вдругъ оказывается преступникомъ, т. е. преданнымъ анаѳемѣ, отверженнымъ ближними, Богомъ и самимъ собою существомъ. Человѣкъ убилъ, слѣдовательно, онъ хотѣлъ убить, слѣдовательно, онъ преступникъ. Не говори о немъ, а лишь посмотри и пройди. Но Шекспиру нужно было иное, чѣмъ Канту и Мезьеру. Ему нужно было понять преступника, а не обвинить его. Для того, чтобы обвинять — не нужно быть ни поэтомъ, ни геніемъ. Кантъ оправдалъ категорическій императивъ и обвинилъ человѣка: ему это ка-

залось высшимъ торжествомъ науки, праздникомъ, именинами философскаго сердца. Шекспиръ обвинилъ категорическій императивъ и примирилъ преступника съ его совѣстью.

Борьбѣ человѣка съ категорическимъ императивомъ у него посвященъ „Макбетъ“. Въ этой драмѣ предъ нами раскрывается и значеніе императива, и психологическая природа преступленія. Макбета часто сравниваютъ съ Яго. Оба они „типы злодѣевъ“, и потому ихъ характеры напрашиваются на сравненіе. Брандесъ говоритъ: „Яго — въ одномъ его образѣ болѣе великій стиль, чѣмъ во всемъ „Макбетѣ“. Яго—въ этомъ характерѣ больше глубокомыслія и знанія человѣческой души — чѣмъ во всемъ „Макбетѣ“. Яго—самъ великій стиль“ *). И еще: „Яго — злорадство въ человѣческомъ образѣ; онъ дѣлаетъ зло изъ наслажденія вредить другимъ: муки и несчастіе другихъ людей даютъ ему новыя силы“ **). И все это, въ соединеніи съ другими такого же рода разсужденіями, приводитъ критика къ заключенію: „злоба—это первый факторъ жизненной трагедіи; глупость—это второй. На этихъ двухъ основахъ покоится главная масса всего земного горя“ ***). Для такого смѣлаго и оригинальнаго философскаго вывода можно было бы не читать Шекспира, и сослаться—хоть бы на прописи, гдѣ это достаточно вразумительно объясняется. „Макбетъ“ вообще не по нраву Брандесу. „Эта драма, нѣсколько изуродована частой ссылкой на fabula docet, на нравоученіе: такъ дескать бываетъ, когда ищешь путемъ злодѣйствъ добиться власти“. Макбетъ, соображаетъ критикъ, могъ бы, убивши Дункана, потомъ отлично устроиться и мудрымъ правленіемъ примирить съ собою своихъ подданныхъ. Но „моральная тенденція пьесы исключаетъ эту возможность“. Нѣсколько изуродовано, моральная тенденція, fabula docet. Это о Шекспирѣ и „Макбе-

*) Brandes, стр. 610.

**) Ib. стр. 611.

***) Ib. стр. 614.

тѣ“! Дрэкъ такъ говоритъ о „Макбетѣ“: „эта драма — величайшее произведеніе Шекспировскаго генія; это самая могущественная изъ всѣхъ существующихъ въ мірѣ драмъ“. Мы не станемъ подробно останавливаться на разборѣ „Макбета“, сдѣланномъ Брандесомъ. По приведеннымъ выпискамъ читатель можетъ легко себѣ представить, какъ мало сказала великая трагедія датскому критику. Но тѣмъ важнѣе всмотрѣться въ характеры Макбета и Яго, чтобъ объяснить себѣ, какъ понималъ геніальный поэтъ преступниковъ и преступленіе, и что примиряло его съ этимъ ужаснѣйшимъ изъ всѣхъ существующихъ miaoп'овъ.

XXIX.

Макбетъ—не донъ-Жуанъ, прежде потерявшій вѣру и теоретически уничтоживший нравственность и затѣмъ лишь вызвавшій небо и адъ на поединокъ. Макбетъ и не Яго, который никогда ни въ небо, ни въ адъ серьезно не вѣрилъ. У Макбета совѣсть настолько слилась со всѣмъ его существомъ, что вырвать ее онъ можетъ только вмѣстѣ со своимъ сердцемъ. Яго — богохульникъ, плутъ и разбойникъ прежде всего потому, что у него нѣтъ никакихъ причинъ не быть негодяемъ. Категорическіе императивы для него то же, что для другихъ людей правила придворнаго этикета. Они возбуждаютъ въ немъ насмѣшку и негодованіе:

Конечно, есть такіе подлецы,
Которые почтительно сгибаясь
И ползая, влюбленные въ свое
Презрѣнное лакейство, какъ ослы
Работаютъ изъ-за одной лишь пищи;
А чуть они состарѣются—вонъ
Сейчасъ ихъ гонятъ. Палками бы этихъ
Всѣхъ честныхъ подлецовъ! Но есть другіе
Которые подъ маской вѣрной службы,
Скрываютъ мысль и о самихъ себѣ;
И, господамъ отлично угождая
Услужливостью видимой, межъ тѣмъ

Свои дѣла ведутъ съ большимъ успѣхомъ;
А, понабивъ карманы, начинаютъ
Самимъ себѣ служить и угождать.
Вотъ въ этихъ то людяхъ есть здравый смыслъ,
И къ этимъ-то и самъ принадлежу я.

Вотъ психологія Яго. Любви и чувства долга къ мавру у него нѣтъ. Да и вообще о долгѣ и любви онъ только по наслышкѣ знаетъ. Для него это — пустыя слова, которыя, конечно, менѣе всего могутъ направлять его дѣйствія. Порвать такія цѣпи, какъ правила нравственности, для него самое нетрудное дѣло, ибо онѣ для него менѣе прочны, чѣмъ паутина. И у него образуется своя житейская философія. Какъ видитъ читатель, слова Брандеса, что Яго „дѣлаетъ зло изъ наслажденія вредить другимъ“ — клевета — и не только на Яго, котораго репутація мало пострадаетъ отъ новаго обвиненія, но — на человѣческую природу.

Такіе теоретическіе злодѣи—артисты въ преступленіи— уже ненормальные люди. Яго же принадлежитъ къ тѣмъ, у которыхъ есть здравый смыслъ и, конечно, онъ не сталъ бы хлопотать о ревности Отелло безъ всякой нужды. Философія Яго есть именно то, что подсказываетъ ему здравый смыслъ. И въ ней много правды. Развѣ эти влюбленные въ свое лакейство люди не заслуживаютъ презрѣнія? Развѣ они не отказались отъ своей личности, не спасовали предъ призракомъ, понятіемъ, тѣмъ, что люди называютъ „долгомъ“? Ихъ добродѣтель—пассивность. Они вѣрны лишь потому, что не смѣютъ и не умѣютъ сопротивляться. И эти „честные подлецы“ играютъ нерѣдко въ фальшивую игру съ самими собою. Вѣрность ихъ тяготитъ подчасъ, когда сказываются нѣсколько сильнѣе запросы ихъ души. Правда, обыкновенно душевный складъ человѣка являетъ собою довольно строгую послѣдовательность. Овца, лишенная когтей и зубовъ, т. е. средствъ борьбы, кстати надѣлена и кротостью. Это Яго, какъ человѣкъ очень проницательный, понимаетъ отлично. Его честные подлецы — это именно — овцы, кротость

которыхъ коренится въ ихъ безсиліи. Они громко говорятъ только одни „нельзя“,—о „можно“ они лишь про себя мечтаютъ.

Этими овечьими свойствами ближнихъ люди охотно пользуются, называютъ непритязательность добродѣтелью и по мѣрѣ силъ вмѣняютъ ее въ обязанность всѣмъ тѣмъ, кто не умѣетъ протестовать и добиваться своего. Такъ Яго понимаетъ честность и одинаково возмущается и честными людьми, и тѣми, кто именемъ долга требуетъ себѣ вѣрности. Яго ни нравственныхъ, ни юридическихъ правъ на службу другихъ не имѣетъ. И онъ ищетъ иныхъ способовъ, посредствомъ которыхъ можно закабалить себѣ людей. Юридическихъ, признанныхъ всѣми основаній отнимать у ближняго трудъ, имущество и жизнь, у него нѣтъ. И онъ отыскиваетъ иные пріемы борьбы. Онъ призываетъ на помощь умъ и хитрость и часто одерживаетъ въ борьбѣ такія же побѣды, какъ соединенныя право и нравственность. Въ Римѣ, мы помнимъ, патриціи жали плебеевъ посредствомъ законовъ и традицій. Это одинъ способъ открытой борьбы. Патриціи мучили плебеевъ не меньше, чѣмъ Яго свои жертвы. Тюрьмы, продажа въ рабство, разрѣзываніе на части должниковъ, выманиваніе мира при посредствѣ лести и притворства — это все было дозволенными способами борьбы, Яго тоже дальше этого не идетъ.

Несомнѣнно, психологія преступнаго человѣка это то, что намъ труднѣе всего понять. Еще въ дѣтствѣ, встрѣчая партіи арестантовъ и ссыльныхъ, съ цѣпями на рукахъ, клейменныхъ, съ мрачными лицами, угрюмымъ взоромъ, выбритыми головами — мы пріучаемся думать, что преступникъ есть нѣчто страшное an sich, нѣчто совсѣмъ не такое, какъ другіе люди. Ребенокъ, завидя арестанта, всегда съ испугомъ шарахнется въ сторону. И затѣмъ въ теченіе всей нашей жизни, мы такъ далеки отъ преступниковъ, что намъ не представляется никакой возможности внести поправки въ свои предразсудки. „Преступникъ — это не я“, такъ думаетъ каждый человѣкъ, и этимъ от-

нимаетъ у себя навсегда возможность узнать, что такое преступникъ. Въ старину говаривали, что у дворянина кость бѣлая, а у мужика кость черная. А теперь полагаютъ, что у всѣхъ души бѣлыя, а у преступниковъ — черныя. Это и Брандесъ выразилъ въ своемъ замѣчаніи о томъ, что Яго дѣлаетъ зло ради зла. У него душа черная или, какъ говоритъ Мезьеръ, онъ хочетъ быть дурнымъ. Шекспиръ, какъ и всегда въ своихъ пьесахъ съ удивительной тонкостью изображаетъ намъ и то, чѣмъ Яго является для другихъ, и то, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ. Для всѣхъ онъ полудьяволъ. И точно — дѣла его дьявольскія. Сперва онъ выманиваетъ деньги у простяка Родриго, потомъ интригуетъ противъ Отелло и доводитъ мавра до безумной ревности, губитъ Дездемону, убиваетъ Родриго, жену свою, злоумышляетъ на жизнь Кассіо. Поступки его столь ужасны, что они не могутъ для насъ не окрасить своимъ цвѣтомъ и душу преступника. Намъ кажется, что онъ—дьяволъ, т. е. существо, иначе, чѣмъ мы, созданное, и мы готовы, вслѣдъ за Брандесомъ, приписать ему почти фантастическія побужденія. Ему, Яго, человѣку, въ которомъ надъ всѣмъ господствуетъ здравый смыслъ, т. е. сознательное стремленіе уладить свои дѣла и добиться возможно лучшаго положенія. Приведенныя выше слова Яго устраняютъ всякую возможность такого толкованія. Шекспиръ съ самаго начала раскрываетъ предъ нами душу своего „злодѣя“, и наше дѣло лишь умѣть до конца трагедіи удержать въ памяти указанія поэта. Что бы ни дѣлалъ Яго, нужно не забывать, что опредѣляетъ собой его поступки. Когда, въ послѣднемъ дѣйствіи, приводятъ на сцену связаннаго Яго, Отелло ранитъ его, чтобы узнать, „вправду-ли онъ чортъ“. Такое подозрѣніе въ несчастной жертвѣ его козней, естественно. Но мы должны стараться объяснить себѣ преступника, и намъ не слѣдуетъ раздѣлять мнѣніе Отелло. Яго, спартанскій песъ, болѣе жестокій, чѣмъ океанъ, чѣмъ голодъ, чѣмъ чума, долженъ оставаться для насъ человѣкомъ, такимъ же, какъ и мы, по поводу кото-

раго мы должны требовать у жизни оправданія, какъ Лиръ требовалъ объясненія за свое несчастье.

И чѣмъ ужаснѣе бремя лежащихъ на Яго преступленій, тѣмъ настойчивѣе должна быть въ насъ потребность спасти человѣка отъ нравственной анаѳемы; у насъ не должно быть воли, чтобы погибъ такой же, какъ и мы, человѣкъ. Но этого хотѣть мы не умѣемъ. Предъ нами Дездемона, невинно погибшая изъ-за Яго, предъ нами зарѣзавшійся благородный мавръ, пораженная мужемъ Эмилія, намъ разсказываютъ о смерти Родриго, павшаго отъ руки все того же Яго. „Неужели стрѣлы лишь для того на небѣ, чтобъ гремѣть?!“ готовы мы воскликнуть вслѣдъ за Отелло. И такъ всегда бываетъ съ людьми. При видѣ страшныхъ событій, они только ужасаются и ищутъ „виновника“, на котораго можно излить гнѣвъ и негодованіе, на которомъ можно „по справедливости“ выместить свое несчастіе. Всѣ, придуманныя человѣчествомъ, пытки, кажутся недостаточными для „дорогого мерзавца“.

Отелло, убивши Дездемону, говоритъ, что онъ ничего не совершилъ изъ ненависти, все сдѣлалъ изъ чести. Что можетъ сказать Яго въ свое оправданіе? Онъ ссылается на то, что подозрѣваетъ Отелло и Кассіо въ связи съ Эмиліей, что хочетъ разсчитаться женой за жену со своимъ генераломъ, говоритъ даже, что самъ влюбленъ въ Дездемону, но вы отлично понимаете, что все это у него однѣ отговорки. Даже не отговорки, а такъ—ничтожные отвѣты на ничтожные вопросы. Для него самого совершаемыя имъ преступленія вовсе и не преступленія, разъ такія ссылки служатъ для него хотя бы отговорками.

Это выясняютъ вамъ всѣ его монологи. Правда, онъ знаетъ, что его образъ дѣйствій вызоветъ суровыя нареканія въ людяхъ, но до этого ему мало дѣла. Внутреннихъ препятствій къ совершенію преступленія—у него нѣтъ. Идея долга—мы видѣли, какъ мало она для него могла значить, и какъ легко онъ съ ней справился. Остается одно: состраданіе къ жертвамъ, къ людямъ, которыхъ онъ

губитъ. Но откуда возьмется оно къ нему? Онъ убивалъ людей на войнѣ—теперь убиваетъ въ мирное время.

Яго—сильный человѣкъ. Въ немъ нѣтъ душевной лѣни, пассивности, зачастую являющихся основой человѣческой добродѣтели. Онъ добивается своего и не останавливается передъ опасностями. Отелло предпочелъ ему Кассіо—и этого для поручика вполнѣ достаточно, чтобъ затѣять всѣ свои интриги. Онъ хочетъ большаго, чѣмъ ему дано, хочетъ богатства, власти и борется за эти блага тѣми средствами, которыя находятся въ его распоряженіи. Любить Отелло, какъ Эмилія любитъ Дездемону, онъ не умѣетъ. Ему никто изъ людей самъ по себѣ не нуженъ. Зачѣмъ же онъ станетъ считаться съ ними? Отчего онъ долженъ жалѣть ихъ? Для него всѣ люди то же, что жидъ Шейлокъ для Антонія. Онъ готовъ имъ плевать въ бороду, давать имъ пинки, ругать псами. Но, такъ какъ его за это свяжутъ, то онъ все это дѣлаетъ тайно. Есть люди, которые и тайно этого не дѣлаютъ, хотя въ душѣ имъ ближній, такъ же чуждъ какъ и Яго: ихъ связываютъ категорическіе императивы, т. е. служители полиціи духа. Изъ ихъ власти не всякій можетъ вырваться, какъ-бы назойливой, ненужной и тяжелой она ему ни казалась. Совѣсть, не имѣющая и не имѣвшая никогда никакой силы надъ Яго, становится для другихъ когтистымъ, скребущимъ сердце звѣремъ. Съ ней нужно бороться, чтобы вырваться изъ ея цѣпей. И—поразительно—она, въ общемъ, оказывается, подобно земнымъ законамъ, паутиной, въ которой запутываются мелкія мошки, но которую прорываютъ крупные шмели. Яго—покрупнѣе и съ совѣстью даже не считается въ то время, когда совершаетъ звѣрскія преступленія. А маленькій человѣкъ рыдаетъ, мучается, выдаетъ себя по поводу ничтожнаго проступка. Но и судебная власть и полиція духа знаютъ такіе случаи, когда огромный шмель запутывается въ ихъ сѣтяхъ. Тогда предъ нами открывается зрѣлище могучей борьбы, при которой полнѣе всего выясняется характеръ и роль категориче-

скаго императива и психологическая природа преступленія. Объ этомъ идетъ рѣчь въ „Макбетѣ“.

XXX.

Макбетъ несравненно богаче и сильнѣе духомъ, чѣмъ Яго, и его же сила даетъ крѣпость сѣтямъ, въ которыя онъ попался. Если нужно говорить о „великомъ стилѣ“, то, конечно, не по поводу Яго, а по поводу Макбета. У Яго—полъ дѣла: губить людей и прятать концы въ воду. Макбету нужно больше: совершать злодѣянія и бороться со своей совѣстью. Онъ не философъ, какъ донъ-Жуанъ; ему и въ голову не придетъ усомниться въ правахъ категорическаго императива. Его власть Макбетъ признаетъ надъ собой, какъ связанный Яго признаетъ власть своихъ тюремщиковъ и палачей! И тѣмъ не менѣе онъ рѣшается вступить въ борьбу со своей совѣстью, такъ какъ всѣми силами желаетъ отвязаться отъ этого чуждаго, ненужнаго хозяина. Кто-то забрался въ его душу и говоритъ ему: „не убей“! Не убей—когда онъ, какъ и Яго, убивалъ сотни людей и не только не считалъ это преступленіемъ, но вмѣнялъ себѣ въ подвигъ. И всѣ это вмѣняли ему въ подвигъ, и вдругъ—„не убей!“ Очевидно, что такое запрещеніе чуждо всему душевному складу Макбета. Оно непонятнымъ, коварнымъ образомъ забралось въ его душу именно въ тотъ моментъ, когда убійство можетъ открыть ему путь къ тому, что онъ считаетъ лучшимъ во всемъ мірѣ, къ вѣнцу всѣхъ его желаній. И тамъ—въ полѣ, нужно, можно, должно убивать, а тутъ—нельзя. Если бы Макбетъ умѣлъ цѣнить человѣка, если бы у него была въ душѣ любовь къ Дункану—убійство было бы для него невозможнымъ дѣломъ. Онъ бы почувствовалъ въ королѣ самого себя и ждалъ бы, пока судьба сама не вѣнчаетъ его на царство. Но Дунканъ для Макбета не ближній, и всякій человѣкъ для него не живое существо, которому такъ же нужно жить, какъ и ему, Макбету, а пустое безсодержательное нѣчто, къ несчастію охраняемое такимъ

страшнымъ драконом, какъ угрызенія совѣсти. У Макбета вовсе не рождается вопроса убивать ли Дункана, умереть ли Дункану. Его заботитъ лишь мысль о томъ, по силамъ ли будетъ ему, Макбету, бороться съ драконом. Ни у одного изъ писателей психологія убійцы не изображена съ такимъ чутьемъ къ правдѣ, какъ у Шекспира. Не успѣлъ Россе сообщить Макбету, что ему пожаловано королемъ кавдорское танство, какъ воспоминаніе о только что предсказанной ему вѣдьмами коронѣ, наводитъ его на мысль объ убійствѣ: и вмѣстѣ съ тѣмъ, предъ нимъ является и страшный образъ отвѣтственности. Въ немъ неестественно бьется сердце, въ груди подавлена вся сила чувства, на головѣ волосы становятся дыбомъ, „то, что есть—для него не существуетъ, существуетъ же лишь то, чего—нѣтъ“. Драконъ, охраняющій Дункана, кажется Макбету слишкомъ страшнымъ, и онъ отказывается отъ борьбы:

Когда судьбѣ угодно
Меня вѣнчать, то пусть меня вѣнчаетъ!
Я ей не помогу.

Т. е. я не убью Дункана.

Но это рѣшеніе непрочно. Дунканъ объявляетъ своимъ наслѣдникомъ и принцемъ Комберлендскимъ своего сына, Малькольма. Межъ Макбетомъ и короной становится новое препятствіе, и мысль объ убійствѣ снова возвращается къ нему. Несмотря на то, что король осыпалъ его великими почестями, проявилъ къ нему чисто отеческую нѣжность, сознаніе, что осуществленіе предсказанія вѣдьмъ откладывается на безконечно долгое время, заставляетъ Макбета подумать о томъ, какъ бы поторопить медлительницу судьбу:

Принцъ Комберлендъ—вотъ камень на пути!
На немъ мнѣ пасть, иль все за нимъ найти.
Померкните, свѣтила въ небесахъ!
Не озаряйте замысловъ моихъ!
Пускай ударъ мой ниспадетъ впотьмахъ!
Рука вѣрна: она не промахнется.

И опять убійство представляется Макбету лишь страшнымъ, опаснымъ для него самого дѣломъ: О Дунканѣ, и его сыновьяхъ— ни слова. Они лишь „камни“: на пути—или въ сторонѣ. Если на пути,—нужно сбросить ихъ; если въ сторонѣ,—пусть себѣ лежитъ. Сытый левъ не трогаетъ человѣка, но голодный—безпощаденъ въ своей ярости.

Леди Макбетъ—натура попроще. Она и не предвидитъ борьбы съ полиціей духа. Она—раціоналистически глядитъ на все. Спящій и мертвецъ, соображаетъ она, лишь картины: ихъ бояться нечего. Предъ ней возстаетъ лишь перспектива величія королевской власти: что до заповѣди--„не убей“, она не вѣритъ въ ея силу и не предвидитъ возможности угрызеній совѣсти. Читая письмо своего мужа, будущая соучастница его величія боится, что Макбетъ, пожалуй, станетъ терпѣливо выжидать своей очереди, захочетъ прямымъ путемъ достигнуть власти, честно сорвать банкъ. Для нея звучатъ неотразимо слова „убей, или откажись отъ власти“, и ея рѣшеніе быстро созрѣваетъ, еще прежде, чѣмъ Макбетъ посвящаетъ ее въ свои планы. Какъ только мужъ пріѣзжаетъ домой, леди Макбетъ спрашиваетъ его, когда Дунканъ намѣревается уѣхать отъ нихъ, и, получивъ отвѣтъ: „завтра“,--восклицаетъ: „о, никогда такого завтра, не увидѣть солнцу“!Она учитъ Макбета, въ слишкомъ открытомъ лицѣ котораго легко„ прочесть недоброе“, новому для него искусству притворяться. Убійцѣ, объясняетъ она ему, нужны радушный взглядъ и ласковая рѣчь, видъ цвѣтка съ сокрытой подъ нимъ змѣей. Она обѣщаетъ позаботиться о томъ, чтобы ночь не пропала даромъ, та ночь, которая доставитъ власть ихъ будущимъ ночамъ и днямъ, дастъ имъ славу. Леди Макбетъ,—мастерица вдохновлять. Она умѣетъ покорить все свое существо одной мысли и въ моментъ воодушевленія видѣть только предметъ своихъ страстныхъ желаній. Ничего ее не страшитъ, ибо для нея, кромѣ виднѣющейся вдали короны, ничего не существуетъ. Она вся принадлежитъ минутѣ и совершенно не чувствуетъ столь страшнаго для Макбета смысла словъ: „убійство“, „грѣхъ“.

Скорѣй, глухая ночь,
Спустись на міръ и въ мрачномъ дымѣ ада
Укрой мой ножъ! Пусть онъ не видитъ раны,
И небо не пронзитъ покрова тьмы
Словами: «стой! остановись!»

говоритъ она еще до прихода Макбета. И ночь спускается на ея душу и заволакиваетъ тьмой ея глаза. Ея ножъ не видитъ раны, не видитъ Дункана: одна только корона видна ей.

Но Макбетъ сильнѣе своей жены. Какъ ни повелительна въ немъ страсть, онъ не теряетъ способности глядѣть въ будущее. Онъ отлично понимаетъ, что впереди ждетъ его не только корона, но еще и убійство. Убійство, которое не разрѣшено совершить. Онъ не гонитъ отъ себя размышленій. Наоборотъ, онъ старается вникнуть во все, оцѣнить предпріятіе со всѣхъ сторонъ:

Ударъ! одинъ ударъ! Будь въ немъ все дѣло,
Я не замедлилъ бы. Умчи съ собою
Онъ всѣ слѣды, подай залогъ успѣха,
Будь онъ одинъ начало и конецъ,—
Хоть только здѣсь, на отмели временъ,—
За вѣчность мнѣ перелетѣть не трудно.

Т. е. если бы все дѣло сводилось къ тому, чтобы только убить Дункана, Макбетъ не размышлялъ бы. Если бы здѣсь, на землѣ—о небѣ онъ не думаетъ—этимъ однимъ ударомъ былъ бы обезпеченъ успѣхъ, если бы знать, что Дунканъ спокойно будетъ спать въ землѣ, а онъ, Макбетъ, будетъ такъ же спокойно царствовать, то сомнѣваться не пришлось бы—

Но судъ свершается надъ нами здѣсь:
Едва урокъ кровавый данъ, обратно
Онъ на главу учителя падетъ.
Есть судъ и здѣсь: рукою безпристрастной
Подноситъ намъ онъ нашу чашу съ ядомъ.

Кто же будетъ судить? Государственнаго закона Макбетъ не боится. Онъ не Яго. Его не свяжутъ. Наоборотъ, его облекутъ въ царственныя одежды и повезутъ въ Сконъ— короноваться, и онъ станетъ самъ королемъ, источникомъ всѣхъ законовъ. Его будетъ судить внутренній судья, который для него страшнѣе, чѣмъ для Яго всѣ палачи. Отъ этого судьи не убѣжишь, его не обманешь, его не подкупишь, ни устрашишь солдатами. И Макбетъ знаетъ, что власть этого судьи неимовѣрно велика, что онъ властенъ казнить и награждать. До сихъ поръ Макбетъ былъ съ нимъ въ мирныхъ отношеніяхъ и получилъ за то величайшія блага: душевное спокойствіе, золотое мнѣніе въ народѣ. Онъ хочетъ сохранить это за собою. Правда, онъ и прежде убивалъ, много убивалъ — но съ разрѣшенія этого судьи. Теперь, одинъ только разъ онъ хочетъ убить, не получивъ надлежащаго разрѣшенія, и чувствуетъ, что ему придется страшной цѣной расплатиться за своевольный поступокъ. Онъ заранѣе знаетъ мотивированный приговоръ своего судьи:

Король Дунканъ вдвойнѣ здѣсь безопасенъ:
Родной и подданный—я не могу
Поднять руки на короля, хозяинъ—
Убійцѣ долженъ затворить я дверь,
Не самъ, своимъ ножемъ зарѣзать гостя.
Дунканъ царилъ такъ доблестно и кротко,
Высокій санъ такъ чисто сохранялъ!
Его убить? О страшенъ будетъ вопль
Прекрасныхъ доблестей его души!
За черный грѣхъ—онъ прогремитъ проклятьемъ,
Какъ трубы ангеловъ; въ сердцахъ пробудитъ
Онъ состраданье, какъ грудной младенецъ,
Несомый бурею; какъ херувимъ,
Промчится вихремъ надъ землей. Убійство
Возстанетъ призракомъ передъ глазами
И выжметъ слезы изъ очей народа.

Вотъ перечень всѣхъ статей кодекса, всѣхъ „долженъ“ и „не могу“, въ силу которыхъ Макбетъ не имѣетъ права

убивать Дункана, вотъ предѣлы, поставленные категорическимъ императивомъ убійцѣ. Нельзя убивать Дункана, ибо онъ родной, король и гость, ибо онъ доблестно правилъ. Выходящему за эти предѣлы грозитъ страшное наказаніе. При Петрѣ Великомъ казнили смертью за порубку корабельнаго лѣса. При Макбетѣ категорическій императивъ такъ же безжалостно преслѣдовалъ перечисленныя выше нарушенія своихъ постановленій. Для Макбета — Дунканъ не больше, чѣмъ мачтовое дерево для русскаго мужика. И вдругъ эта ничтожность оказывается такъ строго охраненной. Пусть будетъ отмѣненъ законъ, казнящій за убійство короля, родного и т. д., пусть все сведется къ „одному удару“, т.-е. къ смерти Дункана, и Макбетъ не задумается, какъ не задумывался мужикъ до Петра Великаго рубить мачтовыя деревья въ лѣсу. Но теперь — Макбету страшно:

И что влечетъ меня? Желанье славы?
Какъ ярый конь, поднявшись на дыбы,
Оно обрушится, и я задавленъ.

Макбетъ будетъ задавленъ. Нѣтъ—хуже, чѣмъ задавленъ. Земной юстиціи никогда не придумать тѣхъ пытокъ, которыя создаются совѣстью. Палачъ — человѣкъ. Онъ и самъ устаетъ пытать и принужденъ дать отдыхъ своей жертвѣ. Категорическій императивъ не знаетъ усталости и ни на минуту не даетъ покоя преступнику. Макбетъ слишкомъ хорошо это чувствуетъ. Онъ молитъ свою леди оставить планъ убійства. Но она лишь стыдитъ его, называетъ его трусомъ:

Ты на желанья смѣлъ,
На дѣло—нѣтъ. Иль ты бы согласился
Носить вѣнецъ—красу и славу жизни—
И труса сознавать въ себѣ? Сказать
„Хочу“ и вслѣдъ за тѣмъ „не смѣю“?

Леди Макбетъ и не подозрѣваетъ, куда ведетъ она своего тана. Она знаетъ, что есть „хочу“ и „смѣю“, знаетъ,

что не умѣть соединить эти два слова, значитъ быть трусомъ. И она — права. Макбетъ только труситъ; но его трусость простительна: этого она не знаетъ. Тѣхъ пытокъ, которыя грозятъ ему, не можетъ никто вынести. Это не часъ, не день мукъ: это вся жизнь будетъ отравлена. Макбетъ слишкомъ хорошо знаетъ, что ждетъ его. „Замолчи!“ восклицаетъ онъ съ ужасомъ—

На все, что можетъ человѣкъ, готовъ я,
Кто можетъ больше, тотъ не человѣкъ, а звѣрь.

Эти слова для всѣхъ, кромѣ леди Макбетъ, прозвучали бы, какъ проклятіе. Но она ничего, кромѣ короны, предъ собой не видитъ, и въ ней опасенія мужа вызываютъ лишь презрѣніе. Ея отвѣтъ, какъ и все дальнѣйшее поведеніе ея, свидѣтельствуетъ лишь о томъ, что все, кромѣ стремленія къ власти, умерло въ ней. Она ничего не боится—такъ не боится, какъ люди, сохранившіе способность чувствовать и понимать, не бояться не могутъ:

Кормила я и знаю,
Какъ дорого для матери дитя;
Но я безъ жалости отторгла-бъ грудь
Отъ нѣжныхъ, улыбающихся губокъ
И черепъ бы малютки раздробила,
Когда-бъ клялась, какъ клялся ты.

Эти страшныя заклинанія, которыхъ сознательно не произнесла бы ни одна женщина въ мірѣ, дѣйствуютъ на Макбета. Онъ весь уже во власти жены. Послѣдняя попытка вырваться уже сдѣлана. „Ужасный часъ. Но все равно—мы станемъ улыбаться“, восклицаетъ онъ. Однако призракъ суда и наказанія не исчезаетъ изъ его души. Но онъ готовъ на все; даже судьбу готовъ вызвать онъ на бой. Огонь, пылавшій въ крови его жены, сдѣлалъ его мужемъ, который можетъ больше, чѣмъ человѣкъ. Онъ идетъ противъ самаго страшнаго врага и ни на минуту не забываетъ объ опасности. Предъ моментомъ убійства его воображенію пред-

ставляется окровавленный кинжалъ, роковое видѣніе, символизирующее все настроеніе Макбета. Ему, который никогда ничего не боялся, который ударялъ на враговъ, какъ залпъ орудій, который въ сраженіяхъ рвался омыться въ дымящейся крови—ему теперь кровавый замыселъ морочитъ зрѣнье. Грозное „не убей“ сулитъ ему за ослушаніе ужаснѣйшимъ проклятьемъ, отлученіемъ отъ міра и людей. Онъ говоритъ:

Полміра спитъ теперь; но сонъ тревоженъ:
Его видѣнья посѣтили злыя.
Теперь слетаются на праздникъ вѣдьмы,
Убійца всталъ, услыша волчій вой,
И къ жертвѣ крадется, какъ привидѣнье.
Не вслушивайся, прочная земля,
Куда сведутъ шаги мои меня,
Не то и камень, завопивъ, прогонитъ
Безмолвный ужасъ темноты; а онъ
Мнѣ добрый другъ теперь. Я угрожаю.
А онъ живетъ. Съ словами исчезаетъ
Весь страсти пылъ—и дѣло умираетъ.

О большей власти надъ человѣкомъ категорическій императивъ не можетъ и мечтать. Макбетъ все знаетъ. Знаетъ, что и камни станутъ на сторону его судьи. И что ему одному придется итти противъ всего живого и мертваго міра. И тѣмъ не менѣе власть жены оказывается сильнѣе. Когда Макбетъ слышитъ ея звонокъ, онъ покорно произноситъ:

Иду—и кончено! Чу! колоколъ зоветъ.
Не вслушивайся въ звонъ его, Дунканъ,
Онъ въ небо или въ адъ тебя зоветъ.

XXXI.

Звонокъ все рѣшилъ. Макбетъ, герой, благородный, „истинно великій человѣкъ“, любимецъ короля и народа, становится преступникомъ. На одинъ моментъ, только на одинъ моментъ онъ повинуется не категорическому импе-

ративу, а своей леди, и душа его становится „черной, какъ адъ“. Онъ уже не герой—а злодѣй. Если бы леди Макбетъ была менѣе повелительна въ своей слѣпой страсти, Макбетъ носилъ бы золотое мнѣніе народа до конца жизни. Если бы у Макбета чуточку хватило силы еще сопротивляться внушеніямъ жены—онъ остался бы попрежнему благороднымъ тапомъ. Но этого не случилось: у Макбета не хватило силы, звонокъ жены оказался властнѣе, чѣмъ голосъ императива. И человѣкъ — сталъ преступникомъ, отверженнымъ существомъ, при жизни отданнымъ во власть злымъ демонамъ, которые тотчасъ же съ дикимъ хохотомъ начинаютъ свою адскую расправу. Дунканъ пересталъ быть человѣкомъ и сталъ трупомъ, добычей червей; съ Макбетомъ произошла еще болѣе ужасная метаморфоза—онъ пересталъ быть человѣкомъ и сталъ убійцей, добычей категорическаго императива. И все сдѣлалъ „одинъ ударъ“. Мы видѣли, что Макбетъ только на одно мгновеніе измѣнилъ своимъ вѣрноподданническимъ обязанностямъ по отношенію къ императиву, что, занося руку надъ Дунканомъ, онъ обращалъ свои взоры къ императиву, признавая всѣ его права священными и моля себѣ разрѣшенія только одинъ разъ быть свободнымъ, поступить по-своему. Но императивъ молчалъ въ своемъ холодномъ величіи. Это значило: выбирай между моимъ гнѣвомъ и презрѣніемъ жены. Больше императивъ ничего не сказалъ Макбету, какъ суровая строчка изъ свода законовъ. Макбетъ послушался жены, и императивъ автоматически подписалъ свой страшный приговоръ.

Макбетъ преданъ анаѳемѣ! И какой страшной анаѳемѣ!

Когда Макбетъ разсказываетъ женѣ своей о томъ, что происходило съ нимъ, когда онъ находился въ комнатѣ Дункана, мы забываемъ объ убитомъ, и все наше сочувствіе—на сторонѣ убійцы. Дунканъ уже мертвъ: его постигла участь, которой не избѣгнетъ ни одинъ изъ людей. Но Макбетъ живъ, и у него отнято право молиться, надежда на милосердіе Бога. Онъ проклятъ навсегда:

Я былъ не въ силахъ
Сказать „аминь, когда“ они молились:
„Помилуй Господи!“

говоритъ онъ женѣ. Та все еще не понимаетъ, что творится въ душѣ Макбета, въ какія безжалостныя руки попалъ несчастный танъ, и спрашиваетъ лишь: „къ чему такъ мрачно?“ Онъ отвѣчаетъ:

Зачѣмъ не могъ я произнесть аминь?
Я такъ нуждался въ милосердьи Бога,
Аминь же замеръ на моихъ губахъ.

И леди Макбетъ становится на мгновеніе страшно, хотя она далека еще отъ того, чтобы постигнуть муки своего мужа. „На это нечего смотрѣть!“ говоритъ она „пожалуй, не долго и съ ума сойти“. Но Макбетъ не слушаетъ ее и продолжаетъ свой страшный разсказъ:

Я слышалъ—
Раздался страшный вопль: „не спите больше!
Макбетъ зарѣзалъ сонъ, невинный сонъ,
Зарѣзалъ искупителя заботъ,
Бальзамъ цѣлебный для больной души,
Великаго союзника природы,
Хозяина на жизненномъ пиру!“
По сводамъ замка
Неумолкаемый носился вопль:
„Гламисъ зарѣзалъ сонъ: з а т о отнынѣ
Не будетъ спать его убійца, Кавдоръ,
Не будетъ спать его убійца, Макбетъ“.

Вотъ какъ расправляется категорическій императивъ: Макбетъ не будетъ спать, не будетъ молиться.

Ему страшно вспомнить о томъ, что онъ сдѣлалъ. Леди Макбетъ предлагаетъ мужу снова пойти въ комнату къ Дункану, чтобъ отнести назадъ кинжалъ и обрызгать кровью спящихъ сторожей. Онъ отвѣчаетъ: „я не смѣю думать о томъ, что сдѣлалъ“, и, когда она уходитъ, говоритъ:

Какія руки! О, онѣ готовы
Мнѣ вырвать зрѣніе! А эту кровь
Не смоетъ съ рукъ весь океанъ Нептуна.
Нѣтъ, нѣтъ! Скорѣй отъ этихъ рукъ
Въ моряхъ безчисленныхъ заплещутъ волны,
Какъ кровь, багровыя...

Слыша стукъ, Макбетъ восклицаетъ:

Сознавать убійство—
Мнѣ лучше бы не сознавать себя! (опять стучатъ)
Когда-бъ ты могъ Дункана пробудить!

Но Дункана ничто не пробудитъ, а Макбетъ не будетъ молиться, не будетъ спать. Молитва, милосердіе Бога, въ которомъ онъ такъ нуждался, сонъ, цѣлебный бальзамъ,— все это навсегда у него отнято.

За то, что онъ одинъ разъ ослушался категорическаго императива: убилъ, когда императивъ не велѣлъ убивать.

Произошло убійство, которое для Макбета ужасно не потому, что умеръ Дунканъ, а потому, что онъ убитъ безъ надлежащаго разрѣшенія. Макбетъ печалится не о преждевременно погибшемъ королѣ, а о своихъ рукахъ, съ которыхъ весь океанъ не смоетъ крови. Такъ учитъ и требуетъ категорическій императивъ: не убивай, не потому, что Дунканъ умретъ, а потому, что ты, Макбетъ будешь убійцей, т. е. будешь преданъ анаѳемѣ. А чѣмъ быть преданнымъ анаѳемѣ, т. е. сознавать себя убійцей—л у ч ш е тебѣ не сознавать себя. Если бы Дунканъ вмѣстѣ со своими сыновьями умерли естественной смертью, Макбетъ отъ всей души радовался бы, „ч е с т н о“ сорвалъ бы банкъ, сталъ бы королемъ и до конца дней своихъ молился бы и спалъ. Категорическій императивъ былъ бы вполнѣ удовлетворенъ послушаніемъ вѣрнаго раба своего и не отнялъ бы у него ни душевнаго покоя, ни золотого имени. Его правило—не убивай ближняго не потому!, что этотъ ближній умретъ, а потому, что ты будешь убійцей; убійцѣ же кромѣ юридической отвѣтственности еще грозитъ и нравственная. Законы безсильны для тебя, но тебѣ ото-

мститъ категорическій императивъ. Надъ Яго безсильны категорическіе императивы, но его свяжутъ служители юстиціи. А бываетъ и такъ, что связанному городовыми преступнику и императивъ, въ свою очередь, подноситъ чашу съ ядомъ. Духовная полиція, какъ и государственные суды: умѣетъ только грозить и казнить—тѣхъ, кто попадетъ въ ея руки.

И, разъ овладѣвши добычей, она уже не прощаетъ ей. Если бы Яго вырвался изъ рукъ своихъ палачей и бѣжалъ бы въ надежное мѣсто, юстиція бы бездѣйствовала. Когда донъ-Жуанъ выгналъ изъ своей души внутреннихъ „приказныхъ“, онъ могъ безнаказанно дѣлать, что ему угодно, какъ и Шекспировскій Эдмундъ (въ „королѣ Лирѣ“), который стоялъ и надъ законами, и надъ императивами.

Такова сущность категорическаго императива. Подобно юридическимъ нормамъ, онъ грозенъ лишь своей санкціей. Онъ—внутренняя полиція, соотвѣтствующая полиціи государственной. Отъ человѣка онъ, совсѣмъ какъ сводъ законовъ, требуетъ только повиновенія. Ослушниковъ казнитъ безъ пощады, послушныхъ награждаетъ. Объясненій онъ не даетъ никакихъ, кромѣ ссылки на свои законы. Казнитъ лишь тѣхъ, кто ему подвластенъ.

Леди Макбетъ говоритъ, что, если бы Дунканъ во снѣ не былъ такъ похожъ на ея отца, она сама бы его убила. Что ее останавливаетъ? Очевидно—не категорическій императивъ, ибо онъ не запрещаетъ убивать людей, похожихъ на отца. Но это сходство могло бы спасти Дункана, если бы леди Макбетъ, одна, безъ мужа, затѣяла убійство. Она не убила бы Дункана, какъ не убила бы своего отца. И онъ оказался бы охраненнымъ чѣмъ-то инымъ, чѣмъ угрозы нравственной анаѳемы.

Съ отцомъ леди Макбетъ была связана не долгомъ, не приказаніемъ внѣшней силы. Если бы ея отецъ умеръ отъ чужой руки, она бы нашла въ своей душѣ слезы, чтобы оплакивать его. И одно событіе смерти отца безъ сознанія

своей вины, было бы большимъ горемъ для этой суровой женщины.

Смерть близкаго намъ человѣка мы оплакиваемъ, какъ свое несчастіе. Мы сами желаемъ жить и, если дорогое намъ существо умираетъ, мы жалѣемъ о его безвременной кончинѣ. Категорическій императивъ, полиція и судъ не вмѣшиваются въ это дѣло. Для того же, чтобы желать пробужденія Дункана, необходимо вмѣшательство цѣлаго ряда повелителей. Если бы руки Макбета не были обагрены кровью короля, онъ испугался бы и мысли о его пробужденіи. Такъ изображенъ категорическій императивъ у Шекспира, для котораго ясны были смыслъ и значеніе явленій нашей духовной жизни. Вдумайтесь только въ эти слова: Макбетъ не рѣшается убить Дункана, не изъ-за Дункана, а чтобъ не нарушать покоя своей души. Макбетъ, убивши Дункана, скорбитъ не о Дунканѣ, а о себѣ, о потерянномъ душевномъ мирѣ. У Канта именно это обстоятельство служитъ къ возвеличенію категорическаго императива. Это голосъ „разума“ an sich, существующаго единственно затѣмъ, чтобы противоставлять свои велѣнія Макбетовскимъ желаніямъ. „Разумъ“ не говоритъ Макбету: Дунканъ такой же человѣкъ, какъ ты. Ты хочешь жить, и онъ хочетъ жить—такъ зачѣмъ же ты убьешь его? Разумъ грозитъ: „не убивай ближняго, ибо ты будешь убійцей“. Едва-ли во всей человѣческой психикѣ можно найти что-либо, болѣе обидное для достоинства человѣка, чѣмъ эта кантовская „совѣсть“. Не убивай не изъ-за жертвы, а изъ-за предстоящихъ тебѣ непріятностей съ категорическими императивами! Здѣсь все: и глубокій человѣческій эгоизмъ, и слабость, и трусость.

Макбета, пожалуй, иначе нельзя было заставить думать о Дунканѣ, какъ пригрозивъ, что и самъ онъ окажется несчастнымъ, если Дунканъ будетъ имъ убитъ. Для Макбета, какъ мы говорили, Дунканъ—то же, что для русскаго мужика мачтовое дерево. Пока не было категорическаго императива—онъ, не задумываясь, рубилъ го-

ловы; пока Петръ не издалъ своихъ законовъ—мужики истребляли корабельный лѣсъ. И въ этомъ смыслѣ категорическіе императивы сыграли свою роль въ исторіи человѣчества въ такой же мѣрѣ, какъ законы Петра въ исторіи лѣсовъ. Много головъ, много мачтъ уцѣлѣло. Кантъ возвелъ въ теорію практическую мораль Макбета. У него категорическіе императивы существуютъ не для Дунковъ, а для Макбетовъ, т. е. законы Петра не для корабельныхъ лѣсовъ, а для мужиковъ. Макбеты, предаваемые анаѳемѣ, такъ и думали; мужики, которыхъ казнили, тоже представляли себѣ все дѣло именно такимъ. Отсюда выходило, что убійство страшно не потому, что умретъ одинъ человѣкъ, а гораздо больше потому, что другой человѣкъ окажется „преступникомъ“, что „преступленіе“ есть нѣчто an sich ужасное, обращающее прежде бѣлую душу—въ черную душу. Мы слѣдили все время за Макбетомъ. Ни слова о Дунканѣ мы не слышали. Убійца все время велъ переговоры съ категорическими императивами, размышлялъ о тѣхъ послѣдствіяхъ, которыя принесетъ ему, а не Дункану, кровавый поступокъ. О ближнемъ Макбетъ не думалъ, онъ совершенно исчезъ въ глазахъ Макбета и замѣнился собственной совѣстью; ради нея, а не ради Дункана готовъ несчастный танъ отказаться отъ короны. Если бы у Макбета, какъ у Яго, совѣсть была болѣе ручной или, если бы онъ, какъ донъ-Жуанъ, владѣлъ искусствомъ укрощать эту тигрицу—трагедіи не было бы. Онъ не задумался бы убить Дункана, ибо это значило только нанести „одинъ ударъ“. Но теперь дѣло иное. Макбетъ самъ убѣжденъ, что ослушники категорическихъ императивовъ—уже не люди, а преступники. И послѣ того, когда онъ наноситъ свой ударъ—все кончилось для него самого въ жизни. Не Дунканъ умеръ, а Макбетъ погибъ.

XXXII.

Теперь предъ нами уже Макбетъ—преступникъ, Макбетъ, принадлежащій къ „категоріи“ не такихъ людей, какъ мы. Дункана пробудить нельзя, слѣдовательно, Макбету нѣтъ возврата къ прежнему. И тутъ только разыгрывается настоящая борьба живого человѣка съ отвлеченнымъ понятіемъ. Преступникъ, точно дикій звѣрь, окруженный охотниками, чувствуетъ, что пощады ему нечего ждать. Категорическіе императивы ищутъ не просвѣтить, а погубить его. О Дунканѣ, о всѣхъ людяхъ, живущихъ на свѣтѣ, Макбетъ уже и не думаетъ. Онъ борется лишь съ императивомъ, съ этой фикціей, пріобрѣвшей надъ нимъ столь роковую власть. Лицомъ къ лицу со своимъ вѣчнымъ врагомъ, Макбетъ чувствуетъ, что только сила можетъ помочь ему. Онъ убилъ Дункана и „погубилъ“ уже себя безвозвратно. Онъ сталъ звѣремъ—противъ котораго все и всѣ. И это „все“ и „всѣ“ отнынѣ возбуждаютъ въ немъ лишь одну ненависть. Его хотятъ затравить—но онъ еще поборется, помѣряется силами: все равно его уже не пощадятъ. Онъ сталъ королемъ, но что изъ этого? Ему приходится попрежнему въ безсильной злобѣ дрожать за жизнь, ѣсть со страхомъ свой хлѣбъ, и спать подъ гнетомъ мрачныхъ сновъ. И скипетръ его достанется не его дѣтямъ, а потомкамъ Банко. Зачѣмъ же онъ совершилъ преступленіе? Онъ говоритъ:

Такъ для потомковъ Банко
Я душу осквернилъ? Для нихъ зарѣзалъ
Дункана благодатнаго? Для нихъ
Я чашу мира отравилъ, и продалъ
Мой вѣчный духъ врагу людского рода?
Чтобъ ихъ вѣнчать, вѣнчать потомковъ Банко?
Нѣтъ, этому не быть! Тебя зову я,
Судьба, на смертный поединокъ!

Вотъ какимъ языкомъ заговорилъ Макбетъ: это говоритъ человѣкъ, которому уже нечего терять. Духъ его проданъ врагу людского рода, чаша мира отравлена. Гро-

мозди преступленіе на преступленіе: хуже не будетъ тебѣ. Рѣжь, жги людей: духъ твой все равно осужденъ, душевный миръ къ тебѣ не вернется. Все равно нужно дожить остатокъ дней и умереть отверженнымъ. Отсюда и смѣлость Макбета, смѣлость отчаянія: онъ зоветъ на поединокъ судьбу. На первое убійство онъ рѣшается лишь послѣ долгихъ колебаній и лишь подъ непосредственнымъ вліяніемъ жены. Ему и думать было страшно о борьбѣ съ категорическимъ императивомъ. А теперь слово „страшно“ для него уже почти не существуетъ. Все страшное уже позади его. И онъ подговариваетъ убійцъ зарѣзать Банко и Флинса. Но замыселъ его удается лишь въ половину: Банко убитъ, Флинсъ—бѣжалъ. Эту вѣсть приносятъ Макбету въ то время, когда онъ пируетъ со своими придворными. Сначала она радуетъ его. Но не надолго. Нужно еще разсчитаться съ категорическимъ императивомъ, который тутъ же начинаетъ свои кровавыя шутки. Макбетъ тверло подходитъ къ пирующимъ и говоритъ:

Будь съ нами здѣсь нашъ благородный Банко,
Здѣсь былъ бы собранъ королевства цвѣтъ.
Дай Богъ, чтобъ съ нимъ чего бы не случилось!
Мы лучше пожуримъ его за лѣнь.

Въ это время является духъ Банко и занимаетъ мѣсто Макбета: категорическій императивъ подноситъ убійцѣ его же чашу съ ядомъ. Макбетъ такъ теряется, что пытается прибѣгнуть къ формальному оправданію, „ты не можешь сказать, что я это сдѣлалъ, не кивай мнѣ своей окровавленной головой“, говоритъ онъ. Гости смущаются. Леди Макбетъ пытается ихъ успокоить и обращается къ мужу съ упрекомъ. „И ты мужчина?“ говоритъ ему она. „Да“, отвѣчаетъ онъ.—

И смѣлый: я могъ смотрѣть на то,
Предъ чѣмъ самъ дьяволъ поблѣднѣлъ бы.

Леди духа не видитъ и все продолжаетъ пенять мужу, страхъ котораго ей кажется ребяческимъ:

Какъ искажаешь ты лицо?
И изъ чего? Что испугало? Стулъ?

Леди Макбетъ не знаетъ, что земля отвергла своихъ мертвецовъ, и могилы шлютъ ихъ обратно къ живымъ людямъ, и продолжаетъ корить своего мужа. Духъ исчезаетъ, и Макбетъ говоритъ:

Кровь проливали
Уже давно, когда еще законъ
Не охранялъ общественнаго мира,
Да и потомъ убійства совершались.
О нихъ и слышать тяжело; но встарь,
Когда изъ черепа былъ выбитъ мозгъ,
Со смертью смертнаго кончалось все.
Теперь—встаютъ они, хоть двадцать разъ
Разсѣкли голову, и занимаютъ
Мѣста живыхъ—вотъ что непостижимо,
Непостижимѣе цареубійства.

Макбетъ не понимаетъ, зачѣмъ его врагамъ дана двойная сила: при жизни защищаться оружіемъ, а послѣ смерти являться къ нему въ столь страшномъ видѣ. И тѣмъ не менѣе онъ снова овладѣваетъ собою, требуетъ себѣ вина и съ дерзостью, почти невѣроятной, произноситъ тостъ за здоровье Банко. Отвѣтомъ на это служитъ новое явленіе духа. Несчастный король въ ужасѣ. Онъ готовъ на все, что можетъ человѣкъ. Онъ готовъ биться съ разъяреннымъ львомъ, тигромъ—и не дрогнетъ отъ вида такихъ противниковъ. Но эта ужасная тѣнь—противъ нея онъ ничего не умѣетъ предпринять. Когда духъ Банко исчезаетъ, Макбетъ снова мужъ. Но общее веселье уже смущено. Гости расходятся и оставляютъ супруговъ наединѣ съ ихъ роковой тайной. И Макбетъ не только не думаетъ прекратить свои злодѣйства, но, наоборотъ, затѣваетъ новыя:

Я такъ глубоко погрузился въ кровь,
Что все равно не стоитъ возвращаться...
Плыви впередъ...

Не стоитъ возвращаться! Это отвѣтъ Макбета категорическому императиву. Все равно онъ уже въ опалѣ: итти назадъ не легче, чѣмъ итти впередъ. Иначе, Макбетъ отвѣтить не могъ. Дѣло идетъ не о Банко, Макдуффѣ и т. д., а объ улаженіи отношеній между Макбетомъ и „совѣстью“. Разъ это невозможно, разъ „сонъ, отрада всѣхъ существъ“ все равно уже не будетъ возвращенъ преступнику, то чего же и хлопотать о чемъ-либо иномъ, кромѣ непосредственной безопасности? Можно „всѣмъ пожертвовать для своей пользы“: категорическій императивъ оказывается деспотомъ, который ищетъ, чтобъ его боялись, а не любили, и Макбетъ попытается свергнуть съ себя ненавистное иго. И отнынѣ предъ нами не Макбетъ убійца, а Макбетъ герой. Жертвы, падающія подъ его ножомъ, лишь увеличиваютъ ряды его враговъ. Чѣмъ больше ударовъ наноситъ онъ категорическому императиву, тѣмъ сильнѣе становится его безплотный противникъ, который еще меньше думаетъ о прощеніи и умиротвореніи, чѣмъ самъ Макбетъ. Императиву нужно только затравить свою добычу. И, увѣренный въ побѣдѣ, онъ, чтобъ продолжить забаву, самъ даетъ еще Макбету на минуту новыя надежды. Вѣдьмы разсказываютъ несчастному королю, что пока Бирнамскій лѣсъ не двинется къ Донзинану—онъ будетъ непобѣдимъ, и что рожденному женщиной не дано убить его.

Развѣ это не залогъ успѣха и побѣды? Развѣ это не поощреніе къ борьбѣ? И Макбетъ съ новыми силами устремляется на своего противника. Жертвамъ его нѣтъ счета, но Макбетъ о нихъ совсѣмъ и не вспоминаетъ иначе, какъ о новыхъ врагахъ своихъ. Отъ него бѣгутъ всѣ таны, Малькольмъ грозитъ ему войной. Макбетъ въ отвѣтъ на это только укрѣпляется и губитъ тѣхъ, кто попадается ему въ руки. По его повелѣнію зарѣзана вся семья бѣжавшаго

Макдуффа. Шотландія обращена въ несчастную страну, гдѣ не встрѣтишь улыбки, гдѣ никто не обращаетъ вниманія на стоны и вопли, ставшіе обычнымъ явленіемъ, гдѣ при звукахъ похороннаго колокола не спрашиваютъ даже, кто умеръ. Благородный танъ сталъ страшнымъ убійцей, коварнымъ извергомъ, безсердечнымъ злодѣемъ, незнающимъ себѣ равнаго. Макдуффъ, Россе, Малькольмъ—всѣ шотландцы не знаютъ словъ для выраженія своей ненависти къ „адскому коршуну“. Макдуффу мало убить Макбета, чтобъ насытить свое мщеніе, и онъ восклицаетъ: „злодѣй бездѣтенъ!“. Да если бы у Макбета и были дѣти—то смерть ихъ не удовлетворила бы Макдуффа. А „злодѣй“, запершись передъ битвою въ своемъ замкѣ говоритъ:

Мнѣ тѣснитъ въ груди,
Когда подумаю, что битва эта разомъ
Покончитъ все: убьетъ или излѣчитъ.
Довольно долго пожилъ я; мой май
Промчался быстро; желтыми листами
Опалъ моей весны увядшій цвѣтъ.
Но гдѣ же спутники преклонныхъ лѣтъ?
Любовь, почтеніе, кружокъ друзей—
Ихъ мнѣ не ждать; на мѣсто ихъ—проклятье
На днѣ сердецъ—и лесть на языкѣ.
Ихъ жалкій родъ и въ ней бы отказалъ мнѣ,
Когда бы смѣлъ.

Вотъ, что думаетъ волкъ, когда мы слышимъ лишь щелканіе его зубовъ, видимъ горящіе глаза и ощетинившуюся шерсть приготовившагося къ послѣдней отчаянной борьбѣ хищника, и вспоминаемъ лишь о томъ, сколько людей пало его жертвами. Онъ думаетъ о любви, почтеніи, друзьяхъ. Онъ, который никого не любилъ, никого не почиталъ, никому не былъ другомъ съ тѣхъ поръ, какъ „одинъ ударъ“ оторвалъ его отъ всѣхъ людей и обратилъ его нѣкогда бѣлую душу въ черную. Онъ не хочетъ проклятій и презираетъ лесть. Онъ хищникъ, которому, по общему убѣжденію, только нужна кровавая пища для утоленія его ненасытной алчности

и внѣшній почетъ, коренящійся въ страхѣ! Тотъ, кто умѣетъ хотѣть себѣ любви и дружбы, тотъ умѣетъ любить и быть другомъ, ибо любовь и дружба чувства взаимныя. Но съ тѣхъ поръ, какъ онъ почувствовалъ себя злодѣемъ, съ того момента, когда аминь замеръ на его устахъ, хотя онъ такъ нуждался въ милосердіи Бога, Макбетъ не смѣетъ уже мечтать о томъ, чтобъ стать человѣкомъ. Не только враги его—онъ самъ чувствуетъ себя волкомъ, созданнымъ лишь для того, чтобы его травили. Для него самого, какъ и для всѣхъ, убійство есть не только дѣйствіе, принесшее съ собой несчастіе—смерть жертвы, но еще и преступленіе, роковымъ, неизбѣжнымъ образомъ изуродовавшее душу убійцы. Макбетъ самъ считаетъ себя преданнымъ врагу людского рода, осужденнымъ навсегда, преступникомъ an sich, говоря языкомъ Канта. Если бы на минуту онъ могъ забыть о своихъ окровавленныхъ рукахъ, если бы тѣнь Банко не являлась къ нему, какъ грозный образъ сверхъестественнаго мстителя, вырвавшагося изъ могилы, если бы категорическій императивъ, какъ безжалостный палачъ, не преслѣдовалъ его съ такой безпощадностью своими утонченными пытками—у Макбета никогда не явилось бы безумной мысли итти впередъ по кровавому пути, единственно потому, что онъ уже и безъ того слишкомъ погрузился въ кровь. Стоны и вопли жертвъ не были бы для него проклятіями, назначенными погубить его, не казались бы ему побѣднымъ крикомъ заранѣе торжествующаго врага; въ нихъ онъ умѣлъ бы видѣть лишь выраженіе страданій такихъ же, какъ и онъ, людей. Теперь же, чѣмъ болѣе его проклинаютъ, тѣмъ больше растетъ его ожесточеніе. Онъ—отверженный, ему нѣтъ возврата. Никто—ни Богъ, ни люди—ни о чемъ не помышляютъ, кромѣ того, чтобы погубить въ страшныхъ мученіяхъ его одинокую душу Всѣ враги,—безпощадные, неумолимые. И месть вызываетъ месть. Защищенный пророчествомъ вѣдьмъ, Макбетъ рѣшается продать, какъ можно дороже, свою жизнь. Онъ позабылъ, что такое страхъ. Прежде, при крикѣ совъ, отъ ужасныхъ сказокъ у него на головѣ

вставали дыбомъ волоса, какъ будто въ нихъ дышала жизнь. Теперь онъ уже ничего не боится:

Я сытъ:
Всѣхъ ужасовъ полна моя душа—
И трепетать я не могу.

Когда онъ произноситъ эти слова, ему докладываютъ о смерти его жены. Онъ говоритъ:

Она могла бы умереть и позже:
Всегда-бъ притти успѣла эта вѣсть.
Да, завтра, завтра и все то же завтра
Скользитъ невидимо со дня на день
И по складамъ отсчитываетъ время;
А всѣ вчера глупцамъ лишь озаряли
Дорогу въ гробъ. Такъ догорай, огарокъ!
Что,—жизнь? Тѣнь мимолетная, фигляръ,
Неистово шумящій на подмосткахъ
И черезъ часъ забытый всѣми; сказка
Въ устахъ глупца, богатая словами
И звономъ фразъ, и нищая значеньемъ.

Судьба продолжаетъ издѣваться надъ „преступникомъ", который давно уже не чувствуетъ ея ударовъ и почти механически реагируетъ на все, происходящее вокругъ него. Только удалился Сейтонъ, возвѣстившій королю о смерти леди Макбетъ, какъ входитъ стоявшій на часахъ солдатъ и передаетъ, что Бирнамскій лѣсъ двинулся къ Донзинану. Макбетъ бьетъ его: вѣдь нужно еще чѣмъ-нибудь отвѣтить на эту новую насмѣшку судьбы. Но тутъ же онъ говоритъ:

Послушай: если ты солгалъ—живому
На первомъ деревѣ тебѣ висѣть,
Пока отъ голода ты не изсохнешь!
Но если правду ты сказалъ, тогда—
Мнѣ все равно—повѣсь меня, пожалуй.

И тѣмъ не менѣе, отъ битвы Макбетъ не отказывается даже тогда, когда Макдуффъ разбиваетъ послѣдній оплотъ

его надеждъ, разсказавъ, что онъ не рожденъ женщиной, а вырѣзанъ изъ чрева. Макбетъ вступаетъ въ послѣдній, отчаянный бой—и падаетъ отъ меча своего противника.

Такъ жилъ и умеръ „злодѣй“. Таковъ ослушникъ категорическаго императива, преступникъ. У Канта это прежде всего не такой человѣкъ, какъ мы, рѣдкій звѣрь, котораго онъ, вмѣстѣ съ Макдуффомъ, готовъ выставить въ клѣткѣ на потѣху народу. У Шекспира—это человѣкъ, нанесшій „одинъ ударъ“ и пошедшій впередъ по кровавому пути лишь потому, что категорическій императивъ помѣшалъ ему вернуться назадъ. У Канта преступникъ „хочетъ быть дурнымъ“, у Шекспира преступникъ хочетъ жить и, не умѣя примирить запросовъ своей души съ требованіями другихъ людей, вступаетъ на тотъ путь, который мы называемъ „злодѣйскимъ“. Канту преступники, отверженные люди не мѣшали, и онъ ограничился тѣмъ, что сдѣлалъ изъ нихъ „категорію“. Ему и въ голову не пришло спросить у Неба оправданія за этихъ несчастныхъ. Его вполнѣ удовлетворяло сознаніе собственной душевной чистоты; ему не нужно было ничего, кромѣ системы. Шекспиръ же искалъ иного. Онъ не могъ чувствовать себя правдивымъ, лучшимъ, правымъ въ то время, какъ другіе, такіе же, какъ и онъ, люди, были, дурными, неправыми, преступными. Для Канта—Макбетъ чужой человѣкъ, камень на пути къ системѣ, и онъ съ такимъ же спокойствіемъ сбросилъ его, съ какимъ Яго уничтожалъ свои жертвы. У философа не было даже тѣхъ колебаній, какія были у Макбета, прежде чѣмъ онъ рѣшился нанести ударъ Дункану. Ибо категорическій императивъ запрещаетъ только рѣзать людей, а предавать ихъ нравственной анаѳемѣ не запрещаетъ. Да, для Канта люди не были людьми, а понятіями, къ которымъ онъ относился по извѣстнымъ правиламъ. Преступленіе для него было лишь тѣмъ явленіемъ, которому нужно отыскать предикаты, достаточно опредѣленные и точные. При отысканіи предикатовъ пришлось отвергнуть ближняго—но философъ этого даже не замѣтилъ. У Шекспира же рѣчь идетъ не

о преступленіи, которое нужно опредѣлить, а о преступникѣ, котораго нужно понять, которому нужно вернуть образъ и подобіе Божіе. Поэтому-то Кантъ противъ Макбета, а Шекспиръ съ Макбетомъ. Поэтому-то Кантъ вводитъ въ жизнь „miaron“, а Шекспиръ это miaron уничтожаетъ. Кантъ философскими словами повторилъ то, что говорятъ всѣ, Кантъ возвелъ въ систему общепринятый предразсудокъ о черной душѣ преступника, о категорическомъ императивѣ, который казнитъ своихъ ослушниковъ, о нравственности, которая противоположна всѣмъ человѣческимъ стремленіямъ. Шекспиръ сказалъ иное: категорическій императивъ есть лишь регуляторъ человѣческихъ поступковъ, его роль—чисто внѣшняя; его сила полезна въ томъ смыслѣ, въ какомъ полезна бдительность предупреждающихъ и пресѣкающихъ преступленія органовъ полиціи. Область нравственности начинается лишь тамъ, гдѣ кончается категорическій императивъ,—всякое принужденіе, хотя бы внутреннее. Власть и безсиліе императива надъ людьми представляетъ большой интересъ лишь съ практической точки зрѣнія, обезпечивая обществу порядокъ и безопасность. Но нравственная высота человѣка измѣряется не его готовностью повиноваться правиламъ, а способностью чувствовать въ ближнемъ себя самого, способностью чувствовать, что Дунканъ похожъ на его отца. Здѣсь не можетъ быть и рѣчи о томъ, что одинъ человѣкъ „хочетъ быть дурнымъ“, а другой „хочетъ быть хорошимъ“. Все сводится лишь къ тому, на сколько человѣкъ можетъ быть хорошимъ, ибо никто не желаетъ быть дурнымъ, преступнымъ, какъ утверждаютъ философы, изобрѣвшіе непостижимый „постулатъ свободы воли“ спеціально для того, чтобы прославлять собственныя добродѣтели и отлучать отъ Бога всѣхъ, иначе, чѣмъ они, чувствующихъ. Свобода воли, получающая свое выраженіе въ желаніи быть преступнымъ и дурнымъ! Можно ли придумать что-либо болѣе противорѣчащее самому себѣ, чѣмъ такое положеніе? А межъ

тѣмъ, едва-ли существуетъ предразсудокъ, отъ котораго люди были бы менѣе свободны. Намъ нужно думать, что ближній хочетъ быть дурнымъ, чтобъ имѣть право называть живущее въ насъ чувство мести „справедливымъ“. Шекспиръ искалъ иного—и нашелъ. Въ Макбетѣ изображенъ одинъ изъ страшнѣйшихъ типовъ злодѣя. Этотъ злодѣй боится категорическаго императива, какъ никто. И категорическій императивъ не спасаетъ Макбета отъ преступленія, болѣе того, не даетъ ему свернуть съ кроваваго пути. Макбетъ все время именно не хочетъ „быть преступникомъ“, и потому становится убійцей. Если бы онъ умѣлъ хотѣть не убить Дункана, Дунканъ остался бы живъ. Но категорическій императивъ учитъ человѣка служить самому себѣ, хлопотать о своихъ правахъ на чистоту души и на миръ съ совѣстью. Онъ умѣетъ только предупредить первое преступленіе—угрозами наказанія—за то онъ же обязательно ведетъ и къ дальнѣйшимъ преступленіямъ, какъ показалъ Шекспиръ въ „Макбетѣ“. Дункана Макбетъ убилъ почти случайно. Всѣ остальныя свои злодѣянія онъ совершаетъ по необходимости. Этого Кантъ и не зналъ и не могъ знать, такъ какъ къ нему въ кабинетъ поступалъ препарированный преступникъ. Иначе онъ не говорилъ бы о преступной волѣ и не обращалъ бы, безъ всякой нужды, людей, своихъ ближнихъ, въ существа по природѣ своей не только дурныя, но еще и желающія быть дурными. Шекспиръ, раскрывъ передъ нами психологическую природу преступленія, показалъ, что преступникъ это человѣкъ, нанесшій „одинъ ударъ“ ближнему, „не похожему на его отца“ и, затѣмъ, почувствовавшій себя затравленнымъ звѣремъ, и потому вступившій въ отчаянную борьбу со всѣми. „Закоренѣлость въ злѣ“ у Шекспира есть не предпочтительная любовь человѣка къ „злу“: Макбетъ, прежде чѣмъ убить Дункана, самъ презиралъ и ненавидѣлъ все то, что называется этимъ словомъ „зло“. Да и послѣ, убивая людей, Макбетъ ненавидитъ это „зло“ и собственныя злодѣянія. Если бы онъ могъ вернуться къ про-

шлому, онъ бы десятому заказалъ убивать. А теперь — онъ самъ неистовствуетъ. „Все равно—не стоитъ возвращаться“, т. е. некуда итти, говоритъ онъ: категорическій императивъ не пускаетъ. Макбету кажутся его жертвы — палачами! И онъ убиваетъ, не желая быть „дурнымъ“, болѣе того, всѣмъ своимъ существомъ ища только одного: примиренія со своей совѣстью. Въ „Макбетѣ“ разрушаются всѣ обычныя представленія наши о преступленіи. Злодѣй кажется намъ героемъ, несмотря на то, что насъ преслѣдуютъ стоны и вопли его жертвы. „Злая воля“, то, что кажется намъ самымъ ужаснымъ и непонятнымъ въ жизни, для Шекспира была фикціей, той страшной маской, которую люди надѣваютъ на опасныхъ ближнихъ своихъ, чтобъ имѣть право травить ихъ. И пока мы думаемъ о вредѣ, приносимомъ преступникомъ, намъ видна только эта маска, мы говоримъ лишь о злой волѣ. Шекспиръ думалъ о преступникѣ и увидѣлъ подъ страшной внѣшностью такого же человѣка, какъ и всѣ, и въ преступленіи не нарочито, умышленно „злое“ дѣяніе, а лишь столкновеніе человѣческихъ нуждъ и страстей. При такомъ столкновеніи ближніе обращаются въ „камни на пути“, охраненные драконами—и разыгрываются страшныя Макбетовскія трагедіи, въ которыхъ стоны жертвъ не болѣе ужасны, чѣмъ муки палачей, но гдѣ „злого начала“, „преступной воли“ и всего прочаго, что такъ охотно приписываемъ мы Макбетамъ,—нѣтъ и слѣда.

На этомъ мы закончимъ обзоръ книги Брандеса.

Наша задача состояла не въ томъ, чтобы слѣдить за частными вопросами шекспирологіи, обсуждаемыя датскимъ критикомъ. Намъ нужно было лишь выяснить, что видитъ Брандесъ въ Шекспирѣ и — насколько дозволяетъ объемъ нашей работы—чѣмъ былъ Шекспиръ.

Передъ великимъ англійскимъ поэтомъ возстали труднѣйшія проблемы жизни, отвѣтомъ на которыя и были его произведенія. Чѣмъ ужаснѣе представлялась ему дѣйстви-

тельность, тѣмъ настоятельнѣе чувствовалъ онъ потребность понять все то, что происходило вокругъ него. Тотъ пессимизмъ, о которомъ такъ пріятно разговариваетъ Брандесъ, для Шекспира былъ не теоретическимъ вопросомъ, которому онъ посвящалъ часы досуга, а вопросомъ существованія. Поэтъ чувствовалъ, что нельзя жить, не примирившись съ жизнью. Пока есть Лиры, Гамлеты, Отелло—пока есть люди, с л у ч а й н о, въ силу рожденія или внѣшнихъ обстоятельствъ, ставшіе добычей несчастія или, что еще ужаснѣе, виновниками несчастія другихъ, преступниками, пока надъ человѣкомъ господствуетъ слѣпая сила, опредѣляющая его судьбу—жизнь наша только „сказка, разсказанная глупцомъ".

Такъ чувствовалъ и думалъ Шекспиръ, и это привело его къ „необъятнымъ книгамъ человѣческихъ судебъ".

Чтобъ понять Лира и Макбета, нужно прежде почувствовать, что значитъ быть Лиромъ или Макбетомъ, что значитъ изъ существа, повелѣвающаго надъ стихіями обратиться въ „бѣдное, голое, двуногое животное", что значитъ всѣми любимому, благородному, носящему золотое имя человѣку—сразу стать отверженнымъ Богомъ и людьми, затравленнымъ волкомъ. „Случай ведетъ къ преступленію, страданію, безумію и смерти" — такъ можетъ сказать лишь тотъ, для кого и страданіе, и безуміе, и преступленіе—и заключающая ужасную жизнь безсмысленная смерть—лишь пустыя, книжныя слова. Тотъ, кто знаетъ смыслъ и значеніе ихъ, знаетъ, какъ Шекспиръ, что со „случаемъ" жить нельзя. Для того это маленькое слово „случай" обращается въ страшный кошмаръ, въ концѣ концовъ приводящій или къ пробужденію—или къ смерти. Такъ было у Шекспира. Цѣлые годы призракъ случайности человѣческаго существованія преслѣдовалъ его, и цѣлые годы великій поэтъ безстрашно всматривался въ ужасы жизни и постепенно уяснялъ себѣ ихъ смыслъ и значеніе.

Онъ нашелъ источникъ гамлетовскаго пессимизма, онъ понялъ смыслъ трагедіи Лира, значеніе преступленія Макбета, и разсказалъ намъ, что подъ видимыми нами ужа-

сами скрывается невидимый ростъ человѣческой души, что нѣтъ у человѣка „злой воли“, что всѣ ищутъ лучшаго, даже и тогда, когда совершаютъ злыя дѣянія, что всѣ обвиненія, расточаемыя людьми жизни происходятъ лишь отъ нашего неумѣнія постичь задачи судьбы.

И это примирило Шекспира съ человѣческой трагедіей, и это сдѣлало его величайшимъ изъ поэтовъ. Брандесъ всего этого не видитъ. Онъ слѣдующимъ образомъ объясняетъ переходъ Шекспира къ послѣднему періоду творчества: „Мрачныя тучи разсѣялись, и небо снова постепенно стало проясняться надъ Шекспиромъ. Повидимому, Шекспиръ освободился отъ тяжкихъ мукъ тоски, послѣ того какъ онъ воплотилъ въ образы свои мрачныя настроенія; только теперь, когда въ теченіе многихъ лѣтъ все возраставшее crescendo достигло крайняго forte, когда уже нечего было больше говорить, поэтъ могъ вздохнуть свободно. Ибо дальше желанія, чтобы все человѣчество погибло отъ чумы, половыхъ болѣзней, убійствъ и самоубійствъ—никакое проклятіе не можетъ итти. Онъ усталъ, перегорѣлъ, лихорадка прошла. Онъ чувствовалъ наступающее выздоровленіе. И что такое случилось? Потухшее солнце взошло, ясное и яркое, какъ прежде. Черное небо вновь стало голубымъ. Вновь вернулась къ нему мягкая отзывчивость на все человѣческое“ *). „Случилось“, догадывается Брандесъ, что Шекспиръ встрѣтился съ обворожительной женщиной, которая примирила его съ жизнью. Очевидно, что такъ говорить о примиреніи съ жизнью можетъ лишь тотъ, кто не знаетъ, за что собственно съ ней и ссориться нужно. Брандесу процессъ Шекспировскаго творчества совершенно чуждъ. Всѣ эти избитыя сравненія, въ родѣ „лихорадка прошла“, „crescendo“, „forte“, которыя въ такомъ неприличномъ изобиліи расточаетъ критикъ, эта пошлая догадка о встрѣчѣ съ женщиной, изъ-за которой были забыты Лиры, Отелло, Коріоланы—все это лишь жалкая дань „художе-

*) Brandes стр. 819.

ственности", новѣйшему категорическому императиву. Подобно странницѣ въ „Грозѣ", Брандесъ страсть любитъ, когда кто хорошо воетъ, и воображаетъ вслѣдствіе этого, что задача поэта состоитъ въ томъ, чтобы жалобно изливаться въ стихахъ, а литературнаго критика—въ томъ, чтобы вторить поэту. Онъ наивно убѣжденъ, что достаточно назвать Просперо Uebermensch'емъ и повыдергать изъ Нитше всѣ введенныя этимъ послѣднимъ новыя слова, чтобы считаться современнѣйшимъ философомъ. Здѣсь не мѣсто говорить о Нитше, какъ о представителѣ новаго литературнаго теченія. Замѣтимъ лишь, что, если бы Нитше, подъ котораго такъ тщательно подлаживается датскій критикъ, прочелъ книгу Брандеса о Шекспирѣ, онъ бы снова—забывъ связывавшую его съ Брандесомъ многолѣтнюю дружбу — повторилъ свою негодующую фразу: ich hasse die lesenden Müssiggänger.

Замѣченныя опечатки:

Стран.	Строка	Напечатано		Должно быть
88	12 св.	снести	—	смести
105	4 св.	т. е. какъ	—	т. е. послѣ того какъ
141	13 сн.	перовымъ	—	первымъ
141	1 сн.	анталтовъ	—	талантовъ
164	18 сн.	Umschweit	—	Umschweif
171	9 сн.	высшую	—	за высшую
208	6 св.	въ нашихъ	—	на нашихъ
213	14 св.	очевидно, ему	—	очевидно ему,
236	15 св.	Пиромъ	—	Лиромъ
259	2 св.	вопроса	—	вопроса,
260	4 сн.	суше-	—	суще-
262	8 св.	ни	—	не
268	4 св.	потому!,	—	потому,
276	2 сн.	онъ	—	онъ,
282	7 сн.	обсуждаемыя	—	обсуждаемыми

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
Общественных Наук
Академии Наук СССР

ИЗД. „ШИПОВНИКЪ“. СПБ., НИКОЛАЕВСКАЯ, 31.

Левъ Шестовъ

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ.

Томъ I-ый. Шекспиръ и его критикъ Брандесъ.

Томъ II-ой. Добро въ ученіи Толстого и Нитше (философія и проповѣдь).

Томъ III-ій. Достоевскій и Нитше (философія трагедіи).

Томъ IV-ый. Апоѳеозъ безпочвенности (опытъ адогматическаго мышленія).

Томъ V-ый. Начала и концы.

Томъ VI-ой. Великіе кануны.